

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·  
· ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

# Славяноведение



1993

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ИЮЛЬ •

АВГУСТ •

## Содержание

### СТАТЬИ

<i>Ронин В. К.</i> Русская публицистика в Бельгии в середине XIX века . . . . .	3
<i>Литаврина М.</i> Американские сады Аллы Пазимовой . . . . .	19
<i>Сладек З.</i> Русская эмиграция в Чехословакии: развитие «русской акции» . . . . .	28
<i>Замойски Я.</i> Отношение «белой» русской эмиграции к украинским вопросам (1919—1939) . . . . .	39
<i>Досталь М. Ю.</i> Российские слависты-эмигранты в Братиславе . . . . .	49
<i>Аксенова Е. П.</i> Институт им. Н. П. Кондакова: попытки реанимации (по материалам архива А. В. Флоровского) . . . . .	63

### СООБЩЕНИЯ

<i>Бубенкова М., Вахаловска Л.</i> Из писем о литературе А. Л. Бема . . . . .	75
<i>Досталь М. Ю.</i> Неопубликованная статья А. А. Кизеветтера по проблемам славянской идеологии . . . . .	81
<i>Кишкин Л. С.</i> О русской эмигрантской молодежи в Праге (1920—1930-е годы) . . . . .	95

### МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

<i>Седякова О. А.</i> Церковнославянско-русские паронимы (продолжение) . . . . .	99
----------------------------------------------------------------------------------	----

### ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Ратобильская А. В. М. Raeff. Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration. 1919—1939 . . . . .</i>	106
<i>Липтсева Л. П. В. Т. Пашуто. Русские историки-эмигранты в Европе . . . . .</i>	109
<i>Назаренко А. В. Два лица одной России. К выходу в свет книги В. Т. Пашуто «Русские историки-эмигранты в Европе» . . . . .</i>	112
<i>Топорков А. Л. La cultura spirituale russa . . . . .</i>	119
<i>Топорков А. Л. В. Н. Топоров. Неомифологизм в русской литературе начала XX в. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни» . . . . .</i>	121
<i>Анкин А. Е. Elementa. Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics . . . . .</i>	123

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Досталь М. Ю.</i> Круглый стол «Российская эмиграция в славянских странах». . . . .	127
----------------------------------------------------------------------------------------	-----

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. И. РОГОВ (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,  
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, М. С. КАШУБА, Г. Ф. МАТВЕЕВ,  
С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, М. А. РОБИНСОН,  
Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОРЯ,  
Т. В. ЦИВЬЯН (зам. главного редактора), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,  
Кошкина Е. А., Мочалова В. В., Осипова М. А.*



## РУССКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА В БЕЛЬГИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

Для русских, посетивших после 1830 г. только что ставшую независимой Бельгию, это была страна либеральных свобод, еще неизвестных тогда в России. Больше всего бросалась в глаза свобода печати. Реакционеров, всецело преданных режиму Николая I, вроде Н. И. Греча, эта «необузданная свобода книгопечатания» раздражала. Люди умеренно консервативные, ценящие прогресс (историк М. П. Погодин, астроном И. М. Симонов), с уважением отзывались об успехах бельгийских издателей, быстро и во множестве перепечатававших французские книги и дешево их продававших. В глазах же либерала П. В. Анненкова распространение в Бельгии дешевых французских изданий делало ее духовно близкой к «резервуару идей» — Парижу и потому особенно притягательной для русских западников. Как запретный плод, свобода печати манила их в маленькое королевство [1. Р. 30—38].

### ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В середине XIX в. насчитывался уже целый ряд сочинений русских авторов, изданных в Бельгии, разумеется, по-французски. Это могло быть произведение крамольное, оппозиционное правящим кругам Петербурга. Так, в 1843 г. князь П. В. Долгоруков выпустил в Брюсселе под собственной фамилией книгу по истории главных знатных родов России, за год до этого напечатанную в Париже под псевдонимом и заведшую весьма многих при дворе Николая [2].

Но и официозные публицисты охотно пользовались свободой печати в Бельгии. Успех на Западе книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 г.» с ее убийственной критикой российских порядков заставил и правительство царя через верных ему авторов обратиться к европейскому общественному мнению. Тот же Греч, который, как верноподданный самодержавного императора, сурово осуждал «необузданную свободу книгопечатания» на Западе, в 1844 г. сам прибег к ней, опубликовав в Париже и Брюсселе — несомненно, с одобрения русских властей — полемический разбор книги де Кюстина, с официозной апологией николаевского режима [3].

В Петербурге давно уже искали способ влиять на общественное мнение Европы и настраивать его в пользу России. С обострением конфликта с Англией и Францией в восточном вопросе пропаганда политики царя стала для его правительства жизненно необходимой. Взгляды вновь устремились к нейтральной Бельгии, и в августе 1853 г., за два месяца до начала Крымской войны, Греч совершил еще одно путешествие в Брюссель, чтобы

напечатать там брошюру, защищавшую позицию России в восточном вопросе [4. С. 330].

Год спустя там же увидели свет три брошюры высокого чиновника Л. В. Тенгоборского, статистика и экономиста: одна — направленная против западных экономистов, критиковавших финансовую политику русского правительства [5]; две другие, вышедшие анонимно, — против «англо-французского» подхода в восточном кризисе [6; 7]. В начале марта 1855 г., сразу после загадочной смерти Николая I, русский журналист Н. П. Поггенполь, тесно связанный, как и Греч, с Министерством иностранных дел в Петербурге, издал в Брюсселе по-французски небольшой панегирик покойному императору, где восхвалялись «его прекрасная душа, его благородный и рыцарский дух» [8].

Но этих спорадических публикаций было, конечно, недостаточно, чтобы изменить отношение западных читателей к России и ее политике. Война в Крыму шла неудачно, престиж «северного колосса» поблек, и правительству Александра II важно было любой ценой склонить европейское общественное мнение в пользу России.

### ГАЗЕТА «LE NORD»

В 1854 г. Тенгоборский убедил правительство, что лучшим средством защиты русских интересов за границей будет частная ежедневная газета, которая под тайным контролем Петербурга выходила бы по-французски где-нибудь за границей. Считаясь независимой западной газетой, она фактически была бы русским официозом и соответственно освещала бы положение в России и в мире.

Речь шла о защите внешней политики России и о пропаганде спасительного для нее скорейшего мира. Но одновременно такая газета могла бы ближе познакомить европейцев с самой этой страной, ее внутренним положением, обычаями и культурой. Наконец, в России, ожидавшей после смерти Николая важных общественных перемен, либеральным силам в окружении нового императора прямой диалог с западной общественностью должен был казаться как никогда уместным и полезным для страны. Русский официоз в облике независимой «иностранной» газеты, богатый политической информацией и беседующий с западной публикой на ее собственном «просвещенном» языке либеральных понятий, мог стать зародышем новой российской гласности. Впрочем, гласности умеренно консервативной, патриотичной, всецело подконтрольной, предназначенной только для заграницы и для небольшого слоя русских, читавших по-французски, и к тому же на безопасном отдалении от границ самодержавной империи.

В поисках места для издания подобной газеты выбор сначала пал на Берлин, но в сложной дипломатической ситуации Крымской войны Пруссия не решилась приютить у себя подобное издание [9; 10]. По сведениям враждебной Петербургу бельгийской «Journal de Charleroi», русские власти думали еще о Гааге или Роттердаме, но в конце концов лучшим местом была признана столица нейтральной Бельгии [11. 30 VI].

Весной 1855 г. Н. Поггенполь был командирован в Брюссель, чтобы основать там редакцию будущей газеты. Подробная история этого русского официоза в Бельгии еще не стала достоянием читателей. Кратко и в самом общем виде, основываясь только на русских источниках, о нем рассказал М. К. Лемке в комментариях к полному собранию сочинений и писем А. И. Герцена [12]. В настоящее время специальные исследования о бельгийской прессе 50—60-х годов XIX в. готовят в Бельгии Ж.-Л. Де Пап и Ф. Сарториус.

Связь нового «бельгийского» органа с Россией была прямо заявлена в его названии — «Le Nord». Среди акционеров-учредителей большинство составляли русские. Зато связь газеты с русскими властями и тем более получение правительственных субсидий всячески отрицались. Официально считалось, что газета основана на средства частных лиц, прежде всего

русского финансиста и откупщика В. А. Кокорева. По воспоминаниям высокого чиновника Министерства финансов в Петербурге экономиста Ф. Г. Тёрнера, Поггенполь воспользовался интересом Кокорева к «общественным вопросам и литературе» и убедил его, «что, помогая основанию за границей журнала, который предназначен поддерживать там интересы России, он делает патриотический акт». («Выхлопотать на первых порах для устраиваемого предприятия и казенные, и частные деньги он умел превосходно», — писал Тёрнер о Поггенполе) [13. С. 165—173].

Как утверждал позднее неустанный разоблачитель тайн официального Петербурга публицист-эмигрант князь Петр Долгоруков, только в 1857 г. «Le Nord» получил от Кокорева 150 тыс. рублей, чтобы прославлять заслуги дельца перед Россией. Брат нового императора великий князь Константин Николаевич, с либеральным окружением которого газета была особенно тесно связана, давал ей 6 тыс. в год. Тысячи рублей поступали, по словам Долгорукова, и от других высокопоставленных лиц в Петербурге [14. Р. 137—138].

Главным редактором «независимой» частной газеты должен был стать бельгиец. Журналист и историк Л. Хейманс вспоминал, как некий дипломат «господин С.» в Брюсселе предлагал ему возглавить «русскую газету». Хейманс отказался и порекомендовал своего друга, также журналиста либеральной «Indépendance Belge» В. Каппеллеманса [15]. Он и стал главным редактором «Le Nord», а позднее официозного «Journal de Saint-Pétersbourg» в России. Фактический же издатель, Поггенполь, формально выступал лишь в скромной роли одного из акционеров и консультанта главного редактора, «каждый раз, когда он оказался бы в затруднении по поводу вопроса исключительно русского» [16. 1855. 1 VII]. Газета должна была предстать на Западе и в России как объективная и независимая.

Тем не менее перспектива появления такого органа в нейтральной Бельгии в разгар войны вызвала недовольство Англии и Франции. Под их нажимом правительство Леопольда I после выхода 20 июня 1855 г. пробного выпуска газеты вынуждено было вмешаться. 25 июня, как об этом вскоре сообщил брюссельский «Télégraphe» и другие бельгийские газеты, русский посланник в Бельгии граф Михаил Хрептович дал королю Леопольду «формальное заверение, что русское правительство не имеет никакого отношения к изданию „Le Nord“». На следующий день посланник даже шел за лучшее вообще на три месяца уехать из Брюсселя в свои имения в Польшу [17. 27 VI, 1 VII]. Несмотря на все это, 28 июня бельгийское правительство все же выслало из страны иностранных сотрудников газеты: Поггенполя и немца-переводчика. Но они покинули Брюссель только два дня спустя, когда первый номер регулярного издания газеты был уже готов. Он вышел на следующий день, 1 июля.

Сидя теперь в Париже, Поггенполь мог еще раз прочесть написанное или вдохновенное им profession de foi нового органа. Первая передовая «Le Nord» интересна как серьезная попытка либеральной части тогдашней официальной России напрямую объясниться с западноевропейской общественностью. Цель газеты заявлена прямо и откровенно — «перед судом общественного мнения», в глазах многочисленных читателей, «знающих только французские газеты», защищать дело России. «Мы говорим ясно и громко: мы голос Севера, голос откровенный и искренний...». Война вызвала поток обвинений против России. «Одновременно с войной залпами пушек с Россией воюют залпами газет, и именно в эту последнюю битву мы вступаем добровольцами».

Автор передовой особенно настаивал на беспристрастности новой газеты. Отвечая на нападки в прессе Англии, Франции и самой Бельгии, он писал: «Скажут /.../, что мы орган правительства Московии. Так уже сказали. Это неправда. Наше предприятие задумано и исполнено совершенно вне официального воздействия и влияния». Большинство акционеров русские? «Это, без сомнения, разумно и нормально». Чтобы создать объективный орган, защищающий политику России, «не обязательно быть французом или англичанином».

Почему в Бельгии? «Мы решили основать свою газету в Брюсселе, /.../ у главного слияния всех путей коммуникаций Запада. Столица нейтральной страны, столица народа, чья честность и чистосердечие общепризнанны, подходила лучше, чем любое другое место, для нашего дела правды и справедливости». Кто-нибудь в Бельгии может сказать, «что мы гости компрометирующие», и не всем будет приятно слышать язык, «который, быть может, не всегда придется вполне по вкусу правительствам, что являются на западе и на юге ближайшими соседями Бельгии». Но автор обещает: газета никогда не даст повода жаловаться на нее. Серьезная и лояльная, она не будет дискутировать о внутренних делах разных народов, ограничиваясь здесь «ролью простого репортера».

Главная задача — сблизить Западную Европу и Россию. «России в Европе не знают, и в незнании этом есть и вина России. Она слишком мало давала себя знать». Она — запоздавшее государство на путях европейского прогресса и потому не виновата в еще остающихся различиях в социальном устройстве между ней и Западом. Не задерживаясь на этой примирительной аргументации, автор принимает более резкий тон: Россия и не собирается рабски подражать Западу, а ее особенности вытекают из ее истории, религии, национального характера. «Впрочем то, что Россия делает у себя, касается только ее. Остальную Европу должны заботить лишь два вопроса: — Заключает ли естественное поступательное развитие элементов социального строя в России в себе опасность для Европы? Находятся ли эти элементы в прямом противоречии с социальным устройством и цивилизацией остальной Европы?». Своими публикациями газета должна будет ответить «нет» на оба эти вопроса.

«Le Nord» обещает знакомить Запад с общественными, политическими, административными и судебными порядками в России, с тенденциями ее развития. И в то же время — нести «ценные сведения и понятия» с Запада в Россию. Помимо новостей со всего света газета будет помещать подробную хронику из Парижа и Петербурга, где будет «все, что может /.../ вызвать интерес в области наук, искусств и литературы» [16. 1855. 1 VII].

Программа, как мы видим, весьма умеренная, но откровенная и серьезная. Некоторые в правящих кругах в Петербурге считали, что она «могла бы быть написана пошире и повыше, но для этого нужен талант, который не согласится издавать русский журнал». Главной проблемой было вызвать доверие к новой газете как к независимому и объективному органу, и многие, подобно сенатору К. Н. Лебедеву, были настроены скептически: «Для доверия нужно дело, а не рассуждения» [10].

Выход в Брюсселе «русской газеты» вызвал оживленную полемику в самой Бельгии. Часть откликов цитировалась и на страницах «Le Nord». Главный спор шел о том, совместимо ли издание такого органа с нейтралитетом страны. Так, католическая «Journal de Charleroi» встретила «Le Nord» весьма враждебно: «Россия сделала нам подарок, без которого мы вполне обошлись бы». Осыпая новую газету насмешками, профранцузски настроенные журналисты вместе с тем предупреждали, что она может ухудшить отношения Бельгии с западными державами. Органу католиков в «Шарлеруа» не менее энергично возражал «Le Courrier de la Sambre», оспаривая эти опасения [11. 25 VI; 16. 1855. 4 VII]. Высылка иностранных сотрудников газеты из Бельгии вызвала здесь негодование либеральной прессы, как посягательство на свободу печати и именно на принципы строгого нейтралитета страны. Защищая «Le Nord» от нападок гентской католической «Bien Public» и одновременно атакуя правительство, либеральный «Messager de Gand» писал: высылка — «свидетельство ссрв:чльности в отношении заграницы, забвение наших прав свободной нации». Как раз нейтралитет Бельгии делал недопустимым угодничанье перед французским правительством, замечала газета гентских либералов [18].

Еще до начала регулярного издания «русской газеты» ее взял под свое покровительство и брюссельский «Télégraphe». В решении русских издавать «Le Nord» в Бельгии газета видела «дань уважения одновременно и нашим

свободным учреждениям, и неоценимым преимуществам свободы печати. /.../ России нужна была, говорят, свободная страна. Она и выбрала именно Бельгию». К тому же «мы сможем несколько лучше знать, что думают в Петербурге: в этом больше выгод, чем неудобств» [17. 15, 22, 30 VI]. Сходную аргументацию мы находим и в статье в либеральной «Journal de Liège», сразу же перепечатанной и в газете Поггенполя. По словам льежской газеты, часть бельгийской прессы просто «чувствует себя глубоко уязвленной появлением нового собрата». Выход «Le Nord» — признак не слабости Бельгии, якобы позволяющей русскому самодержавию пропагандировать здесь свою политическую доктрину, а признак силы бельгийской либеральной традиции. «Появление этой газеты, явно созданной друзьями России, находящимися не в Бельгии, — дань уважения нашим свободам» [19]. О связи нового органа с правительством царя вся бельгийская пресса писала как о чем-то бесспорном.

Уже в июле 1855 г., под давлением официального Парижа, бельгийское правительство подвергло «русскую газету» новым репрессиям, запретив продавать ее на железнодорожных вокзалах. И это решение вызвало бурный протест в либеральной прессе. По мнению «Messenger de Gand» это только создавало «русской газете» ту популярность, которую она сама завоевать бы не могла. «Если бы нам нужно было сделать упрек „Le Nord“ это был бы упрек в незначительности. Есть ли какой-нибудь недостаток, который правительства более склонны прощать прессе, чем этот?». Даже органы, вполне благосклонные к «Le Nord» и готовые его защитить, иронически советовали его противникам не переоценивать «людей, которые фигурируют во главе этого предприятия» [18; 17. 15, 22, 30 VI].

Тем временем новая газета начала выходить ежедневно. В каждом номере за персодовой следовали новости с театра военных действий в Крыму, из Бельгии, из других стран: «Le Nord» имел собственных корреспондентов во всех европейских столицах. Затем шли светская и культурная хроника из Парижа и Петербурга, очерки или статьи, некрологи, коммерческие бюллетени, реклама. В освещении общественной жизни в самой Бельгии и Франции газета была весьма консервативна, хотя эпизодически в ней сотрудничал даже такой либеральный бельгийский экономист, как Г. де Молинари, с 1858 г. много и с энтузиазмом писавший также для «Русского Вестника», который издавался М. Н. Катковым в Москве [20].

В редакции «Le Nord», размещавшейся на Rue Norte-Dame aux Neiges, сидели Каппеллеманс и его бельгийские сотрудники, но фактически всем руководил по-прежнему Поггенполь, часто приезжавший из Парижа в Бельгию. Постепенно он скупил все акции газеты, став с 1857 г. ее полным собственником. Участвовал в становлении «Le Nord» и Я. Толстой, старый эмигрант, публицист, ставший еще в 1837 г. агентом русской тайной полиции за границей; с марта 1854 г. он полтора года прожил в Брюсселе. Для приведения в порядок дел редакции (после высылки Поггенполя) в Брюссель прибыл и Греч, который убедил бельгийские власти, что не имеет к газете никакого отношения [4]. По сведениям парижской «Presse» (опровергавшимся «Le Nord»), Греч сам набирал в Брюсселе сотрудников и посвящал их «в маленькие секреты русской политики». Он же посылал в 1855 г. в газету политические корреспонденции из Петербурга, подписанные инициалом «С» [16. 1855. 23 VII, 30 XI].

Ни в Бельгии, ни вообще в Европе «Le Nord» не был особенно популярен. Князь Долгоруков злорадно писал, что подписчиков у газеты мало: «Ею пренебрегают люди серьезные и ее презирают люди честные» [14. Р. 138]. На Западе прекрасно знали, что это «брабантские кружева по русскому рисунку» [21. 1957. Т. 12. С. 434]. Но именно благодаря официальному характеру газеты к ней часто обращались, чтобы узнать позицию русского правительства (об этом свидетельствует переписка русских дипломатов в Париже в те годы). Обращались и просто за информацией из России, не делая, однако, ссылок на источник, в чем «Le Nord» упрекал бельгийскую прессу [16. 1856. 1 I].



«Le Nord» был тесно связан с самой либеральной частью петербургской бюрократии и придворных кругов, прежде всего с людьми, близкими к брату императора великому князю Константину и к главе русской дипломатии князю А. М. Горчакову. Деятельность газеты и лично Поггенполя полностью контролировало Министерство иностранных дел в Петербурге — непосредственно или через русских дипломатов в Париже и Брюсселе. Чиновники Министерства и дипломаты часто сами писали в «Le Nord» передовые, конечно, без подписи [14. Р. 141—142]. Статьи посылались не прямо в газету, но в русскую миссию в Бельгии. По сведениям парижской «Presse» русский посланник в Брюсселе лично просматривал политические статьи, присылаемые для «Le Nord», очищая их от «всех нападок и инсинуаций, которые могли бы скомпрометировать бельгийское правительство в глазах Франции» [16. 1855. 23 VII].

Все дела газеты в Петербурге вел широко образованный чиновник Министерства М. Ф. Бурмейстер, который и привлекал авторов. Через три года его сменил сослуживец Ф. Тёрнер, бывший в 1856—1859 гг. корреспондентом «Le Nord» в Петербурге. Отсюда он раз в два дня посылал в газету очерки по финансовым и экономическим вопросам, а также политические и светские новости. Политическую часть этих корреспонденций строго контролировал директор канцелярии Министерства, от которого Тёрнер «от времени до времени получал разные указания» [13. С. 127—128, 165—166, 172].

Еще об одном методе контроля русского правительства за «бельгийской» газетой рассказал в своих мемуарах Л. Хейманс. В августе 1856 г. он был послан редакцией «Le Nord» в Москву — описывать коронацию Александра II. Всю ночь он писал отчет о торжествах, затем отнес его на почту и лег спать. Но тут же был разбужен казаком, который без объяснений повез его прямо к князю Горчакову. Министр, улыбаясь, объяснил перепуганному корреспонденту, что в его описании коронации могут быть ошибки в деталях, и потому попросил показать текст ему. «Но, Ваше Превосходительство, — отвечал Л. Хейманс, — уже слишком поздно. Час назад я отнес письмо на почту». «Это не важно», — заметил князь и принес из соседней комнаты только что отправленное бельгийцем письмо с просьбой вскрыть и прочесть ему. Видя беспокійство корреспондента по поводу задержки письма, Горчаков его заверил: «Я вам гарантирую, что оно придет одновременно с другими». Прослушав длинный отчет, министр исправил «легкую ошибку» в имени придворного, державшего на церемонии державу. После чего письмо было вновь запечатано и отправлено в Брюссель [22].

В тех случаях, когда, несмотря на все меры контроля, «Le Nord» недостаточно деликатно освещал дипломатические дела, Поггенполь и бельгийские редакторы получали суровые выговоры. После одной такой недовкости, в августе 1858 г., советник русского посольства в Париже В. Балабин писал послу графу Киселеву, лечившемуся тогда в Остенде: «Так как во мнении публики мы и журнал наш составляем одно нераздельное целое, то нам нельзя не соблюдать приличий». Из другого письма Балабина видно, как именно осуществлялся контроль: «При появлении же статьи я вымыл голову Поггенполю, который оправдывается тем, что /.../ он получил мое предупредительное письмо тогда, когда статья уже была напечатана. Виноваты, следовательно, брюссельские редакторы, коим по сему случаю преподаны наставления при сильном выговоре и воспрещении впредь пускаться на подобные выходки» [23. С. 366—368].

В самой России правительство всеми мерами негласно поддерживало газету. По сведениям Долгорукова, при ввозе в Россию она облагалась меньшей почтовой пошлиной, чем другие иностранные издания, поэтому годовая подписка на нее стоила на 35% дешевле [14. С. 138]. «Le Nord» пытались распространять и в провинции, где мало кто читал по-французски. Будущий министр граф П. А. Валуев вспоминал: «В 1855 г. в Вологодской губернии сельские власти сносились бумагами о подписке на журнал „Le Nord“ тогда патронизированный правительством» [24]. В петербургском

сатирическом журнале «Искра» от 24 июля 1859 г. был помещен рисунок Н. Степанова: двое проезжих видят в деревне у мужиков газету «Le Nord». Текст под рисунком гласит:

«Проезжий: Что это у тебя в руках, мой друг?

Мужичок: Ведомости Норт, батюшка. Как же, ведь и нас приглашали подписываться.

Проезжий (другому проезжему): Что ты на это скажешь, а? Небось замолчал. /.../ Ты укажи мне, где простой народ читает иностранные журналы? Нет, брат, далеко еще до нас всем вашим иноземцам» [25. С. 335].

Как свидетельствует Хейманс, жандармы и чиновники в Петербурге и Москве сразу делались услужливыми, когда узнавали, какую именно иностранную газету он представляет [26. Р. 29, 97]. Цензура, как мы увидим ниже на примере статьи Чернышевского, не пропускала в печать никаких иронических замечаний о «Le Nord».

Образованная русская публика встретила «бельгийскую» газету с интересом и первые годы внимательно ее читала. О ее появлении на свет сочувственно сообщил даже самый радикальный из либеральных русских журналов тех лет, «Современник», где была подробно изложена первая передовая «Le Nord» с его программой [27]. Корреспондент газеты в Петербурге Э. Винья писал, что читатели там хотели в ней «находить отражение общественного мнения, в лоне которого они живут, и видеть защиту дела, которому они симпатизируют» [16. 1856. 1. I]. По воспоминаниям Тёрнера, его собственные статьи в «Le Nord» в 1856—1859 гг. «*faisaient sensation* в Петербурге. Я стал получать приглашения на разные аристократические вечера, так как хозяевам таких собраний было очень приятно прочесть в парижском журнале хотя краткую заметку о бывшем у них вечере» [13. С. 166—171].

Время от времени в «Le Nord» и в российских газетах появлялись письма читателей, уточнявшие или опровергавшие те или иные сообщения брюссельского органа. В «Le Nord» публиковалась и реклама некоторых российских купцов, например, Исаковых, торговавших книгами в Гостинном дворе в Петербурге.

Поггенполь настойчиво приглашал сотрудничать в газете известных русских литераторов: Погодина, Тютчева, Тургенева, Майкова, молодого Л. Толстого, Н. Мельгунова и даже революционера и эмигранта Герцена! Свое обещание знакомить читателей с русской литературой «Le Nord» начал выполнять очень скоро. Уже 7—8 июля 1855 г. там был опубликован рассказ «*Une journée à Sévastopol*. En décembre 1854», переведенный с русского и подписанный «Y. F.». То был один из «Севастопольских рассказов» уже ставшего известным Толстого. Из дневника писателя можно заключить, что этот рассказ был переведен и послан в «Le Nord» по распоряжению самого императора — несомненно, чтобы показать Западу героизм защитников осажденного города. О приглашении сотрудничать с газетой Поггенполя Толстой узнал случайно, всего за 10 дней до этой публикации. 27 июня он записал в дневнике: «Еще польстило моему самолюбию /.../ то, что я узнал /.../, что я давно приглашен участвовать в Брюссельском журнале». Другие записи Толстого 50-х годов говорят о том, что он и позже охотно читал «Le Nord» [28].

Формально независимый статус «Le Nord» как иностранной газеты позволял многим образованным русским надеяться, что через него они смогут влиять и на общественное мнение Запада, и на политику самого русского правительства. Первым, кто решил воспользоваться этой возможностью, был историк Погодин. В августе 1857 г. в Брюсселе он отыскал редакцию газеты и обещал писать для нее. Там же он встретил Хейманса, торопившегося в Москву для описания коронации Александра II, и дал ему рекомендательное письмо по одному архимандриту в Кремле [29. 1900. Т. XIV. С. 606—607; 26. Р. 140].

В марте следующего года первая статья Погодина, защищавшая внешнюю политику России, увидела свет. Понимая, что газета официозная, автор

заранее передал текст министру Горчакову. В статье Погодин объяснял, кстати, почему эта «прекрасная газета» имеет в России мало подписчиков: «Потому, что она считается слишком к нам расположенною: мы хотим от вас слышать больше правды, чем оправданий» [29. 1901. Т. XV. С. 68—69]. Через полгода вышло второе «политическое письмо» Погодина, где затрагивалось и внутреннее положение страны. Желая и эту статью показать Горчакову, автор обратился за содействием к Тютчеву. Судя по его ответу, в Петербурге полагались на то, что редакторы «Le Nord» сами хорошо знали пределы российской гласности даже за границей: «Содержание письма таково, что подвергнуть вас неприятной ответственности оно никак не может. Если и есть кой-какие места, которые следовало бы несколько смягчить, так, например, где вы говорите о современном быте русского крестьянина, редакция журнала возьмет уж это на себя» [30].

Впрочем пределы гласности были разными для заграничной и для самой России. Когда Погодин захотел свою первую статью в «Le Nord» опубликовать по-русски в Москве, он лишь с большим трудом смог преодолеть цензурные препоны [29. 1901. Т. XV. С. 58, 70]. Любопытно, что и сама эта официальная газета, полностью контролируемая русскими властями, в России подвергалась цензуре. В номерах, поступавших в Россию, вымарывались иногда большие фрагменты. В годы Крымской войны это могли быть, например, изложения высказываний английских либералов, а с 1859 г., когда Поггенполь в духе времени основал в газете отдел освобождения крестьян, цензура не пропускала в Россию статьи даже таких верноподанных авторов, как Погодин или Валуев. В этом легко убедиться, сравнив экземпляры газеты, хранящиеся в Москве и в Брюсселе.

В ноябре 1857 г. Чернышевский в «Современнике» уже откровенно высмеивал «одну французскую газету, /.../ претендующую на чрезвычайное, официальное и конфиденциальное знание всего, что происходит в России». Он зло издевался над «Le Nord» (не называя его прямо), который «обольщал Европу»: создавал весьма преувеличенное представление о либеральных достижениях России тех лет. Так, «Le Nord» писал о «партиях» в России (которых в собственном смысле слова там, конечно же, не было) или, щеголяя своей осведомленностью, распространял пустые слухи о якобы подготовленных правительством царя реформах. «Будто нынче Петербург уже не на Неве, а какой-нибудь Темзе или Шельде стоит». Однако даже намеки на «Le Nord» были выброшены из статьи Чернышевского цензурой [31].

Но иллюзии относительно той роли, которую газета могла бы сыграть в утверждении в России гласности и «европейских» понятий, держались еще долго. Либеральный литератор Мельгунов в Париже прекрасно знал о связи «Le Nord» и «Indépendance Belge» с русскими властями и писал Герцену: «Кто не знает у нас, что это за журналы?». Однако в разговорах Поггенполь предстал несомненным либералом: смело общался с оппозиционными русскими литераторами, подолгу жившими за границей, собирался дать в «Le Nord» рецензию на издаваемые Герценом в Лондоне сборники политических статей «Голоса из России» (она так и не появилась) и даже заказал Мельгунову статью о Герцене. «Но потом спохватился: да не рано ли еще писать о г. Герцене?» Мельгунов же не торопился сотрудничать с Поггенполем («Тургенев пока отказался от сотрудничества; я, вероятно, обожду тоже»), но не раз уговаривал Герцена участвовать в газете. Еще 1 декабря 1856 г. писал ему: «Вы, господа, погодите еще шутить над „Nord“. Из него, может, и выйдет что-нибудь».

Мельгунов надеялся, что в «Le Nord» смогут на равных, открыто полемизировать революционный демократ Герцен из Лондона и московские славянофилы. Но узнав о резком отказе Герцена иметь дело с «Le Nord», Мельгунов прекратил уговоры. У него появились серьезные сомнения в либерализме Поггенполя: «Я стал было его считать Императорским Российским Либералом, /.../ а теперь начинаю думать, что это просто Императорский Российский Шут. Мне всего досадней то, что вследствие его разглаговольствований я подписался на «Nord» и заплатил 21 франк!».

В Париже пошли слухи (явно пущенные самим издателем), что «изменение журнала начнется с будущего года, ибо Поггенполь не скупил еще всех акций и потому еще не смог сменить редактора-бельгийца, пишущего патриотические статьи о русской политике» (из письма Мельгунова Герцену от 19 декабря 1856 г.). Были ли в действительности разногласия между «консервативным» бельгийцем Каппеллемансом, верно служившим официально Петербургу, и «либералом» Поггенполем (издавшим восторженную брошюру о Николае I), неизвестно. Во всяком случае слухи о таких разногласиях позволяли и дальше привлекать либеральных подписчиков. Мельгунов продолжал надеяться: «Посмотрим, авось доживем до Нового года» [25. С. 328—330, 332—334].

В те месяцы Герцен внимательно читал каждый номер газеты, и скоро его мнение сложилось окончательно. В письме Тургеневу в Париж от 8—9 декабря 1856 г. он просил передать через Мельгунова Поггенполю, чтобы тот больше не смел предлагать ему сотрудничать в «Le Nord». «Это самый подлейший орган и с каждым № хуже и хуже». Отныне Герцен в своем лондонском «Колоколе» дал волю иронии, называя «Le Nord» то «двуспальным листом», посвятившим себя защите русского и французского правительств (с окончанием Крымской войны газета установила тайные связи с французской дипломатией, получая теперь субсидии и из Парижа [14. Р. 137]), то «хвалителем Зимнего дворца», а то и просто «бельгийским журналом», саркастически выделяя первое слово курсивом [21. Т. 26. С. 52; Т. 13. С. 192, 266—267; Т. 15. С. 69, 96, 133]. Вместе с тем в 1857—1864 гг. «Колокол» часто черпал важную информацию о России из «Le Nord» и изобилует ссылками на него.

Тургенев также отказался от участия в газете, но скорее по моральным соображениям. Он писал Герцену: «Поггенполь интригант, русский немец, который уверяет, что ненавидит немцев и „чюфствует союзу“ (собственные его слова) с русским мужиком. Он и ко мне забегал, да и ко всем. Бог его знает, какими способами он приобрел „Le Nord“ — и теперь, так как ветер, кажется, в России переменился — то и он хочет не отстать и т. д. Порядочному человеку с такими молодчиками знаться не для чего». Впрочем и Тургенев продолжал постоянно читать «Le Nord». В январе 1858 г., желая опровергнуть одно из сообщений газеты из Москвы, он написал главному редактору в тоне корректном и почти благожелательном («Доказательства справедливого отношения к нашей стране, которые вы всегда давали, ваша забота о том, чтобы сообщить Европе всю правду о России...»).

Вообще из переписки Тургенева, как и Погодина, видно, что представители всех общественных течений тогдашней России: западники и славянофилы, консерваторы и радикалы, следили в те годы за «бельгийской» газетой с большим вниманием [32; 29. 1901. Т. XV. С. 73—75, 102—105]. Однако сотрудничать с ней не спешили. Газету так и не удалось представить объективной и независимой: «не орган русского правительства, но русской национальности, равно как и национальностей других народов» (из письма Поггенполя Погодину в апреле 1857 г.). Серьезных статей, написанных в России на важные общественные темы, в «Le Nord» почти не было. «Русские мне не пишут», — жаловался издатель в том же письме. Он буквально умолял Погодина отыскать ему в Москве хоть одного «сносного корреспондента». Те корреспонденции, которые до этого приходили в Брюссель от русских, «были писаны таким казенным слогом и в таком чиновническом духе», что их пришлось отвергнуть. Тем более не удавалось Поггенполю найти хороших корреспондентов в провинции, а без этого, как он сам признавал, о большом числе подписчиков в России нечего было и мечтать [29. 1901. Т. XV. С. 71—73].

В те же самые дни великий князь Константин Николаевич размышлял в Париже над проблемами русского официоза в Бельгии. «К сожалению, — писал он министру просвещения Норову, — несмотря на все усилия и старания редактора, журнал этот сообщает весьма мало статей из России и об России, т. е. именно такого рода статей, которые могут быть нам полезны

за границей. Равнодушие русских и неопытность есть главная причина этого, и редактору „Le Nord“ весьма трудно найти себе корреспондентов в России». Брат императора просил через попечителей учебных округов и Академию наук побуждать ученых в России присылать свои труды в посольство в Брюссель, где их должны были немедленно передавать в редакцию. Но и эта бюрократическая акция, занявшая несколько месяцев, мало что изменила [12. С. 367—369].

Официозная газета, безуспешно скрывавшая свою связь с русским правительством, не могла, разумеется, стать внушающим доверие посредником между Россией и Западом, как она обещала это в своей программе. Однако для того, чтобы познакомить европейцев с общественной жизнью, экономикой и культурой России, делалось немало: публиковались статьи о русской истории, промышленности, финансах, внешней торговле, ученых обществах, строительстве железных дорог. Помимо переводов рассказов и писем русских писателей здесь увидела свет также серия обзорных статей о русской литературе («De l'école réaliste en Russie», 1855—1866).

Либеральное оживление в конце 50-х годов все усиливалось, достигнув кульминации весной 1861 г., с освобождением крестьян. Все эти годы «Le Nord» горячо поддерживал реформаторские замыслы и сохранял репутацию более или менее либерального органа. Но когда в политике Александра II стала заметнее охранительная реакция самодержавия, это сразу же отразилось и на позиции русского официоза в Бельгии. Связи «Le Nord» с либеральными публицистами сошли на нет, громче зазвучал голос консерваторов, будь то пишущие чиновники вроде К. Катакази или журналисты Ю. Маврин и А. Моллер, прямо связанные с русской тайной полицией. В августе 1861 г. русский дипломат Балабин писал: «Что касается „Nord'a“, то он без церемонии выкинул своих старых друзей за борт и с нахальством, достойным „Times'a“, поднял консервативный флаг» [23. С. 589—590].

Изменения произошли не только в идейной позиции газеты и в составе ее авторов. «Поггенполь,— вспомнил Тёрнер,— был /.../ превосходный редактор, но в деловых отношениях далеко не солидный, так как, благодаря своей склонности тратить деньги без расчета, он постоянно был в долгах». Пока в Петербурге еще были суммы, пожертвованные Кокоревым, Поггенполь мог платить корреспондентам, но скоро эти средства истощились. Обидевшись на правительство, Кокорев деньги давать перестал, и уже весной 1859 г. над газетой впервые навис призрак банкротства. Встрешенное начальство в Петербурге командировало Тёрнера в Париж. Убедившись, что издатель газеты — «настоящий тип *ramier persé*», Тёрнер прекратил с ней сотрудничать [13. С. 172—175].

Тем временем дела шли все хуже и хуже. Злоязычный Долгоруков рассказывал, что Поггенполь скрывался от парижских кредиторов в Брюсселе, а от брюссельских — в Париже. У нового главы редакции (с 1859 г.), Ф. Пергамени, часто не было денег, чтобы купить бумагу для издания и заплатить за рассылку. 10 июня 1862 г. газета вообще не вышла из-за отсутствия средств, а на следующий день редакция сообщила, будто была неисправна печатная машина. «Но все знали правду об этом инциденте» [14. Р. 139—140].

Престиж газеты падал, серьезных статей из России не было, письма публиковались анонимно или под псевдонимами («Un patriote russe», «Un de vos abonnés»). Из-за нехватки денег коммерческая реклама захватила 25% газетной площади. С 1 января 1863 г. газета неожиданно для читателей стала выходить в Париже. О причине преезда редакция сообщила лишь, что хотела иметь более прямой доступ к многочисленным источникам международной информации и избежать превращения «Le Nord» в «местный бельгийский орган» [16. 1863. 1 I]. Русская пресса 1862 г. указывает и на другую возможную причину. В эпоху, когда аннексионизм Наполеона III ставил под вопрос само существование бельгийского государства, профранцузская ориентация «Le Nord» сделала газету крайне непопулярной в

Бельгии. «Бельгийцы стали теперь галлофобами» и положение «Le Nord» в Брюсселе стало особенно трудным [33].

Во Франции Поггенполь должен был торговаться с русским посольством из-за каждого франка. С отчаяния издатель решился на курьезный шаг. В разгар восстания в Польше против царских властей он заявил одному из лидеров польской эмиграции в Париже С. Галензовскому, что готов перейти вместе с газетой на содержание польского национального правительства. «Это изменение, — говорил он, — произведет огромное впечатление. Газета „Le Nord“ рассылается всем, и журналам, и славянским деятелям, и банкирским домам в Европе». Впрочем, по свидетельству польского мемуариста, русское посольство стало, видимо, щедрее к «Le Nord», и он «не сменил свою москвофилию на полонофилию» [34].

В 1864 г. в Петербурге решили спасти обанкротившуюся газету, отстранив ее основателя. «Le Nord» перешел в собственность группы акционеров. Но популярнее он не стал, а расходы на его издание были в Париже так высоки, что год спустя он вновь сделался «бельгийским» и выходил до 1892 г. Название газеты еще мелькало в переписке дипломатов, но теперь «Le Nord» уже мало читали даже в Брюсселе. И в России, и в среде русских эмигрантов к ней потеряли интерес, и только неутомимый князь Долгоруков продолжал обличать газету даже после ее возвращения в Бельгию. «„Le Nord“ — писал он в герценовском „Колоколе“ в 1867 г., — печатает все, что ему присылается из III Отделения. Дают земские учреждения: „Nord“ восторгается и умиляется перед мудростью правительства; закрывают земское собрание: „Nord“ опять кричит о мудрости правительства» [35]. Долгоруков имел тем больше прав на сарказм, что именно он в начале 60-х годов XIX в. вписал в историю русской публицистики в Бельгии, быть может, самую интересную главу.

## ИЗДАНИЯ КНЯЗЯ ДОЛГОРУКОВА

Не только правительству царя либеральная атмосфера в Бельгии казалась благоприятной для того, чтобы оттуда воздействовать печатным словом на общественное мнение, как на Западе, так и в самой России. Представление о Бельгии как о стране достаточно свободной, терпимой и гостеприимной побуждало и русских оппозиционеров в эмиграции думать о возможности вести печатную пропаганду против самодержавия именно из Брюсселя.

Уже в 1856 г. и затем вновь в 1859 г. Герцен пытался перенести издание своего революционного «Колокола» из Лондона в Брюссель, однако не получил разрешения бельгийских властей. Осенью 1859 г. в Бельгии он подал министру юстиции Тешу просьбу разрешить ему с семьей прожить в этой стране несколько лет, обещая ничего не публиковать иначе как по-русски и не участвовать в газетной полемике. «Но продолжать мои русские публикации — мой долг», добавлял он. На полях письма Герцена против этих слов рукою министра выведено: «Каковы предмет и цель этих публикаций?». Шеф полиции доложил министру, что присутствие русского писателя-эмигранта в Брюсселе «может привести к значительным затруднениям». Но, очевидно, боясь повредить репутации Бельгии как «свободной страны», Тешу оттягивал решение, и только в апреле 1860 г. административная переписка по этому делу завершилась характерной резолюцией: «Отложить до новой просьбы или появления в Бельгии» [21. Т. 11. С. 488; Т. 26. С. 296, 299, 475; 36; 1. Р. 50—52].

Планы Герцена не осуществились. Но свободное печатное слово продолжало притягивать русских к Брюсселю. Здесь в книжных магазинах Ф. Клаассена и Ш. Мюкара часто можно встретить приезжих из России, искавших не разрешенные в их стране французские, английские и русские книги и газеты. Из писем Герцена и донесений таможенных контролеров в Остенде мы знаем, что Клаассену посылал свои издания для продажи и сам «лондонский пропагандист». В Бельгии казалось возможным то, что в других странах было еще запрещено или затруднено.

Идея издавать в Брюсселе политической журнал против царского самодержавия продолжала жить в среде эмигрантов из России. Реализовал эту идею князь П. Долгоруков. О его издательской деятельности в Брюсселе говорится в книге В. Сливовской «В кругу предшественников Герцена» [37]. Кратко упоминается об этом и в статьях М. К. Лемке и С. В. Бахрушина [38. С. 153—191; 39], но все же предметом специального исследования, как представляется, эта тема еще не стала.

Честолюбивый, фрондирующий аристократ, историк и публицист, презиравший петербургскую бюрократию и придворную «valetocratie», Долгоруков в 1859 г. тайно уехал из России. Вскоре за отказ возвратиться он был заочно приговорен к изгнанию. В Париже мятежный князь стал издавать по-русски и по-французски журналы и памфлеты, в которых обличал действия русских властей и придворные интриги, раскрывал многие фамильные тайны самых влиятельных лиц Петербурга и горячо пропагандировал принципы конституционной монархии. Издания Долгорукова не могли соперничать по популярности с герценовским «Колоколом», но они сильно вредили репутации русской правящей элиты на Западе. «Князь Долгоруков хорошо делает, что печатает по-французски: наши бюрократы боятся огласки, особенно на французском языке...», — замечал Герцен [21. Т. 14. С. 264].

Зимой 1861—1862 гг. петербургской знати удалось спровоцировать в Париже судебный процесс, в ходе которого Долгоруков был признан виновным в клевете. Отношение к князю в среде русских в Париже ухудшилось, и в июне 1862 г. он спешно переехал в Брюссель. В инспирированном русскими властями анонимном памфлете утверждалось: «Он переехал в Брюссель, надеясь, что там никто не знает его поступка, все примут его в свои объятия: плохой расчет на понятия бельгийцев о благородстве!» [40. 1862. IV—V. С. 81].

В Брюсселе, в типографии своего друга А. Мертенса, Долгоруков уже в августе начал издавать журнал «Le Vêridique», запрещенный во Франции после выхода первого же номера, как и другие издания князя. Поэтому со второго номера на обложке появилось гордое извещение: «Этот журнал имеет честь быть запрещенным во Франции». Журнал состоял из хроники событий в Российской империи, политических статей, кратких заметок о всевозможных злоупотреблениях русских чиновников, рецензий на русские книги и книги о России, биографических этюдов об известных и влиятельных лицах в Петербурге (в этом Долгоруков был особенно осведомлен) и некрологов. Публиковались и краткие выдержки из русской печати, в том числе из «Колокола». Для привлечения корреспондентов из России издатель обещал выполнять переводы за свой счет.

Хотя журнал выходил по-французски, Долгоруков обращался в первую очередь к читателям из России. Об этом говорит хотя бы то, что в его заметках многие реплики приведены также по-русски (во французской транслитерации), чтобы читатели могли оценить игру слов или лучше понять, о чем идет речь. Уже первый номер завершался «Avis aux voyageurs», где русским, желавшим нелегально ввезти книги или письма в Россию, разъяснялось, какие меры предосторожности они должны принимать на границе [41. 1862. Т. 1. № 1. Р. 177].

Но Долгоруков хотел издавать в Брюсселе печатный орган и на родном языке. Для этого он на личные средства основал на Rue du Commerce небольшую русскую типографию. Здесь с ноября 1862 г. стал выходить два раза в месяц журнал «Листок, издаваемый князем Петром Долгоруковым». Состав журнала был примерно таким же, как и «Le Vêridique». В политических статьях разбирались намеченные правительством в Петербурге реформы и разоблачался их мнимый либерализм. В каждом номере помещались письма из России. В последнем, вышедшем в Бельгии, номере пятом, начались знаменитые «Петербургские очерки» — уничтожающие портреты виднейших лиц петербургской бюрократии. Информацию о положении в России Долгоруков получал из Петербурга и Москвы, Одессы и Ярославля,

Киева и Варшавы. Он активно искал корреспондентов и даже переписывался с руководителями белокриничских старообрядцев, запрашивая у них подробные сведения о религиозных преследованиях в России [38. С. 180].

Оба журнала с гневным сарказмом атаковали политические институты Российской империи и «проказы» высших должностных лиц, разоблачали интриги русских властей за границей, их шпионов и деятельность «продажных писак и подкупленных журналистов» на Западе, к которым Долгоруков относил не только «Le Nord», но и «Indépendance Belge». Стиль публициста-князя — непримиримый стиль «торсадора», как его позднее назвал Герцен. «Возьмите унций деспотизма, унций лжи, унций тупоумия и унций трусости; истолките все это, потом смешайте вместе и вы получите петербургское правительство!» [42. 1862. № 1. С. 4]. Монархию как таковую и лично императора Долгоруков старался не задеть, но требование конституции проходит красной нитью через все его публикации. Объектом частых атак было и правительство Наполеона III. Обширное место занимали статьи в защиту поляков.

Долгоруков еще в № 1 «Листка» заявил, что готов печатать в своей типографии любые русские рукописи своих единомышленников. В октябре 1862 г. по его приглашению в Брюссель переехал либеральный публицист-эмигрант Л. Блюммер, издававший в Берлине русский политический журнал «Свободное Слово». В 1863 г. в типографии князя он издал первый номер своего журнала в Бельгии. Политические взгляды обоих редакторов совпадали. Они тесно сотрудничали: письма и небольшие актуальные статьи печатались в «Листке», а статьи более обширные и специальные — в «Свободном Слове». Блюммер и сам часто писал в «Листке». Герцен на страницах «Колокола» горячо поддерживал своих собратьев и союзников в Бельгии, извещал о выходе и «Листка», и «Свободного Слова», высоко ценил их и во всеуслышанье предсказывал им большой успех [21. Т. 16. С. 298; Т. 17. С. 309].

Хотя названные журналы почти целиком посвящались проблемам России, в них присутствовал и образ приютившей их страны, воплотившей в себе многие политические идеалы русских издателей. В одной из статей «Листка» Блюммер восхвалял опыт конституционного развития Бельгии, писал об «этой необширной, но счастливой стране с писанною и сочиненною конституцией» и даже об «умном и честном короле Леопольде, действительно образцовом государе» [42. 1862. № 3. С. 7].

В конце каждого номера «Листка» указывалось, в каких городах Европы и у каких книготорговцев его можно купить. Судя по этому списку, Долгоруков распространял свои издания везде, где бывали русские: во всех столицах, в портовых городах, на курортах. В Бельгии его журналы и книги можно было купить во многих лавках Брюсселя, Гента, Льежа, Остенде и Спа. Русские путешественники в Европе в 1862—1863 гг. охотно покупали наряду с «Колоколом» и «Листок». Либералы в России внимательно следили за деятельностью не только Герцена, но и Долгорукова и Блюммера [42. 1863. № 16. С. 8; 25. С. 184]. Типография Долгорукова в Брюсселе была в те годы намного важнее возникших ранее русских типографий в Париже, Берлине или Лейпциге. На страницах бельгийских изданий князя русский, попавший за границу, мог прочесть «самые интимные подробности о таких людях, имена которых у себя дома, в России, он не дерзал произносить вслух; а в Петербурге ни один из сановников не мог быть уверен, что в очередном номере „Листка“ он не найдет свой портрет, облитый грязью» [39. С. 87].

Деятельность русской типографии в Брюсселе продлилась недолго. Уже в августе 1862 г. Долгоруков отомстил своим врагам, выпустив анонимно книгу «La vérité sur le procès du prince Pierre Dolgoroukow. Par un Russe», где защищал себя от всех обвинений, высказанных на парижском процессе, и резко нападал на правительства России и Франции. Книга была карманного формата, что облегчало ее распространение. При этом издатель указал подложное место печатания и вымышленное имя топографа: «Londres, imp.



Smith, Richard-street, 33». Брюссельский книготорговец Клаассен продавал полученные 150 экземпляров сначала тайно, но затем открыто. Долгоруков впоследствии намекал, что Клаассен был подкуплен французскими властями. Случайно получив из Брюсселя эту книгу, высокий петербургский сановник граф Шувалов подал жалобу бельгийскому прокурору.

Сразу выяснилось, что «*La vérité...*» была издана в Бельгии. Все тот же анонимный публицист в Берлине, явно связанный с русской тайной полицией, призывал бельгийцев выслать автора из страны; «Бельгийское общество, ознакомившись с этой книгой, поймет всю невозможность иметь подобного человека среди своего общества» [40. 1863. VI—VII. С. 89—90]. Клаассен был арестован и признался, что получил все экземпляры от Долгорукова. За распространение книги без указания настоящего имени издателя князь также был привлечен к суду. По бельгийским законам, ему грозило до 6 недель тюрьмы.

Однако в суд он не явился. Рассказывая эту историю на страницах своих журналов, князь подчеркивал, что не мог быть уверен в торжестве правосудия: «Меня потребовали к суду без присяжных: я к подобному суду не явился». 8 февраля 1863 г., «положив в карманы несколько тысяч франков и самые важные из своих бумаг, я вышел с зонтиком в руках, без всякой дорожной сумки, словно шел прогуляться по бульварам». Через Антверпен и Роттердам, издевательски-торжественно отправив бельгийским властям вид на жительство, выданный ему в Брюсселе [42. 1863. № 6. С. 1; № 8. С. 8; 41. 1863. Т. 2. № 4. Р. 6—10; 38. С. 179], Долгоруков уехал в Лондон, к Герцену. К тому времени увидели свет пять номеров «Листка» и три номера «*Le Véridique*». В Лондоне издание обоих журналов возобновилось.

Первые же лондонские номера «Листка» и «*Le Véridique*», как и герценовский «Колокол», представили в самом выгодном для князя свете историю его бегства из Брюсселя «вследствие преследований правительств русского и французского» [21. Т. 17. С. 309]. Долгоруков с торжеством описывал, как ему удалось тайком, без багажа, уехать, а потом уже получить свои вещи, мебель, типографское оборудование из Бельгии. 27 февраля он был заочно приговорен к шести дням тюрьмы, а 15 июля к уплате графу Шувалову 1000 франков. «И я отнюдь не принес апелляцию на это постановление, имея намерение никогда больше ногой не ступить в Бельгию, намерение, исполнение которого особенно облегчается размерами пространства, занимаемого Бельгией на поверхности земного шара» [41. 1863. Т. 2. № 4. Р. 13].

Л. Блюммер еще оставался недолгое время в Бельгии. Но, поссорившись с Долгоруковым, на чей счет жил несколько месяцев, он уже не имел средств издавать там свой журнал. Теперь он активно устанавливал связи с польскими эмигрантами, выступал на польских собраниях в Брюсселе, Генте. Ходили упорные слухи (распространявшиеся прежде всего самим Долгоруковым), что Блюммер был агентом русской тайной полиции, но убедительных доказательств этому до сих пор так и не найдено [43].

## ИЗДАНИЯ ШЕДО-ФЕРРОТИ

Других периодических изданий русских эмигрантов в Бельгии того времени больше не было. Зато правящая элита Петербурга отнюдь не перестала пользоваться существовавшими в этой маленькой стране возможностями свободно и дешево публиковать брошюры и газеты. Особенно активен был в Брюсселе публицист Д. К. Шедо-Ферроти. Под этим псевдонимом скрывался барон Федор Фиркс, финансовый агент правительства Александра II в Бельгии.

В 1865—1867 гг. он издавал там два раза в неделю газету «Отголоски русской печати» («*Echo de la presse russe*»), провозгласив своей целью «поддерживать моральную связь между Россией и ее детьми, путешествующими или поселившимися за границей», а также позволить западной

публике «следить за интеллектуальным движением страны, о которой все говорят и которую так мало людей знают». Речь шла прежде всего о перепечатке из русских газет на языке оригинала или во французском или немецком переводе, поскольку сами эти газеты были малодоступны и исключительно дороги за рубежом. Часть «Отголосков» отводилась для отрывков из европейской прессы, касающихся России. Как настоящее эхо, газета должна была воспроизводить без всякого комментария «слова, произносимые другими, содержат ли эти слова хулу или похвалу». Бельгийская либеральная печать приветствовала появление такого собрата, как за десять лет до этого приветствовала «Le Nord» [44].

В настоящее время эту газету почти невозможно отыскать ни в России, ни в Бельгии. Известно лишь, что в ней появлялись и статьи самого Шедо-Ферроти, например, в 1866 г., «Нигилизм в России», изданный позднее в Брюсселе брошюрой и замеченный западной прессой. Помимо газеты он выпустил там в 1863—1867 гг. целый ряд политических брошюр, часть которых носила общий заголовок «Этюды о будущем России». И в газете, и в брошюрах, оживленно обсуждавшихся русскими и бельгийскими публицистами, Шедо-Ферроти защищал политику России в Польше против нападков на Западе и со стороны русских демократов. Он отстаивал умеренную политику бывшего наместника Царства Польского великого князя Константина, с либеральным окружением которого Фиркс был связан. То был, разумеется, весьма ограниченный бюрократический либерализм 60-х годов, почти консервативный (Герцен даже называл Шедо-Ферроти «большим консерватором, чем правительство» [21. Т. 15. С. 402]). Призывая русские власти к некоторым уступкам восставшим полякам, он, однако, требовал, чтобы поляки оставили надежды на возрождение своего старого государства. Он ставил им в пример «участь Бельгии» — просвещенной и свободной, но мирной и не стремящейся к расширению своей территории [45]. Герцен, которого Фиркс постоянно стремился умалить в глазах западных читателей, пристально следил в те годы за его изданиями [21. Т. 17. С. 292 — 293, 467—469; Т. 19. С. 583, 599].

Борьба идей и общественных сил в России и в среде русской эмиграции периода начинавшихся реформ Александра II привела к взлету публицистики. Полемика русских брошюр, газет и журналов стали и некоторые европейские столицы. Особенно мощно этот всплеск публицистической активности охватил в 1855—1865 гг. конституционную Бельгию. И официоз, направлявшийся правительством царя, и радикально оппозиционные издания эмигрантов нашли себе приют в Брюсселе тех далеких лет.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ronin V.* Tussen oorlog en hervormingen: Russen in België. 1815—1861//Het land van de Blaauwe Vogel. Russen in België. Antwerpen, 1991. P. 23—61.
2. *Dolgoroukov P.* Notices sur les principales familles de la Russie. Bruxelles, 1843.
3. *Gretsch N.* Examen de l'ouvrage de M. le marquis de Custine «La Russie en 1839». Bruxelles, 1844.
4. *Усов П. С.* Из моих воспоминаний//Исторический вестник. 1882. Т. 8. № 5. С. 329—330.
5. *Teñoborsky L.* Sur les finances de la Russie. Bruxelles, 1854.
6. De la politique anglo-française dans la question d'Orient, par un diplomate retiré du service. Bruxelles, 1855.
7. Encore quelques mots sur la question d'Orient. Bruxelles, 1854.
8. *Poggenpohl N.* L'empereur Nicolas I. Bruxelles, 1855.
9. L'Economiste belge. 1855. № 8. P. 2.
10. Из записок генерала К. Н. Лебедева, 1855//Русский архив. 1888. Т. 3. С. 460.
11. Le Journal de Charleroi. 1855.
12. *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений и писем. Пб., 1919. Т. VIII. С. 362—371.
13. *Тёрнер Ф. Г.* Воспоминания жмани. СПб., 1910. Ч. 1.
14. La vérité sur le proces du prince Pierre Dolgoroukov. Par un Russe. Londres, 1862.
15. *Hymans L.* Types et silhouettes. Bruxelles, 1877. P. 190—191.
16. Le Nord.
17. Le Télégraphe. 1855.
18. Le Messenger de Gand. 1855, 23 juillet.
19. Le Journal de Liege. 1855, 7—8 juillet.
20. *Ronin V.* Gustave de Molinari in de Russische pers (в печати).

21. Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т.
22. *Hutans L.* Notes et souvenirs. Bruxelles, 1877. P. 116—120.
23. Письма В. П. Балабина графу П. Д. Киселеву//Русская старина. 1902. № 10—12.
24. *Валуев П. А.* Дневник//Русская старина. 1891. № 11. С. 416.
25. Литературное наследство. М., 1955. Т. 62.
26. *Hutans L.* Journal d'un voyage en Russie. Mons, 1884.
27. Современник. 1855. Кн. 8. С. 276—277.
28. *Толстой Л. П.* Полное собрание сочинений. М., 1952. Т. 47. С. 47, 16, 162, 170—171.
29. *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.
30. Литературное наследство. М., 1988. Т. 97/1. С. 423—424.
31. *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. М., 1948. Т. 4. С. 848—853.
32. *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем. Письма. М., 1987. Т. 3. С. 157, 289—290, 295, 358; 1987. Т. 4. С. 113, 181.
33. Современная летопись Русского Вестника. 1862. № 27. С. 7.
34. *Mickiewicz W.* Emigracja polska 1860—1890. Kraków, 1908. S. 71—72.
35. *Долгоруков П. В.* Петербургские очерки. М., 1934. С. 271—272.
36. *Кузьмин С. Н.* Герцен под надзором бельгийской полиции//Литературное наследство. 1956. Т. 63. С. 298—303.
37. *Śliwowska W.* W kręgu Poprzedników Hercena. Wrocław, 1971.
38. *Лемке М. К.* Кн. П. В. Долгоруков — эмигрант//Былое. 1907. № 3.
39. *Бахрушин С. В.* «Республиканец-князь»//Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., 1934. С. 5—102.
40. Нынешнее состояние России и заграничные русские деятели. Berlin.
41. Le Vêridique.
42. Листок, издаваемый князем Петром Долгоруковым.
43. *Śliwowska W.* Pierwsi rosyjscy emigranci polityczni i ich stosunek do kwestii polskiej//Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX w. Wrocław i inn, 1972. S. 160—164.
44. Отголоски русской печати, 1865, 3 июня.
45. *Schêdo-Ferroti D. K.* La question polonaise au point de vue de la Pologne, de la Russie et de l'Europe. Bruxlees, 1863. P. 37.



## АМЕРИКАНСКИЕ САДЫ АЛЛЫ НАЗИМОВОЙ

Среди имен, щедро подаренных Россией мировому театру и кинематографу, пожалуй, наименее известно у нас имя Аллы Александровны Назимовой. Вероятно, возвращая сегодня наследие тех, кто был выплеснут за пределы России тремя эмигрантскими волнами советских десятилетий, мы продолжаем все же руководствоваться вопросами политическими. Но, однако, и в этом случае вне поля зрения оказываются те, кого отделил от России год не только 1917, но и 1905. Инакомыслие, диссидентство, нескончасмая гражданская война наяву и в умах все же не были универсальными причинами эмиграции и объясняют далеко не все. Художник сам может выбирать, где остановить свой «жизненный бег», не предусматривая ответов на вопросы современников и потомков. Исход русского человека по свету начался отнюдь не после Октября 1917 г., и был более массовым, чем мы представляем.

Россия вообще страна загадочная. У нее всегда было как-то слишком много культуры, слишком много интеллигенции. Как в романе: что ни герой — то «лишний», в крайнем случае — преждевременный. Самым разным «отцам отечества» всегда почему-то казалось, что культуры у нас — через край, и рождение шедевров надо «регулировать», а излишки духовности отправлять на экспорт, особенно не заботясь о последствиях. И задолго до того, как «русскую мысль» погрузили на корабль и отправили из страны, поселилось в душе у нашего соотечественника некое сомнение в собственной нужности Отечеству. И одновременно с ним — надежда на то, что там, за горизонтом ждет его праведная земля, что даст она ему — не деньги и не славу даже — а в о п л о щ и е себя.

Наряду с чеховским: «В Москву, в Москву!» начало XX в. было отмечено томлением интеллигенции по краям, более отдаленным. И уже старушка Европа не так привлекала, как новое светило — Америка. За ним, за Новым Светом, угадывался лидер современной мировой цивилизации. Из абстракции, означавшей ничто, небытие (помните, Свидригайлов хотел усхать «в Америку?»), Америка превращалась в объект реального желания.

Уже в 1900-х годах Америка становится «русским бредом» в кругах артистических. Ощущение, что успех артиста неполон, недостаточен без признания на Колумбовом континенте, витает в воздухе кулис. В числе первых, в 1905—1906 гг., отправляется на гастроли в Америку труппа трагика П. Н. Орленева с его женой, А. А. Назимовой, во главе. Артисты в лихорадке: нечеткость условий договора, невыплаченные подъемные, даже такая «мелочь», как незнание английского языка, не могли поколебать их энтузиазма. Артист И. Смирнов признавался: «Я жажду быть в Америке... Перед этим стремлением все прочие соображения бледнеют» [1. С. 824].

Ничто не может поколебать жажды успеха «там». «В Америку! Вот Рим для сценического деятеля наших дней!» [2. С. 7].

После 1905 г. в Америке, в том числе в Нью-Йорке, появились первые маленькие русские театры. Начинается «русский бег» в Америку. Бегут не только, фигурально выражаясь, Раневские, но и лакеи Япи, ибо там, в Америке, «уже все в полной комплекции». Как всякий «бег», этот имел свой и трагический и фарсовый лики. К 1910-м годам он приобретает характер, все более достойный пера М. Булгакова. «Едут сюда отдельные артисты, едут целые труппы, едут сюда и личности, для которых сцена — один из способов беспардонной наживы... Они приспособливают к сцене и арцыбашевского „Санина“ и „Убийство императора Александра II“ при участии войска и нескольких лошадей... Идет пьеса „9 января“. Артистам бросается в глаза (в 1912 г.) „масса коренных русаков“. В одной из многих русских газет постоянно помещаются адреса клубов, союзов и т. п., есть „Эмигрантский дом“...» [2. С. 87].

Но неспритязательная душа артиста, закаленного русским провинциальным бездорожьем, прежде всего ищет главное — дорогу к «храму искусства». И тут выясняется огромное различие между русским и американским его вариантами. Во-первых, нет «храма» как такового: «Видим в доме, выходящем в два переулка, перестраивающуюся квартиру, много — две, соединенных вместе, превращаемых в театральное помещение... Через 10 дней здесь играть...» [1. С. 824]. В другом месте театр «без гардероба, грязные лестницы, тесные комнаты, духота, дым коромыслом...» Актерские гримерные напоминали «сырые стойла для лошадей» [3. С. 866]. Во-вторых, артисты никто не поклоняется, а театральная Россия жила под наркомом поклонения артисту все предшествующее столетие, что оставило след в русском менталитете.

Следующий приезд труппы Орленева в 1912 г. был встречен без энтузиазма. Русские перестали казаться носителями «загадочной души», чему немало способствовал разношерстный иммигрантский люд, влившийся в улицы американских городов. Американцы, менее всего живущие страстью к театру, быстро привыкли к «русской экзотике». По прибытии на Родину гастролеры обиженно заметят об американцах: «Русская политика в настоящее время их волнует сильнее, чем тысячи Орленевых и Найденовых, взятых вместе» [3. С. 866]<sup>1</sup>.

Возвращаясь из первых же гастролей по Америке, труппа не досчиталась своей главной актрисы [4]. Нужно сказать, что и будущие, гораздо более удачные «одиссеи» — и прежде всего мхатовская, на «Мажестике» в 20-е годы, — также пополнят население «Москвы на Гудзоне» отнюдь не ординарными бывшими российскими гражданами. Однако именно судьба Назимовой сложилась много счастливее судьбы других ее соотечественников.

Сценические данные и «южный» темперамент Назимовой, родившейся в Ялте в 1879 г., соседствовали с «северными» воспитанием и образованием. Мы имеем в виду отрочество, проведенное в Швейцарии (Женева и Цюрих), где она получала уроки танца и драматического искусства. Затем — Петербургская (по другим источникам — Одесская) консерватория, в которой Назимова училась по классу скрипки. Замечательные «вложения» в ее «артистический капитал» сделал русский театр: драматический класс В. И. Немировича-Данченко в Филармоническом училище; труппа МХТ — «от сотворения», с 1898 г., петербургский театр Неметти, когда там играли прославленные братья Адельгейм. Наконец, главная фигура ее российской биографии — П. Орленев, увезший Назимову сначала в провинцию, а затем на гастроли в Америку. В России были сыграны роли Ирины в «Царе Федоре Иоанновиче», Лни в «Еврейях» Чирикова, Грушеньки и Дуни в «Братьях Карамазовых» и «Преступлении и наказании» Достоевского, Регины в «Привидениях» Ибсена. Эти пьесы большей частью и составили репертуар

<sup>1</sup> Конечно, по этим словам нельзя судить полностью о гастролях Орленева в Америке. Артист нашел свою аудиторию и произвел сильное впечатление на американскую творческую интеллигенцию.

американских гастролей. Несмотря на значительность всех этих ролей для карьеры Назимовой, она оставалась в тени таланта Орленева, и только в связи с формированием русской труппы для гастролей в Нью-Йорке, по замечаниям обозревателей, «имя г-жи Назимовой ставится в красную строку» [3. С. 757]. С этой красной строки начинается ее вторая жизнь. В 1906 г. Назимова окончательно «вышла из круга», оставшись в Америке [5]. Однако она давно шла к этому шагу. С 1900 г. жизнь ее — цепь уходов: сначала из Художественного театра, с его подчиненностью личности ансамблевому началу, потом от Орленева, которому Назимова, и она отдавала себе в этом отчет, была обязана многим.

Трудно судить о том, как бы сложилась судьба Назимовой, не уйдя она из МХТ в 1900 г. (скорее всего, великой актрисы Назимовой мы бы и не знали), но несоместимостью своей природы с императивами Художественного театра она почуствовала безошибочно. А. Мгебров в воспоминаниях приводит слова актрисы МХТ М. Германовой, тонкий и изысканный облик которой, по его мнению, нес отпечаток нарочитой скромности: «Художник должен быть всегда незаметней всех» [6. С. 223]. Подобное назидание показательно для атмосферы Художественного театра. Для нас важно увидеть несоместимость этого фетиша «незаметности» (безусловно, программного: «Не артисты, а интеллигентные люди» — Чехов) с актерской природой независимой, яркой, умной, своенравной женщины. Назимова во всем была «игор» для артистки МХТ. Характерно, что Чехов, знавший ее по Ялте, чуткий к новым, как он говорил «нервным» актерам, «не видел» ее в качестве исполнительницы ролей в своих пьесах и говорил Орленеву: «Вот бы вам сыграть с моей женой» [5. С. 97]. Назимова же не хотела смириться с тем, что не может реализовать себя; кажется, больше всего она боялась потерять актерскую самоценность, раствориться в целом, потому и не отдавалась ничему полностью. В Назимовой уживались противоположные начала: экстатическое и прагматическое, трагедийное и бурлескное, южное и северное, восточное и западное (ее сравнивали то с Дузе, то с японской актрисой Садо Якко). Наверное, соединение всего этого и давало тот слав, который называли «легендой Назимовой».

В артистической жизни Назимовой царил закон — она была сильна тогда, когда утверждала свою актерскую почти что монархическую власть, и проигрывала, уступая первенство партнеру, отступая в тень. Так было с Орленевым, для которого Назимова все же не являлась «ровней», так было с английским актером Ч. Брайантом, за которого она вышла замуж: доверив ему «режиссуру» своей карьеры, она вступила на путь заката.

Было ли у Назимовой в Америке чувство вины? Мотивы ревности и мести, вины и раскаяния, образы женщин, «вышедших из круга», сопровождают ее постоянно, она сознательно стремится к ним. Без сомнения, ее биография, «эмоциональная память» имеют непосредственное эхо в ее сценической жизни. Случайно ли, например, обращение к чеховскому этюду «На большой дороге», соединенному с пьесой братьев С. и Х. Кинтеро из провинциальной жизни (спектакль шел три сезона в Театре «Сивик репертари» Евы Ле Гальенн)? Назимова выбрала для себя не роль главной героини Кинтеро, а крошечный эпизод, где играла жену русского купца (появляющуюся лишь к развязке этого единственного романтического этюда у Чехова) — роль Маши, Марьи Егоровны, что «загубила» душу Борцова [7. Р. 489].

Удар, который пережил Орленев, был обусловлен не только карьерными соображениями Назимовой. Личные обстоятельства, связанные с конфликтом этих двух индивидуальностей, необходимо вписать в общую «драматургию» русского театрального зарубежья. Существует легенда, что Америка приютила русское актерство, что там оно нашло прибежище и признание. Актеров — да, то есть отдельных личностей, пробившихся в «star system». Но и Михаил Чехов и Алла Назимова (и ныне для многих на Западе прежде всего кинозвезда), при всей абсолютной несхожести личностей, могли бы повторить за Шаляпиным: «...Но где мой театр? Я не создал

своего театра»<sup>2</sup>. Другой бывший мхатовец, Ричард Болеславский, уже создав свой театр — «Лабораторию», работая, как никто, в театре и в Голливуде, находясь все время в круговороте актерской жизни, произнес почти те же слова: «Заниматься театром можно только в России» [9].

Мечта Орленева создать в Америке русский театр обернулась поражением. Интерес Запада к «необузданной и загадочной славянской душе» был гастрольным любопытством, острым ощущением, а не стойкой привязанностью. Орленев вернулся в Россию, к своей публике, всегда жаждущей видеть в актере мессию, лучшего из людей, свое alter ego и, как выражался Станиславский, «плохо кончил». А Назимова пошла навстречу жесткому выбору: или стать «звездой» — или никем.

Обратим внимание на такое обстоятельство: судьба русских актеров на чужбине была намного трагичней, нежели актрис. Ольга Чехова, Татьяна Павлова, Алла Назимова — состоялись, «пришлись ко двору» на Западе. Помимо волевых качеств, Назимова обладала замечательным талантом адаптации [15], колоссальной работоспособностью и дисциплиной, а именно последнее являлось важнейшим условием выживания в американской цивилизации. Саморазрушение русских актеров оргиастического, мочаловского толка, от Орленева до Высоцкого, крайне затрудняло их вхождение в иную среду и культуру, где нужно было упорно, ежедневно себя «строить», тренировать и беречь, «держат в струне», чтобы быть востребованными в неожиданную, счастливую минуту.

Работа на Западе давала Назимовой возможность достичь той свободы творческой личности, которой она не находила дома. Важнейший мотив творчества Назимовой — мотив женской эмансипации, обусловленный личностью самой актрисы, властно требовал воплощения.

Назимова за шесть месяцев овладела языком и при содействии импресарио Л. Шуберта подписала первый контракт в Америке. Премьера «Гедды Габлер» с Назимовой в главной роли, впервые игравшей на английском языке, состоялась в октябре 1906 г.

А в 1910 г. в Нью-Йорке открылся Театр Назимовой [23]. Он не стал тем «русским театром в Америке», о котором поначалу они мечтали вместе с Орленевым, быстро превратился в американский «Театр 39-й улицы», однако сразу создал себе репутацию благодаря высокохудожественному репертуару и профессионализму исполнителей.

Для открытия театра была избрана пьеса «Маленький Эйольф» Г. Ибсена. Ибсен стал знаменем Назимовой. Если что и не вызывает сомнений, так это то, что Назимова стала крупнейшей толковательницей женских ролей пьес Ибсена, что именно она познакомила с его драматургией Америку. Обратим внимание на то, что распространению Ибсена в России сопротивлялись многие театральные деятели, хотя уже в ту пору его репертуар играли Комиссаржевская, Станиславский. Ибсена «не хотели» по тем же мотивам, что и Достоевского. Интересно, что такой авторитетный критик и оппонент Ибсена, как А. Я. Кугель, замечал некое сходство характеров Груни Достоевского и Гедды Габлер или Эллиды Ибсена, называя их натурами «до известной степени родственными» в главном — в отсутствии гармонии. Они действительно сотворены из одной «материи» и перечисленный ряд — это репертуар одной актрисы, а именно — Назимовой; к нему еще добавляются Хедвиг и Нора, Рита и Регина, Хильда и Фру Альвинг. Показав пьесу «Привидения» Орленеву еще в 1901 г. в Ялте, она ею же фактически и закончит свою карьеру. Затем она переносит «Кукольный дом» на экран в 20-е годы, выступив в качестве продюсера фильма.

«Маленький Эйольф», дававшийся в утренники, делал сборы, которые составили бы честь солидной национальной труппе. Видевшие Назимову на сцене в пьесах Ибсена и до того не любившие или не понимавшие

<sup>2</sup> Как показала финская исследовательница Лийса Бюклинг [8], эпистолярное наследие М. Чехова пронизано ощущением глубокой дисгармонии с американскими «предлагаемыми обстоятельствами», и это — несмотря на книги, студию, учеников. Не случайно вся вторая часть книги «О технике актера» — это мечта об актерском коллективе.

этого драматурга, — пишет критик, — уже не говорили, что в его пьесах мало действия [7, Р. 510]<sup>3</sup>. «Гистрионический темперамент» Назимовой, обнаруживавший театральность и драматизм там, где их менее всего ожидали, вскоре принес ей славу виртуоза, мастера контрастов не только в театре, но и в кино.

Пик работы Назимовой в кино приходится на конец 10-х — начало 20-х годов, когда она после успеха фильма Бренона «Невесты войны» заключает контракт с «Метро» (затем — «Метро Голдвин Мейер») и выпускает подряд несколько фильмов, превративших ее в кинозвезду с мировым именем. Особую роль в киносудьбе Назимовой сыграла ее встреча с французским кинорежиссером и одним из зачинателей кинематографа, в особенности экранизации классики, Альберто Капеллани, в трех фильмах которого она снялась («Око за око» («Запад»), «Красный фонарь», «Из тумана»). Характерно то, что успеха она добивается в фильмах, большей частью поставленных по пьесам (две из названных — Г. Кистельмекера и Г. Адамса), уже принесших успех Назимовой. Однако наивысшей точкой ее кинобиографии многие считают «Красный фонарь» (1919), после которого о Назимовой стали говорить как о кинозвезде международного класса.

В основу фильма были положены события, происходившие в Китае во время «боксерского восстания» 1900 г. Восточный колорит, который стал притягивать многих кинорежиссеров в 20-е годы, здесь вовсе не сводился к дешевому «ориентализму базара» [11]. Игру Назимовой в этом фильме сравнивали с игрой актера Сессю Хайакава в фильме «Вероломная» — он прославился своей особой мимикой, необычной для немого кино. Мимика Назимовой в роли Мэй Ли была абсолютно лишена всякой искусственности.

На тематику голливудской кинопродукции оказала большое влияние сексуальная революция, которой сопровождалась первая мировая война, принесшая слом прежней морали и взглядов на поведение женщины. Война дала опыт эмансипации самого разного рода и то, что было трудно представить себе как общую норму, даже моду, еще каких-нибудь десять лет назад: курение и употребление алкогольных напитков, короткие стрижки и короткие юбки, а главное — добрачные связи и «опыт», вдруг стали «престижными». К этому новому типу поведения «притягивался» З. Фрейд, необходимый «для оправдания перемен» [12. Р. 20]. Наиболее прозорливые увидели в происходящем начало глобальной революции в области семьи и брака. На смену викторианским идеалам пришел образ «неудовлетворенной и бунтующей женщины».

Проблематика пола, выплеснувшаяся на страницы печати и киноэкраны тех лет, могла получать различные воплощения — от чисто биологического уровня до социального, исследования общественной эксплуатации пола, в первую очередь — положения женщины. Речь шла о новом имени для старого явления, о «сексизме» и борьбе с ним как формой дискриминации человека. Характерно, что в одном из первых фильмов Назимовой угадывался мотив «современной Лисистраты» («Невесты войны», 1916): он завершался демонстрацией женщин против войны и насилия и самоубийством героини в знак протеста [24].

Яркая красота Назимовой, ее экстравагантная внешность и балетная пластика «были редкими подарками для кинематографа» [12. Р. 161]. Но ни на какой «секс-символ» нарождавшегося кинонаправления она не могла претендовать по своей психофизической природе, и главное, не хотела сводить к этому свою карьеру актрисы. Проблематика «войны полов» и женской эмансипации приобретала у Назимовой углубленное толкование.

Традиционная для Назимовой требовательность к литературной основе приводила к тому, что «горячие темы» решались ею на классическом материале «Дамы с камелиями», «Кукольного дома» или «Саломеи», что и помогло ей на какое-то время утвердиться в амплуа героини.

<sup>3</sup> Примечательно, что Назимова воспитала не только публику, но и критику, тон которой в отношении актрисы явственно менялся: в 1910-х годах уже никто не досадует (как то было во время первых гастролей), зачем «такая красивая и страстная» [10] женщина выступает в скучном скандинавском репертуаре.



В немалой степени формированию киноимиджа Назимовой в Голливуде на рубеже 1910—1920-х годов, когда актриса брала на себя и роль продюсера, сыграла художник и костюмер Наташа Рамбова. Она не была русской, как и Ольга Петрова, актриса и сценаристка, в пьесах которой выступали Назимова и другие русские актеры. Это еще раз подтверждает моду на «русскость» — некий общий запрос, заставлявший, как мы видим, прибегать к мистификациям и псевдонимам.

Почти детская игра в «русское» отражает, как в капле воды, двустороннюю тенденцию, утвердившуюся в XX в.: русского духа — к завоеванию признания Нового Света как наиболее престижной аудитории, лидера мировой цивилизации; Нового Света — к «одухотворению» и укреплению своего имиджа плодами русской культуры.

Девочка по имени Уиннифред, падчерица американского косметического короля, очарованная славой русского балета, приехала накануне революции 1905—1907 гг. в Россию, где приняла сценический псевдоним Наташа Рамбова. Когда же во время революции императорская труппа Ф. Козлова оказалась на гастролях в США, вопрос для «русской балерины» Рамбовой был решен. Наташа стала заниматься танцем с Назимовой и шаг за шагом пробилась в Голливуд, который в глубине души презирала. «Бесконечная борьба тех, кто был ничем, за то, чтобы стать всем», — приводят ее слова биографы Рудольфо Валентино, мужа Наташи [13. Р. 42].

Женскому треугольнику — Джун Мэтис (автор сценариев ряда фильмов Валентино) — Наташа Рамбова — Алла Назимова — принадлежит особая роль в карьере модного киноактера. Лидирующее положение, без сомнения, занимала Назимова. Говорят о «маленькой империи» Назимовой в Голливуде, с четко очерченным «придворным кругом», в котором время от времени Назимова производила «ротацию». Русская звезда, которой в те, лучшие, дни платили 13 тыс. долларов в неделю, разглядела в Валентино «латинского любовника» не сразу. «Я охотилась за молодым партнером», — скажет она позднее [13. Р. 40]. Безошибочно чутье ее не подвело.

В «Камелии» (1922), явившейся современной киноверсией романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями», Рамбова погрузила любовников в сталактитовый стеклянный мир, и ломаная, «зигзаговая» пластика Назимовой, похожей в облегающем вечернем платье на ящерицу, казавшейся особенно хрупкой из-за контраста пышных южных волос и балетного тренированного тела, великолепно гармонировала со стилем «модерн» декора фильма. Назимова, которой к тому времени было уже 43 года, понимала, что безжалостная камера в крупном плане дезавуирует ее, и прибегла к помощи оператора, создававшего специальный размытый фокус. На сей раз прочтение амплуа «невротической женщины» Назимовой приобрело модный стриндберговский аспект: отношения Назимовой и Валентино (Армана) напоминали фрекен Жюли и лакея Жеана Стриндберга [13. Р. 42].

Назимовская Саломея в одноименном фильме (1923) для многих оказалась шоком. Недоброжелатели «Саломеи», раздраженные ее трансвестизмом, писали о стремлении Назимовой к оригинальности любой ценой, к вычурной, самодовлеющей форме, немотивированной замыслом, к излишней театрализации и балетности (смена костюмов «на публике», переодевание и обнажение героини, прикрывавшиеся черными кордебалетными манто) [12].

В кино А. Назимова, несмотря на несомненный успех, продержалась недолго. И не только потому, что она лишилась своего «киномастера» А. Капеллани, тяжело заболевшего и покинувшего Голливуд. Главное заключалось в том, что менялся сам тип киногероини. На смену женщинам-«вамп» шли первые «секс-бомбы» типа Мей Уэст. А этот тип не соответствовал устремлениям Назимовой. Восходили новые «звезды», с чьим успехом было уже невозможно тягаться, среди них — Г. Гарбо, являвшаяся прежде всего трагедийной актрисой, ставшей в истории мировой киноклассики лучшей исполнительницей ролей великих «любовниц». Были и другие, «технические» сложности [22] существования русской звезды в звуковом кино: партнеры Назимовой и в более зрелом возрасте отмечают ее славянский акцент.

Спрос на Назимову в кино стал падать. Она расторгает контракт с «Метро», предварительно все же попробовав себя в новом амплуа. Ведомая мужем, Брайантом, актером водевильно-мелодраматического склада, Назимова обнаруживает легкость и веселый нрав.

Представляется, впрочем, что постоянная смена масок Мельпомены и Талии доставляла ей какое-то особое актерское наслаждение. Она не боялась выступить в шоу «Таймс сквер после полуночи» вместе с Мей Уэст [7. Р. 601].

Интересно, что еще в 1905 г. в Берлине Назимова выступает в этюде Гартмана «Нравственность» и играет как бы пролог к своей дальнейшей судьбе. Этюд этот рисует жизнь русской кафешантанной певицы, для которой подмошки составляют главную цель жизни. Назимова, подчеркивал тогда рецензент, играла женщину, которая всем обязана только себе: она покинула дом, когда с ней хотели поступить помимо ее воли, и никакие лекции о нравственности и даже предложения вступить в законный брак не смогли заставить ее переменить свои привязанности. По исполнению артистка, замечал критик «National Zeitung» превосходила покойную Жени Грос, для которой автор написал свой этюд [14].

Из космополитического мира киноавиллона Назимова в середине 20-х годов возвращается в театр, чтобы опять играть русскую классику, и к тем, кто прошел или ценил школу Художественного театра. Но ее путь в театре в 20—30-е годы не был ровным. Как отмечает абсолютное большинство западных исследователей, Назимова все больше попадала под влияние мужа, без сомнения, посредственного актера. С Назимовой происходил характерный парадокс, высказанный ее любимым Ибсеном: «Я не знаю мысли, которая, будучи продолжена, не привела бы к мысли, совершенно обратной». Воля Назимовой, ее тяга к независимости, стремление доминировать, быть центром увели ее и из ансамблевого театра «без центра», и от актерского самодержавия Орленева, видевшего в ней все же ученицу, партнершу, но не ровню. Стремясь к «матриархату» в творческой жизни, она приобрела Брайанта как партнера, но дуэт с ним привел Назимову не только к ряду поражений, но и пошатнул репутацию ее как актрисы.

Несомненно, кино и Брайант испортили вкус Назимовой: эта прежде изысканная (и редкая для Голливуда!) звезда-интеллектуалка слишком адаптировалась к средним американским стандартам [7. Р. 187]. Что играла Назимова с Брайантом? Типичным примером может служить венгерская мелодрама «Дагмар» Ференца Герцега в постановке Идена Пейна, где Назимова исполняла роль княгини-нимфоманки Дагмар, ненасытно менявшей любовника за любовником, пока не произошла ее встреча с Андре Белизаром (Ч. Брайант). Дагмар дает клятву, что разрешит ему убить себя, если тот узнает об ее измене. Но зов пола сильнее Дагмар, и в финале пьесы Андре вонзал ей нож в горло. Критик журнала «Плейгоуер» задавался ядовитым вопросом, почему Белизар не убил ее раньше — так несносна казалась ему пьеса и игра Брайанта. Конфликт назревал, и развод в 1924 г. освободил Назимову от власти «злого духа» по имени Брайант.

Новый театральный взлет Назимовой приходится на период Великой депрессии. Русская и мировая драматургия, герой которой — человечество, стоящее на краю пропасти, звучала тогда как нельзя более актуально. В театрах «Сивик Репертори» и «Гилд» Назимова играет Раневскую, Наталью Петровну в «Месяце в деревне» (спектакль поставлен еще одним эмигрантом, Рубеном Мауляном, в 1930 г.) и, наконец, в «американской трагедии» О'Нила «Траур — участь Электры».

Приход в «Сивик Репертори Тизтр» (Городской репертуарный театр), как и в «Гилд», для А. Назимовой был закономерен. Для Евы Ле Галльенн, имевшей то же пристрастие к Ибсену, что и Назимова, испытывавшей настолько сильное влияние «блумсбернйского Чехова» и Художественного театра, что оно заставило ее учить русский язык, хотевшей создать «репертуарный» театр вместо «бродвейской системы», продолжить дело независимых театров Антуана и Брами, в таланте Назимовой было нечто важное, а именно: его

русская природа. Она их не только сближала, но и разъединяла. Подчеркивая свою «реалистическую» приверженность, Ле Галльсенн считала талант Назимовой слишком «экзотическим и невротическим» [16], что, по ее мнению, было результатом первичного, «орленевского» начала, уже затем подвергшегося отделке в школе Художественного театра. Эти наблюдения подтверждают одну принципиальную вещь: актерский менталитет Назимовой, ее сценическая культура находились в русле русской актерской традиции. Поэтому нам представляется в корне неверным факт перехода к игре на английском языке в «Гедде Габлер» (1906 г.) считать жесткой границей, разделяющей в ней «русскую» и «американскую» Назимову. Правомернее говорить о «двойном подданстве» Назимовой-актрисы «американского периода» (ср. [12, Р. 161]).

А. Назимова создала особую традицию интерпретации чеховских героинь. Популярная в современном театре тенденция играть Раневскую сексуально-опасной, далеко не увядшей, подчеркивать в ней «парижский шик», беззаботность, резко контрастирующие с драматизмом ситуации, восходят к игре Назимовой в спектакле Ле Галльсенн. И хотя некоторым была по душе более традиционная, «реалистическая» Клиппер-Чехова, игравшая на гастролях МХТ в Америке иначе, мягче, исполнение Назимовой называли современным и наиболее «пронзительным».

Впоследствии американский кинорежиссер Дж. Кьюкор вспоминал, как был поражен одной сценой из спектакля: «...Назимова (я видел пьесу в различных постановках, но такого решения — никогда) делала нечто замечательное... Только что она была весела и счастлива... И вот долговязый молодой человек в блузе входит в комнату. Назимова взглянула на него и бросилась к нему, рыдая. Это был учитель сына Раневской, утонувшего несколько лет назад. Обычно актрисы играют этот момент очень сентиментально, но Назимова создавала у зрителя впечатление, будто мальчик утонул только вчера. У нее был прекрасный, какой-то хрупкий голос, и она рыдала так, как будто учитель принес тело ее сына. Это производило огромное впечатление своей внезапностью... Я не забыл этого... до сих пор» [17].

При всех различиях между актрисами Назимовой и Ле Галльсенн, такое прочтение режиссеру Ле Галльсенн казалось убедительным и единственно необходимым — и она приглашает Назимову сыграть роль Раневской в «Вишневом саде» в «Амстердамском театре» в Нью-Йорке в 1933 г. (см. [7; 21]).

Играла Назимова и в пьесах Ю. О'Нила, в которых за масками и гримасами современного мира проступал античный миф. В пьесе «Траур — участь Электры» за каждым из персонажей-американцев, современников гражданской войны 1860-х годов в Новой Англии, различим античный прототип: Лавиния Мэннон — Электра, генерал Мэннон — Агамемнон, его жена Кристин — Клитемнестра, Адам — Эгисф. Не Эдипов комплекс или комплекс Электры являются стимулом трагедии, а война всех против всех, ведущая в пропасть не одну семью Мэннонов, где борются две ветви, а весь человеческий род. В этой войне нет победителей. Мотив инцеста получает у драматурга глубокую, трагическую идентификацию: кровосмешение «читается» как самоубийство. Мотив преступления и наказания, сопровождавший все творчество Назимовой, дал здесь особые возможности для самораскрытия актрисы. Назимова играет роль Клитемнестры — Кристин.

Бернард Хьюит, автор книги «Театр США», пишет о безусловной женской доминанте действия драмы и подчеркивает, что она обусловлена не эсхиловой трагедией, не мифом, где главным действующим лицом является Орест, а ситуацией в современной цивилизации [19].

Трудно было предполагать, что такое громоздкое, трехчастное, 14-актное и 6-часовое действо не просто будет принято зрителем, но пройдет 150 раз, сделав эту пьесу, проникнутую той же атмосферой, что и произведения Достоевского и Ибсена, частью истории театра. Игру Назимовой в спектакле называли «полифонической», «многокрасочной». Элис Брэди — Лавиния — Электра и Назимова — Кристин — Клитемнестра и как актерские типы, и

как античные маски были абсолютно контрастны. Дж. В. Кратч писал, что постановка пьесы О'Нила — важнейшее событие в жизни американской сцены вообще, и если бы приходилось выбирать из воплощений драматической литературы XX в., то единственное, что следовало бы оставить, так именно это [18].

А. Назимова закончила свои дни в 1945 г. американской звездой (одним из последних ее фильмов был «Побег» — 1940 г.), о которой молчали советские киносправочники. Она прожила самую трагическую половину XX в. — с революциями, погромами, войнами — и дожила до Победы.

Путь, даже «бег» из меблированных комнат русской провинции до империи мировой киноиндустрии должен был иметь какое-то земное вознаграждение. «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет...». Свою виллу, там, в Америке, она назвала «Садом», точнее — «Садом Аллаха» («The Garden of Allah»), обустроив ее в восточном стиле. (В отличие от других авторов, читающих название виллы Назимовой как «Сад Аллы» [20], мы считаем, что даже этот маленький штрих — игра слов — несет характерную для актрисы черту: стремление театрализовать свою жизнь.)

«Сад» Аллы Назимовой постигла судьба «Вишневого», так как ее банковские счета были пусты. Но память об актрисе не дала свершиться худшему: он превратился в пансион, и в этом виде детище Назимовой уцелело. В нем любили останавливаться актеры на своем пути в Голливуд. Те, кто еще только начинал свой «бег».

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнов И. Русский актер в Америке//Театр и искусство. 1907. № 49.
2. На гастролях в Америке//Театр и искусство. 1912. № 1.
3. Нам пишут из Нью-Йорка//Театр и искусство. 1905. № 51.
4. Около рампы//Биржевые ведомости. СПб., 1906. 15 V.
5. Жизнь и творчество русского актера Орленева, описанная им самим. Л.; М., 1961.
6. Мгебров А. А. Жизнь в театре. Л., 1929. С. 223.
7. The Encyclopedia of New York Stage. 1920—1930/Ed. by S. L. Leiter. New York, 1989.
8. Бюклинг Л. Михаил Чехов в голливудском кино//Искусство кино. 1992. № 6. С. 40—41.
9. Roberts J. W. Richard Boleslavsky. His Life and Work in the Theatre. Ann Arbor, 1977. P. 220.
10. The Constitution. 1906. 28 1.
11. Jeanne R., Ford S. Histoire encyclopédique du cinema. 1895—1945. Paris, 1955. Vol. 3. S. 320.
12. Robinson D. Hollywood in the Twenties. London; New York, 1968.
13. Walker A. Rudolph Valentino. London, 1976.
14. Петербургский дневник театрала. 1905. № 1. С. 8.
15. Le Gallienne E. At 33. New York; London; Toronto, 1934. P. 221.
16. Le Gallienne E. With a Quiet Heart. London; Toronto, 1953. P. 99.
17. Lambert G. On Sukor. London, 1973. P. 202.
18. Bronner E. The Encyclopedia of American Theatre. 1900—1975. San Diego; New York, 1980. P. 320.
19. Hewitt B. Theatre USA, New York: London; Toronto, 1959. P. 390.
20. Мацкин А. Орленев. М., 1977. С. 259.
21. Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.
22. Higham Ch. Hollywood in the Forties. New York; London, 1968.
23. The Concise Oxford Companion to the Theatre/Ed. by P. Hartnoll. Oxford; New York, 1991.
24. Теплиц Е. История киноискусства. Пер. с польского. В 4 т. М., 1968. Т. I. 1895—1927. С. 108.



## РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ: РАЗВИТИЕ «РУССКОЙ АКЦИИ»

Политическая эмиграция в XX веке — веке социальных и политических катаклизмов, достигла невиданных размеров. Среди крупномасштабных миграций особое место занимает русская эмиграция. Большевицкая революция и гражданская война 1917—1920 гг. вынудили огромное количество бывших граждан Российской империи покинуть родные места.<sup>1</sup>

Самая большая волна беженцев последовала за немецкими войсками, эвакуировавшимися с территории Украины и Белоруссии на исходе 1918 г. Многие бежали в Китай из Поволжья и Сибири после поражения и раздела армии Колчака в 1918—1919 г. Некоторые белые части были вынуждены покинуть Одессу вслед за французским флотом в 1919 г. Наиболее драматической стала эвакуация остатков Добровольческой армии генерала Врангеля и гражданских лиц из Крыма в Турцию и Грецию в 1920 г. После окончания гражданской войны сотни тысяч русских беженцев оказались за границей [1]<sup>2</sup>. Несколько сот представителей интеллигенции были выдворены за пределы Советской России в 1922 г. за «политическую нелояльность» к новому режиму. Некоторые советские граждане, в основном писатели, художники и служащие дипломатических миссий, остались за границей, пополняя тем самым растущую армию так называемых невозвращенцев.

В социальном отношении русская эмиграция не была однородной: она состояла из представителей всех социальных слоев старого общества. Тем не менее, преобладание высокообразованной интеллигенции очевидно. Изгнание не объединило эмигрантов идейно. Почти все политические партии старой России продолжали свое существование за границей. Несогласия между ними подчас переходили в острую вражду.

Общим для всех беженцев являлось ожидание скорого возвращения. Эта вера была столь велика, что вызывала в пестрой эмигрантской массе сильное сопротивление попыткам ассимиляции. Независимо от политических убеждений эмигранты стремились поддерживать и развивать русские культурные традиции. Сформировалась особая страна — «Русское зарубежье», ставшая, по определению американского историка М. Раева, манифестацией живой и творческой русской культуры в изгнании [3. Р. 188]. Русский Париж превратился в политическую и культурную столицу для русских диаспор в Германии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, в других странах и континентах.

В истории русской эмиграции до сих пор остается много белых пятен.

Сладек Зенон — д-р наук, Институт истории Восточной Европы (ЧАН).

<sup>1</sup> В дальнейшем употребляется выражение «русские беженцы» независимо от фактической этнической принадлежности эмигрантов.

<sup>2</sup> Среди историков нет единодушия в оценке численности русских беженцев. В разных публикациях цифры варьируются от 1 до 3 млн (см. [2. Р. 176—177]).

Одно из них — история русского беженства в Чехословакии<sup>3</sup>. Трудно назвать точное число русских беженцев в Чехословацкой республике. М. Раев использует следующие данные: на первое января 1922 г. — 5—6 тыс., на первое января 1930 г. — 15184; в 1936—1937 гг. — около 9 тыс. [З. Р. 202]. Чехословацкая статистика упоминает в среднем 15 тыс. эмигрантов как в начале 20-х, так и в начале 30-х годов. Для многих беженцев Чехословакия стала промежуточной остановкой на пути в другие страны. Поэтому со второй половины 20-х годов общее число беженцев неуклонно снижалось<sup>4</sup>.

Беженцы попадали в Чехословакию различными путями. Некоторым из эмигрантов удалось приехать в страну вместе с чехословацкими legionами, покидавшими Сибирь в 1920—1921 гг. Бывшие военнопленные получали эмигрантский статус, если отказывались возвращаться на родину. Однако Министерство иностранных дел Чехословакии выдавало подобные разрешения лишь в отдельных и исключительных случаях. Так, например, в июле 1921 г. русская общественная организация «Земгор» («Союз земств и городов») ходатайствовала перед МИД о предоставлении статуса беженцев бывшим русским военнопленным, следовавшим в Советский Союз из Венгрии. Попав в Чехословакию, они отказались следовать дальше. Ходатайство было отклонено [7. Кар. 339]. Многие пытались проникнуть на территорию республики нелегально. В августе 1921 г. Президиум Министерства внутренних дел отдал распоряжение местным органам власти в Праге, Брно и Опаве усилить меры против русских беженцев, проникающих на территорию республики без виз, документов и денег [7. Кар. 339]. Небольшому количеству беженцев удалось использовать старые связи среди чехословацких политических деятелей. Так произошло, например, в случае с профессором В. В. Водовозовым, который осенью 1920 г. обратился с просьбой о визе непосредственно к президенту Масарику, с которым был знаком еще с довоенных пор. В декабре 1920 г. визы для профессора Водовозова и его жены были выданы [8].

Проблема русских беженцев в Чехословакии решалась в соответствии с определявшимися внешнеполитическими приоритетами молодого государства. В чехословацкой политике существовало два подхода к «русскому вопросу». Они были представлены ведущими чехословацкими политиками — президентом Т. Г. Масариком и первым премьер-министром К. Крамаржем.

Начало политической активности обоих относится к концу 80-х годов XIX в., когда они возглавили небольшое, но влиятельное общественно-политическое течение реалистов. Позднее Масарик продолжал разработку реалистической концепции чешского национального движения, в которой утверждался приоритет общедемократических задач чешского политического и экономического развития над специфическими национальными требованиями. Вплоть до начала первой мировой войны Масарик не выступал за образование независимого Чехословацкого государства.

Политические симпатии Масарика были на стороне демократических режимов западного образца, социальные идеи — близки взглядам социал-демократов, хотя он никогда не разделял их марксистской философии [9]. Продолжая линию известных чешских политических и общественных деятелей XIX в. К. Гавличека и Ф. Палацкого, Масарик придерживался критических взглядов на российское общественное и политическое устройство. В его концепции чешского национального развития русофильство, распространенное в чешском обществе, сменилось прозападной ориентацией.

В период первой мировой войны, когда Масарик стал лидером движения за независимость за границей, он придавал огромное значение дипломатической активности в Британии, Франции и США. В феврале 1917 г. Масарик приветствовал отречение от трона Николая II. Вместе с тем его политика в России в 1917—1918 гг. имела целью добиться скорейшего выведения чехословацких legionов, сформированных из бывших военно-

<sup>3</sup> О русской эмиграции в Праге см. [2; 4; 5].

<sup>4</sup> Относительно численности русской диаспоры в Праге см. [5. С. 26; 6].

пленных, через Сибирь во Францию, избежав вовлечения их во внутренние дела России. Хотя политика нейтралитета на деле неоднократно нарушалась — в 1918—1919 гг. чехословацкие войска поддерживали эсеровские правительства в Поволжье и в Сибири против большевиков — политическое руководство чешского национального движения за границей не связывало независимость Чехословакии с судьбами России. Ожидалось, что роль гарантов нового государства будут играть западные державы. В своем Токійском меморандуме (апрель 1918 г.) Масарик даже предлагал союзникам признать большевиков *de facto*. В тот период он еще надеялся на скорое образование коалиционного правительства в Москве [10].

Со времени сотрудничества с Масариком политические взгляды Крамаржа эволюционировали вправо. Возглавив в конце XIX в. наиболее популярную чешскую политическую партию, младочехов, Крамарж стал одним из самых влиятельных чешских политиков. Как и Масарик, вплоть до первой мировой войны Крамарж не выступал за раздел Австро-Венгрии. Вместе с тем, в отличие от Масарика, Крамарж в своей концепции чешского национального движения исходил из теории чешского исторического государственного права, которая, по его мнению, обосновывала права земель короны св. Вацлава на широкую автономию в рамках Габсбургской монархии.

В начале XX в. Крамарж выступил инициатором движения, известного как неославизм. Оно развивалось под лозунгами славянской взаимности, выступало за тесное сотрудничество славянских народов, особенно в культурной и экономической областях. Политические требования не выдвигались. Тем не менее, Крамарж не скрывал своего убеждения, что России предстоит сыграть особую роль в судьбе малых славянских народов, так как только сильное национальное Российское государство в состоянии нейтрализовать потенциальную германскую опасность и тем самым обеспечить условия для развития славянских народов, в частности чехов [11; 12].

Хотя Крамарж был не чужд критике царизма [13], падение династии Романовых он воспринял как «трагедию России» [11. S. 70]. Не удивительно, что Крамарж стал одним из самых последовательных сторонников и проводников политики интервенции против большевиков. Возглавляя в качестве премьер-министра чехословацкую делегацию на Парижской мирной конференции в январе 1919 г., Крамарж использовал все доступные ему средства, чтобы убедить союзников послать войска в поддержку белого движения. Эта деятельность противоречила официальным установкам чешской внешней политики. Биограф Крамаржа, В. Сис, считает, что позиция Крамаржа в русском вопросе стояла ему поста премьер-министра [14. S. 167—168].

На протяжении всего межвоенного периода чешская внешняя политика оставалась постоянной мишенью критики Крамаржа. Он писал что «предательство по отношению к России станет могильным камнем на будущем Чехословакии», так как угрозу ее независимости со стороны потенциального германского реваншизма могла бы нейтрализовать только сильная национальная Россия [11. S. 99]. Ожидалось, что в ее возрождении ведущую роль будут играть эмигранты.

Потеряв свой пост, Крамарж впоследствии влиял на политику Чехословакии в русском вопросе лишь опосредованно. Тем не менее, его страстная защита идеи сильного Российского государства снискала ему большую популярность в эмигрантской среде. В парламенте депутаты возглавлявшейся им Партии национальной демократии наиболее последовательно выступали в поддержку программы помощи русским эмигрантам. А. Гайн, один из лидеров парламентской фракции этой партии, возглавил парламентскую комиссию, которая контролировала осуществление программы.

Масарик рассматривал эмиграцию как часть более широкого вопроса об отношении к России. В межвоенный период Чехословакия продолжала придерживаться политики невмешательства во внутренние дела Советской республики. Вместе с тем существовала сильная заинтересованность в установлении с ней торговых и экономических связей. Предполагалось, что

деятельность международного капитала в Советской России принудит большевиков эволюционировать вправо [15. S. 49].

Подобная точка зрения определила чехословацкую позицию в вопросе об оказании помощи России. Эта проблема встала перед Европой в связи с голодом, разразившимся в 1921—1922 гг. на Украине и в Поволжье в результате военной разрухи и экономической политики большевиков. В представлении Масарика, помощь России являла собой новую форму «старой проблемы европеизации России». Единственно возможным путем возрождения Российского государства Масарику представлялось приспособление большевиков к западной политике. В свою очередь, европейские государства и США должны заключить соглашение и придерживаться специализации в оказании помощи России. Роль Чехословакии, по мнению Масарика, должна заключаться в подготовке российской интеллигенции к будущей систематической работе на родине, когда там начнется период реконструкции [16].

Излишняя вера в панацею «европеизации» обусловила нереалистичность прогноза Масарика в отношении России, подобно тому, как его концепция внешней политики не предотвратила крушения демократических идеалов в самой Чехословакии: в 1938 г. Чехословакия не получила поддержки западных держав, в чью роль гарантов Масарик верил до конца своей жизни.

Тем не менее, именно взгляды Масарика легли в основу программы помощи России, получившей название «русская акция». В начале она развивалась в двух направлениях. Первое концентрировалось на оказании помощи голодающим в самой России, второе — на решении проблемы беженцев.

Помощь голодающим должна была оказываться в рамках широкой международной программы. 15 августа 1921 г. по инициативе Чехословакии в Женеве была созвана конференция международного Красного Креста. Был организован особый комитет по оказанию помощи России во главе с ученым и общественным деятелем Ф. Нансенем. Однако, когда Нансен выступил в поддержку советских требований о выделении кредитов, инициатива международного Красного Креста по проведению широкой координированной акции помощи была заморожена Лигой Наций. Чехословакия продолжила свою деятельность по оказанию помощи голодающим самостоятельно [15. S. 42].

Еще 28 июля 1921 г. при чехословацком МИД был организован соответствующий межминистерский комитет. Предполагалось, что он будет контактировать не с советским правительством, а с общественными организациями, сформированными в основном из представителей старой интеллигенции. С января 1922 г. в Россию было отправлено шесть транспортов с лекарствами и продуктами. Наряду с гуманитарными целями, акция преследовала и экономические. В ее ходе предполагалось расширить хозяйственные связи с Россией и Украиной, с которыми в июне и июле 1921 г. Чехословакия заключила соглашения об обмене торговыми миссиями [15. S. 37—39].

Помощь большей частью адресовалась чехословацким колонистам в России и на Украине, на поддержку которых в 1921 г. было выделено около 10 млн крон. В целом, на помощь голодающим было потрачено около 13 млн крон. Масарик лично внес вклад в 1 млн крон. В ходе акции Чехословакия взяла на себя обязательства по содержанию в течение трех лет 439 детей из Поволжья [17. Каг. 40].

В середине 1922 г. деятельность иностранных благотворительных миссий в России была запрещена советскими властями. Местные общественные организации были закрыты, а их члены обвинены в контрреволюции [18]. С этого времени под «русской акцией» подразумевались лишь мероприятия по поддержке русских эмигрантов на территории республики.

Первоначально помощь русским беженцам оказывалась благотворительными организациями. Свою деятельность развернули Русский комитет во главе с мэром Праги К. Баксой, Крымский комитет, возглавлявшийся



К. Крамаржем, Чехословацкий Красный Крест, американская миссия методистов [7. Каг. 187].

Вопрос о русских беженцах часто поднимался в парламенте. С самого начала у «русской акции» были как сторонники, так и противники. 27 января 1921 г. А. Гайн подал запрос правительству о ситуации в лагере бывших русских военнопленных в Йозефове и возможных путях ее улучшения. С другой стороны, в интерpellации др. Геллера от 16 июня 1921 г. выражался протест от имени немецкого рабочего класса против размещения на территории Чехословакии частей армии генерала Врангеля. В своем ответе МИД заверил парламент, что разрешения на поселение в Чехословакии выдавались лишь в отдельных случаях лицам, вышедшим из армии и нашедшим средства к существованию в республике [7. Каг. 200].

Несистематические и разрозненные мероприятия по поддержке русских беженцев не удовлетворяли сторонников более активных мер. 24 июня 1921 г. группа депутатов, возглавлявшаяся А. Гайном и К. Крамаржем, подала интерpellацию, в которой запрашивала правительство, намеревается ли оно последовать примеру Королевства сербов, хорватов и словенцев, а также Болгарии, в деле организации широкой акции помощи русским беженцам. В интерpellации подчеркивалось, что представители русских общественных эмигрантских организаций, в свою очередь обещали в своей будущей политике ориентироваться на страны, оказавшие помощь беженцам, и возместить затраченные средства. Несколькими днями позже, 30 июня, с предложением о содействии представителям русских демократических и социальных партий в изгнании выступали депутаты Чехословацкой социал-демократической партии [19]. Министр иностранных дел Чехословакии Э. Бенеш в своем ответе проинформировал депутатов, что МИД выступил с инициативой разработки плана помощи. В соответствии с официальной позицией правительства акция должна была носить исключительно гуманитарный характер, содействие какой-либо политической фракции в среде эмиграции исключалось [19].

Среди мотивов, обусловивших начало акции, неоднократно назывались уважение к русской культуре и благодарность России за поддержку, полученную во время войны. Тем не менее, важную роль сыграло убеждение, что гуманитарная помощь может оказаться выгодным помещением политического капитала. Не случайно, на первых порах «русская акция» в документах правительства называлась программой по установлению экономических и культурных связей с Россией и Украиной. Многие эмигранты были известными политиками и ожидалось, что они вскоре займут ведущие роли в новом правительстве России. Не последними были также соображения престижа. Крамарж рассматривал интервенцию как средство превращения Чехословакии в одно из лидирующих в мировой политике государств [14. S. 168]. Масарик полагал, что «русская акция» сделает Чехословакию ведущим славянским центром в Европе.

28 июля 1921 г. постановлением Кабинета министров МИД были поручены организация и проведение «русской акции». Целью мероприятий являлись поддержка русских и украинских беженцев в Чехословакии<sup>5</sup>, поддержка из их среды новых профессиональных и научных кадров для грядущей реконструкции России. Акция проводилась под патронатом президента республики Т. Г. Масарика.

В ее ходе можно выделить три периода: до середины 20-х годов; до конца 20-х годов; до середины 30-х годов.

Началом осуществления акции можно считать 1921 г., открывший наиболее активный период ее развития. План помощи русским эмигрантам был представлен МИД Кабинету министров в ноябре 1921 г. В нем были сформулированы наиболее общие принципы: военные части не допускаются на территорию Чехословацкой республики; эмигранты должны оставить

<sup>5</sup> До 1924 г. правительство при проведении «русской акции» выделяло русскую и украинскую эмиграцию в качестве самостоятельных. В данной статье судьба украинских эмигрантских учреждений не прослеживается. Данные о финансировании являются общими.

политическую деятельность; помощь должна оказываться не частными организациями, а проводиться на основе единой государственной программы; акция должна создать условия для нахождения эмигрантами средств к существованию.

МИД предлагал разделить беженцев на две категории: 1) не подлежащие трудоустройству дети, больные и инвалиды, которые передавались на попечительство Красного Креста; 2) способные к трудоустройству беженцы, которым гарантировались работа и зарплата. Ожидалось, что наиболее многочисленной в последней категории будет группа сельскохозяйственных работников. К той же категории причислялись научные работники и студенты, которым давалась возможность закончить обучение [17. Каг. 39].

Особая делегация чехословацкого правительства была послана в Константинополь с целью набрать первую группу эмигрантов в беженских лагерях. В отчете делегаты характеризовали беженцев как «полностью деморализованную массу», недоверчиво относящуюся к деятельности делегации [7. Каг. 532]. Такая, казалось бы, неожиданная реакция объяснялась тем, что беженцам уже пришлось столкнуться с негативными последствиями непродуманных действий отдельных благотворительных миссий. Так, в Бразилии, где беженцам обещали выделить землю и кредиты, им пришлось работать в крайне тяжелых условиях на кофейных плантациях, на Корсике — за низкую плату в каменоломнях.

Члены делегации сталкивались, однако, и с проявлениями коррупции среди самих беженцев. Лагерь посещались людьми, взимавшими плату за фальшивую регистрацию, в то время как проводившийся бесплатно отбор переселенцев уже был закончен [7. Каг. 532].

Около 4 тыс. беженцев, в основном казаков, были приглашены в Чехословакию в качестве сельскохозяйственных работников. Предполагалось, что все они получат работу в хозяйствах чехословацких крестьян. Кроме того, в константинопольских лагерях были набраны около 1 тыс. недоучившихся студентов, которым предоставлялась возможность закончить образование в Чехословакии.

Приготовления к переезду заняли около двух месяцев. Правительства стран через которые предстояло проехать транспорту с беженцами, неохотно выдавали транзитные визы. Транспорт должен был проследовать по маршруту Триест — Любляна — Вена. Чехословацкое правительство должно было оплатить все расходы, связанные с перевозкой людей, предупреждать попытки самовольно покинуть транспорт, обеспечить транзитные визы [7. Каг. 532]. Первая группа беженцев достигла Чехословакии на исходе 1921 г.

Центральной организацией, занимавшейся размещением сельскохозяйственных рабочих, являлся Чехословацкий сельскохозяйственный союз. Эмигранты могли получить работу только при соблюдении следующих условий: зарегистрироваться в полиции; передать свои документы на хранение хозяину фермы; выполнять любую порученную работу. Работники не имели права покинуть ферму без предварительного уведомления хозяина и получения письменного разрешения от союза. В свою очередь, работнику полагалось обеспечение питанием и жильем, а также выплата 70—130 крон в месяц в зависимости от района. На деле хозяева часто не выполняли свои обязательства, что приводило к взаимным конфликтам [7. Каг. 532].

Для руководства студентами-эмигрантами был образован специальный Комитет по обеспечению образования. Кроме вновь прибывших, в Чехословакии уже находилось около 300 русских и 800 украинских студентов. Для педагогической работы со студентами-эмигрантами в Чехословакию были приглашены русские и украинские преподаватели. Некоторые из них были приняты на работу в чехословацкие вузы, их труд оплачивался Министерством народного образования, другие получили места во вновь образованных русских и украинских учебных заведениях и получали жалованье от МИД. В 1921—1922 гг. около 70 профессоров и преподавателей были приглашены в Прагу из других мест русского рассеяния.

Эмигрантские учебные заведения создавались без какого-либо определенного руководства. Подчеркивалась важность сельскохозяйственного обучения, однако зачастую основание новой школы обуславливалось наличием преподавателей определенной специальности. Так, в Праге оказалось значительное количество юристов, и в мае 1922 г. при Карловом университете был основан русский юридический факультет. В 1922/23 учебном году на нем учились 568 студентов. Интересно, что вплоть до закрытия преподавание на факультете велось в соответствии с дореволюционными программами российских университетов. В 1922—1923 гг. в Праге были также созданы: русский педагогический институт им. Я. А. Коменского (август 1923 г.); русский институт сельскохозяйственной кооперации (октябрь 1921 г.); русская автомобильная и тракторная школа (август 1921 г.); русские бухгалтерские курсы (январь 1923 г.).

Из Константинополя в Моравску Тршебову была переведена русская гимназия. В октябре 1922 г. гимназия была открыта и в Праге.

Одновременно в Чехословакии создавались украинские эмигрантские учебные заведения: украинский свободный университет в Праге (октябрь 1921 г.); украинская экономическая академия в Подебрадах (май 1922 г.); украинский педагогический институт им. М. Драгоманова в Праге (июль 1923 г.); украинские курсы пластического искусства в Праге (декабрь 1923 г.); украинская реальная гимназия в Праге (декабрь 1925 г.) [2. Р. 181].

Со временем были основаны и чисто научные учреждения, такие как Институт византинологии, получивший вскоре имя его основателя Н. Кондакова, Русский заграничный исторический архив, Славянская библиотека, Экономический кабинет профессора Прокоповича, Институт по изучению России. Чехословацкое правительство также поддерживало многочисленные профессиональные и общественные организации как русских, так и украинских беженцев. Более 200 человек в 1922 г. начали получать ежемесячные пособия. Студенты-эмигранты принимались также в чехословацкие учебные заведения. Плату за обучение вносило правительство, студенты получали месячные стипендии. В 1922/23 учебном году поддержкой правительства пользовались 4464 русских и 1990 украинских студентов [17. Каг. 39].

В середине 20-х годов убеждение, что эмигранты вскоре сменят большевиков у власти и покинут страну, начало заметно ослабевать. При образовании эмигрантских учреждений главной целью было создание рабочих мест для эмигрантов, и принцип строгого отбора квалифицированных кадров не всегда соблюдался. Это впоследствии породило немало трудностей в их дальнейшем функционировании, как это случилось, например, со Славянской библиотекой [20].

В то же время усилилось давление на правительство чехословацких левых сил, требовавших прескратить оказание поддержки «монархистам и другим антисоветским элементам». Подобного содержания была интерпелляция, поданная в декабре 1923 г. депутатами-коммунистами Гакеном, Крейбихом и др. МИД вынужден был дать подробный отчет в своих действиях относительно русских студентов-эмигрантов, в котором отрицалась поддержка каких-либо политических течений [7. Каг. 39].

Все же наибольшую трудность представляло финансирование «русской акции». По мнению Министерства финансов, «русская акция» не вписывалась в рамки государственного бюджета и финансовых законов и должна была подвергнуться решительному сокращению. В середине 20-х годов начался пересмотр «русской акции», открывший второй период пребывания эмигрантов в Чехословакии. Он был связан с пересмотром концепции программы помощи.

В начале 1927 г. МИД был разработан план постепенного сокращения «русской акции». В проекте подчеркивался уникальный характер акции, однако никаких упоминаний о подготовке к реконструкции в России уже не содержалось. Речь шла о том, что русские культурные учреждения сделали Прагу центром славистических исследований в Европе и поддержка

их научной и публикаторской деятельности является делом высокой моральной значимости. Основное внимание было сосредоточено на том, какие из многочисленных эмигрантских организаций следовало сохранить. Было предложено выделить программу благотворительной помощи от поддержки учреждений науки и культуры. Последние должны были приобрести стабильную финансовую основу путем перевода на баланс соответствующих министерств.

По мнению МИД, необходимо было поддержать следующие учреждения: Русский заграничный исторический архив; Экономический кабинет профессора Прокоповича; Институт по изучению России; украинский социологический институт; украинскую экономическую академию в Подебрадах, Славянскую библиотеку. МИД соглашался финансировать эти учреждения вплоть до предполагаемого открытия Центра славистических исследований [17. Каг. 43].

Создание такого центра должно было оправдать дальнейшее существование эмигрантских учреждений в Праге. По замыслу МИД, в центре должна была собираться информация для чехословацких деловых кругов относительно экономического и политического развития Советского государства.

Создание центра затягивалось. Однако судьба многих русских эмигрантских организаций была до времени решена положительно: их финансирование, хотя и в сокращенном виде, продолжалось. По-прежнему выплачивались пенсии. Необходимо отметить, что среди получавших ежемесячные пособия от чехословацкого правительства находились и лица, жившие за пределами Чехословакии. В основном это были представители наиболее уязвимой части творческой интеллигенции — поэты и писатели<sup>6</sup>.

Начало 30-х годов совпало с экономическим кризисом. Для русской эмиграции повсеместно начался самый тяжелый период существования. Эмигрантский статус лишил множество людей даже той минимальной поддержки, на которую могли рассчитывать местные жители, финансирование «русской акции» сокращалось каждый год. В Праге был образован Славянский институт, однако русские и украинские учреждения туда включены не были [21]. В марте 1928 г. МИД перевел в свое подчинение Русский заграничный исторический архив (до этого он считался принадлежащим русской общественной организации Земгору) [17. Каг. 43]. Финансовая поддержка другим русским учреждениям была сведена до минимума, при котором их нормальное функционирование являлось крайне затруднительным. Институт изучения России был закрыт [7. Каг. 261].

В 1931 г. предполагалось закрыть и Комитет по обеспечению образования русских студентов. Лишь личное вмешательство президента Масарика, внесшего в Комитет около 1 млн крон [7. Каг. 187], позволило 142 студентам завершить свое образование в 1932 г. Еще 50 студентов продолжали учебу вплоть до октября 1936 г. Комитет был закрыт в феврале 1935 г., а некоторые из его функций переданы Чехословацкому Красному Кресту.

В январе 1935 г. Комитет представил МИД отчет о своей деятельности, который дает представление об одной из самых важных сторон «русской акции». В период 1921—1934 г. 6818 русских и украинских студентов получили возможность закончить образование в Чехословакии. Наиболее активной деятельность Комитета была в 1923 г. После 1928 г. началось быстрое сокращение ассигнований на обучение эмигрантов, и, следовательно, числа студентов. В среднем, на каждого студента тратилось 500 крон в месяц. Из 6818 студентов 4180 получили дипломы. Каждый диплом обошелся государству в среднем в 45 тыс. крон (из расчета на семь с половиной лет обучения). Русские студенты составляли 72,3% учащихся (4862). К этой категории причислялись также татары, калмыки, кавказцы, некоторые

<sup>6</sup> С 1926 по 1928 гг. ежемесячные пособия от чехословацкого правительства получали И. Бунин, З. Гиппиус, А. Куприн, Д. Мережковский, А. Ремизов, И. Шмелев, Н. Тэффи, Б. Зайцев, С. Булгаков. М. Цветаевой и К. Бальмонту за особые заслуги перед чешской литературой пособия выплачивались вплоть до 1933 г.

казаки. Около 27,7% (1992) составляли украинцы. К ним были отнесены также белорусы, отчасти казаки, некоторые чехи и евреи с Украины. В 1937 г. 37 студентов продолжали обучение [7. Кар. 187].

В начале 30-х годов обсуждался вопрос о закрытии двух русских гимназий. Удалось сохранить гимназию в Праге, слив ее с гимназией из Моравской Тршебовы. Пражская русская гимназия наряду с французской гимназией стала подчиняться непосредственно Министерству народного образования. В конце 30-х годов для нее было сооружено новое здание в Праге [7. Кар. 187].

В 1934 г. Министерство народного образования и Министерство сельского хозяйства отказались поддерживать русские и украинские организации. Многие из них были закрыты. С 1934 г. МИД вновь стал единственным источником финансовой поддержки для остатков эмигрантских культурных учреждений [7. Кар. 187].

Понимание «русской акции» как временного мероприятия имело своим следствием отсутствие стабильной системы ее финансирования. В 1921 г. на нужды акции было одновременно выделено около 10 млн крон. На покрытие транспортных расходов при перевозке беженцев чехословацкое правительство субсидировало 250 тыс. французских франков, кроме того, Нансеновскому комитету было передано 500 тыс. французских франков [17. Кар. 3]. В ноябре 1921 г. министр иностранных дел Э. Бенеш представил правительству проект, согласно которому на «русскую акцию» предполагалось выделить по 50 млн крон в 1922 и 1923 гг. Проект был одобрен Кабинетом министров 18 февраля 1922 г. В 1922 г. в списке беженских организаций их значилось девять, в 1923 г. — уже 19 [7. Кар. 256].

Следующая таблица дает представление о финансировании «русской акции» в 1921—1937 гг.:

Год	Министерство иностранных дел	Министерство народного образования	Министерство сельского хозяйства
1921	10 367 479		
1922	49 704 491		
1923	65 871 212		
1924	99 775 427		
1925	72 934 702		
1926	71 010 894		
1927	52 137 154		
1928	26 315 643	7 982 052	4 000 000
1929	18 068 104	8 022 903	4 000 000
1930	14 615 716	7 293 312	3 600 000
1931	7 215 515	6 536 205	1 999 600
1932	3 799 622	4 626 365	1 250 770
1933	3 000 000	3 713 400	1 400 000
1934	3 950 000		
1935	3 000 000		
1936	3 100 000		
1937	2 800 000		

Всего — 508 034 511 11 крон.

Кульминацией «русской акции» стал 1924 г., когда на нужды русских и украинских эмигрантов было затрачено около 100 млн крон [7. Кар. 256а; 17. Кар. 40]<sup>7</sup>.

Почти с самого начала акции возникли трения между МИД и Министерством финансов. Представители последнего настаивали, чтобы расходы на «русскую акцию» утверждались законодательными органами, в частности, постоянным комитетом при Национальном Собрании. На деле это никогда не осуществлялось. МИД финансировал акцию помощи из своих ресурсов. Предполагалось использовать и другие резервы государственного бюджета. Однако Министерство финансов утверждало, что таковых резервов не существовало. Таким образом, фактически траты на «русскую акцию» увеличивали государственный дефицит [7. Кар. 263].

С начала 20-х годов среди эмигрантов циркулировали слухи о том, что «русская акция» финансируется за счет русского золота, якобы украденного чехами в России на пути во Владивосток. Советская и левая чехословацкая печать обвинила чехословацкое правительство в поддержке контрреволюционеров за счет российских ценностей [22]. Правые эмигрантские круги требовали передачи золота в пользу остатков военных формирований [7. Кар. 452].

Согласно версии чехословацкого правительства, транспорт с русским золотом, действительно охранявшийся чехословацкими легионерами, был передан представителям большевиков в Иркутске 1 марта 1920 г. При этом обнаружилась пропажа 13 ящиков с золотыми слитками, однако в акте, скрепленном подписями сторон, значилось, что в день происшествия у разграбленного вагона находился русский караул [7. Кар. 452; 23]<sup>8</sup>.

В октябре 1924 г. в эмигрантской газете «Дни» (Берлин), которую возглавлял бывший премьер-министр России А. Ф. Керенский, было помещено интервью с директором чехословацкого Легиобанка Ф. Шипом. Шип утверждал, что источником средств для Легиобанка являлось не якобы украденное золото, а сбережения легионеров. При выплате им жалования в результате разницы в курсах образовывались остаточные средства. К концу 1919 г. скопилась сумма в 18 704 774 04 французских франков. Глава политического представительства чехословацких войск Б. Павлу приказал заложить на этой основе Легиобанк, выпустив соответствующее количество акций [25].

Проблема финансирования «русской акции» встала наиболее остро в начале 30-х годов в связи с экономическим кризисом. Чехословацкая Центральная контрольная комиссия начала расследование деятельности МИД в финансировании акции. Представители МИД доказывали, что установить, как конкретно тратились средства на «русскую акцию» в ее начале, не представляется возможным, так как первые субсидии рассматривались как подарки. Никаких отчетов об истраченных суммах не требовалось. Только в 1924—1925 гг., когда стал обсуждаться вопрос о ликвидации «русской акции», ее финансовая сторона была взята под контроль соответствующими органами министерства [7. Кар. 261].

После юридического признания Чехословакией Советского Союза в 1935 г. всякая поддержка русским эмигрантам была официально прекращена. Однако это уже не могло существенным образом повлиять на ход «русской акции», так как она была практически сведена на нет уже в предшествующие годы.

<sup>7</sup> Сладек в своей статье приводит несколько иные цифры, максимум расходов приходится на 1922—1924 гг. [5. С. 29].

<sup>8</sup> Косвенное подтверждение этой версии можно найти в интервью с бывшим председателем Российского Совета Министров кн. В. Н. Коковцевым. В разговоре с русским корреспондентом чехословацкой газеты «Venkov» Коковцев рассказал, что в начале войны в распоряжении правительства находилось 1 650 млрд рублей золотом. Сумма в 600 млрд была передана Британии, еще 150 млрд передано Германии по условиям Брест-Литовского мира. В соответствии с Версальским договором эти деньги были переданы Франции. В руки адмирала Колчака в Казани попало 675 млрд рублей золотом, транспорт с которым охранялся чехословаками. По предположению Коковцева, из этой суммы не больше 350 млрд перешло позже в руки большевиков.

Лишь инвалиды и престарелые продолжали получать материальную помощь от МИД посредством Чехословацкого Красного Креста [7. Кар. 256а]. В 1937 г. забота об отдельных лицах была передана в ведение Министерства социального обеспечения [7. Кар. 277а]. Кроме Русского заграничного исторического архива, Славянской библиотеки, Экономического кабинета профессора Прокоповича и русской гимназии, ставших подразделениями различных министерств, только Русский народный университет продолжал свою деятельность в Праге вплоть до войны.

После занятия Праги советскими войсками в мае 1945 г. деятельность остатков русской эмиграции была полностью прекращена. Профессор Прокопович переехал в Женеву, Русский народный университет и русская гимназия закрыты, Русский заграничный исторический архив большей частью перевезен в Москву. Только Славянская библиотека, приобретшая статус независимой организации в 1939 г., продолжает свое существование по сей день, оставаясь главной хранительницей памяти о русских эмигрантах в эмигрантской печати, изданиях и архивных материалах.

Несмотря на все трудности в развитии «русской акции», положение русских эмигрантов в Чехословакии было значительно лучше, чем в других странах. Порожденная идеей реконструкции России, в которой Чехословакия рассчитывала играть ведущую роль, «русская акция» стала уникальным в современной истории примером сотрудничества между обычно столь нежеланными эмигрантами и правительством страны, их принявшей.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Simpson J. H.* The Refugee Problem. London, 1939. P. 62.
2. *Andic V. E.* The Economic Aspects of Aid to Russian and Ukrainian Refugee Scholars in Czechoslovakia//*Journal of Central European Affairs.* 1961. Vol. XXI. P. 176—177.
3. *Raeff M.* Russia Abroad. New York, 1990. P. 188.
4. *Sarolea Ch.* The Tragedy of the Russian Diaspora//*The Contemporary Review.* 1924. Vol. XXVI. July — December; *Fischer G.* The Russian Archive in Prague//*American Slavic and East European Review.* 1949. № 8; *Riha T.* Emigré Scholars in Prague after World War I//*The Slavic and East European Journal.* 1958. Vol. XVI. № 1; *Riasanovsky N. V.* The Emergence of Eurasianism//*California Slavic Studies.* 1967. № 4; *Rhineland L. H.* Elited Russian Scholars in Prague: the Kondakov Seminar and Institute//*Canadian Slavonic Papers.* 1974. № 16/3; *Tejchmanová S.* Politická činnost ruské emigrace v Československu v letech 1920—1939//*Slovanský přehled.* 1991. № 4; *Kneely R. J., Kasinec E.* The Slovanska knihovna in Prague and its RZIA Collection//*Slavic Review.* 1992. Vol. 51. № 1.
5. *Сладек З.* Русская и украинская эмиграция в Чехословакии//*Советское славяноведение.* 1991. № 6.
6. Roční statistika, ročenka RCS. Praha, 1936. S. 5—6.
7. Archiv Ministerstva zahraničních věcí. Praha. II/2.
8. Ústav T. G. Masarika. Ford correspondence.
9. *Chinyavá E.* Utvarění sociální koncepce českých realistů//*Slovanský přehled.* 1991. № 1.
10. *Kovtun J.* Masarikův triumf. Příběh konce velké války. Toronto, 1987. P. 125.
11. *Kramář K.* Na obranu slovanské politiky. Praha, 1926.
12. *Herman K., Sladek Z.* Slovanská politika Karla Kramáře. Praha, 1971; *Ненашева З. С.* Идеино-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в.: Чехи, словаки и неославизм 1898—1914 гг. М., 1984.
13. *Kramář K.* Ruská krize. Praha, 1920.
14. *Sis V.* Přípravy do služby národů//*Dr. Karel Kramář. Život. Dílo. Práce vůdce národa.* Praha, 1936. S. 167—168.
15. *Olivoš V.* Politika Československa v ruské krizi roku 1921 a 1922//*Masaryk T. G., Beneš E.* Otevřít Rusko Evropě. Praha, 1922.
16. *Masaryk T. G.* Pomoc Rusku Evropou a Amerikou//*Masaryk T. G., Beneš E.* Otevřít Rusko Evropě. Praha, 1922. S. 8, 12, 21.
17. Státní ústřední archiv. Archiv Ministerstva zahraničních věcí. Ruská pomocná akce (1920—1939). Praha.
18. Archiv Národního Muzea. Fond. A. Hajn. Kar. 233.
19. *Кускова Е. Д.* Месяц соглашения. О политической стороне деятельности Комитета помощи голодающим//*Воля России.* 1928. № 3—5.
20. *Slavík J.* Ještě o Slovanské knihovně v Praze//*Slovanský přehled.* 1935. R. 27. S. 187.
21. *Niederle L.* Úkoly Slovanského Ústavu//*Slovanský přehled.* 1926. R. 18. S. 317—318.
22. Известия. 1924. 17 IX.
23. Сегодня. 1924. 23 IX.
24. Vcnkov. 1922. 2 IV.
25. Дни. 1924. 8 X.



ЗАМОЙСКИ Я.

## ОТНОШЕНИЕ «БЕЛОЙ» РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ К УКРАИНСКИМ ВОПРОСАМ (1919—1939)

Эта статья возникла на пограничье исследовательских интересов к истории «белой» русской эмиграции и украинским проблемам межвоенных лет. Она является лишь попыткой очертить основные контуры темы и поразмышлять о некоторых ее аспектах, не претендуя на полное и всестороннее освещение. Автор использовал варшавские архивы и библиотеки, обратился к собраниям Bibliothèque de la Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) и Библиотеки им. И. Тургенева в Париже, а также Saadtsbibliothek в Берлине, однако ему не удалось получить доступ в так называемый Пражский архив в той его части, что находится в Киеве.

### *Малороссия или Украина?*

Поражение «белых» в Гражданской войне выбросило из России на чужбину сотни тысяч людей. Обычно их называют «русской эмиграцией», но на самом деле это были не только русские. В эмиграции оказались украинцы, грузины, армяне, а также, считающие себя почти особой национальностью, казаки. Все они верили в скорое освобождение и возрождение прежней, «единой и неделимой», России, с трудом соглашаясь под давлением обстоятельств, с территориальными уступками в Финляндии, Польше и, в какой-то мере, Прибалтике. Поэтому с самого начала проблема будущего Украины вызвала бурную реакцию. Для абсолютного большинства русских эмигрантов возможность отделения Украины была в чем-то противоестественным, чуждым всему ходу истории России, проникнутой идеей «триединой русской нации», часть которой, наряду с «великороссами», были «белоросы» и «малороссийские племена» [1]. В предпринимавших эмигрантами-интеллектуалами попытках реинтерпретировать историю российско-украинских отношений прослеживалось тяготение к традиционным подходам. Вспоминали тезисы К. Аксакова о том, что Россия сложилась не как результат завоевания, а вследствие «добровольного признания власти» [2]. Особую опасность для единства Украины и России видели в связях Украины с Польшей, сохранившихся даже после разделов Речи Посполитой благодаря слишком терпимой, как считалось, политике царского правительства по отношению к полякам, их хозяйственному и культурному присутствию. Последнее трактовалось в устоявшихся категориях «латинской диверсии» внутри славянского мира, абсолютной несовместимости «латинства» и «славянства» [3]. Подобную точку зрения разделяли, в частности, авторы первых публикаций возникшего в Праге в 1929 г. издательства «Единство». Князь А. Н. Волконский напомнил об исторической общности названия «Русь» для всех русских племен, И. И. Лаппо писал о единстве русского народа в период присоединения Малороссии к Московскому государству,



В. А. Мякотин рассматривал значение соглашения в Переяславле в 1654 г., П. Бицилли доказывал пользу для Малороссии союзов с Россией, защищавшей Украину от влияния «другой, сильнейшей культуры». Авторы «Единства», представлявшие разные политические ориентации, даже допуская право украинцев на культурную автономию и осуждая русификаторскую практику Петербурга, были едины в неприятии «украинского сепаратизма» [4. № 3333]. Однако не они и не парижские эмигрантские интеллектуалы оказывали определяющее влияние на формирование нового синтеза истории России. Эта роль принадлежит несомненно евразийцам, а среди историков-евразийцев — Г. В. Вернадскому, сыну первого президента Украинской Академии наук. По мнению Вернадского, общность евразийских народов преобладала и преобладает над их этнической, культурной, хозяйственной дифференциацией. Объединительной основой является некий психологический тип, проявляющийся в чувстве евразийского единства, в ревностном отношении к религии, естественно, православной, в стремлении к централизованной государственной власти [5; 6]. Национальные элементы отодвигаются на второй план, будучи только компонентами сложной геосторической конструкции, в которой, например, монголы оказывались ближе русским людям, чем западные славяне, прежде всего поляки. Для Вернадского всякие попытки обособления Украины были непризнанием фундаментальных принципов евразийской историософии. Объединение Украины с Россией он считал поворотным моментом в отношениях между «восточными славянами» и Польшей, решающим фактором превращения Московского царства в Российскую империю, а, следовательно, формирования евразийской государственности. Вернадский осуждал унию как «папскую агрессию» и «загрязнение» ортодоксальной христианской веры, нарушающее евразийскую культурную гармонию.

Для полноты картины следует заметить, что идея «триединства» в различных ее интерпретациях и по разным мотивам имела также немало украинских сторонников. Особенно восприимчивы к ней были те, для кого проблема будущности Украины сводилась к вопросу «с Польшей или с Россией», либо, пользуясь метафорой одного из украинских депутатов австрийского парламента, «утонуть в российском море или в польском болоте»? [7]. Упадок царской России, этой «могущественной покровительницы славянства», вызвал глубокий кризис в русофильстве галицийско-русского народа, как называли себя сторонники этой ориентации, жившие в Восточной Галиции. После возрождения Польского государства они связывали надежды на восстановление России, в которой «все части русской нации сольются снова в одно», с деятельностью русской эмиграции [8].

Еще более решительно настроенные, чем галицийские русофилы, течения существовали в Подкарпатской Руси, <sup>1</sup> причем не без поддержки Чехословацкого государства. Сходные взгляды, правда, главным образом по вопросам политических союзов, мы находим среди «гетманцев», сторонников генерала Скоропадского в Германии [9.1930.4 VII; 10. Т. 965. S. 139—140; Т. 1055; 11], а также в некоторых украинских кругах во Франции, однако там их разделяло абсолютное меньшинство эмигрантов [12. 13 IX]. Равным образом движение «Хлиборобская Украина» связывало будущее скорее с «общностью освобожденных народов» России, чем с государственным единством [13].

Заслуживает внимания очень неоднородные в своих мотивациях интеграционные инициативы, с которыми выступала украинская сторона. Одна из них связана со сложившимися еще в самом начале XX в. миссионерскими концепциями митрополита А. Шептыцкого, имевшими целью преодоление «схизмы» или — после 1917 г. — даже рехристианизацию России [14]. В споре Шептыцкого с виленским архиепископом Роппом о том, кто будет руководить осуществлением этой великой миссии — только польский римско-католический костел или совместно с украинской греко-католической

<sup>1</sup> В данной статье используются топонимы, употреблявшиеся в тогдашней Польше.

церковью — Ватикан признал правоту митрополита. После высылки из России, выступая в Баварии в ходе своего длительного путешествия по странам Западной Европы и Северной Америки (1921), Шептыцкий призвал немецкую церковь поддержать его планы в новых условиях, что встретило крайне негативный отклик в Польше, вызвало разногласия среди украинцев и единодушный отпор русской эмиграции [15].<sup>2</sup>

На рубеже 20—30-х годов в 1938 г., в Чехословакии действовали стремившиеся к единству с Россией профессорские и студенческие украинско-русские организации. В 1938 г. начал выходить журнал «Украинская родина», провозгласивший создание Великой Украины «от Кавказа до По-прада». Еще большими амбициями отличались идеи ряда деятелей в Гер-мании, которые включали в границы Украины дальневосточный «зеленый клин» [17; 10. Т. 964. С. 93]. Программа движения «Украинского вильного козацтва» (УНАКОР) имела в виду создание под эгидой Украины федерации «вольных казацких государств» от Днестра до Туркестана [18].

### *Россия без Украины.?*

Таким образом, идея распада Российской империи и отделения Украины вызывала решительное, можно сказать, органическое сопротивление почти всех тех сил, которые, противостоя революцион, сформировали лагерь «белой» России, а позже оказались в эмиграции. Уже в ноябре 1918 г. на конференции в Яссах с участием ведущих деятелей «Земгора» (Союза земств и городов, позднее — Земскогородской комитет финансовой базы эмиграции), дипломатов, политиков и генералов русской армии и представителей румынского и французского правительств<sup>3</sup> украинские инициативы, ведущие к независимости, получили решительный отпор. П. Н. Милюков не признавал само существование Украины, называя украинский язык «малороссийским жаргоном» [19]. Против отделения Украины были оба ведущих руководителя «белой» России — генералы Колчак и Деникин. Еще ведя боевые действия на Украине, Деникин провозгласил ее единство с Россией, объявил о присоединении Галиции и Холмщины как «исконно русских земель» и даже запретил прессе употреблять слово «федерация» [20]. Именно отношение Деникина к Украине стало основной преградой в сотрудничестве его войск с польской армией в войне 1920 г. [21. С. 226, 241—242, 249]. Двадцать лет спустя он писал, что «никогда Россия не допустит отторжения Украины . . . спор между Русью Московской и Русью Киевской есть наш внутренний спор . . .» [22; 23].

Пресса российской эмиграции в Польше (в частности «Слово»), касаясь проблемы Украины, не трактовала последнюю иначе, как неотделимую часть России, «колыбель российской государственности». Утверждалось, что украинский народ не созрел до независимости и не вынес бы ее бремени. Польская политика, ориентированная на отрыв Украины от России, подвергалась резкой критике [21. С. 180]. Единственным видным российским деятелем в Польше, поддерживавшим идею независимости Украины, являлся Борис Савинков. Однако приобретение Украиной самостоятельности он трактовал преимущественно инструментально: расчленение империи — а ведь именно к этому вела независимость Украины — должно было привести к возникновению на ее развалинах нового «союза земель и народов», своего рода «Восточноевропейских штатов». Правда, высказывания Савинкова в пользу независимости Украины в конце 1921 г. были более решительными [24].

<sup>2</sup> К участию в «миссии» на Востоке стремилась также французская церковь, с большим скептицизмом оценивавшая шансы польского духовенства как слишком предубежденного по отношению к восточнославянским народам. Немецкая церковь, со своей стороны, старалась при посредничестве Ропла установить сотрудничество с российскими церковными деятелями для проведения миссионерских акций в России. Об этом [16].

<sup>3</sup> В конференции принимали участие, кроме румын, генеральный консул Франции в Киеве Хенно, бывший посол России в Румынии С. А. Козелл-Поклевский, бывший командующий российской армией в Румынии генерал Щербаков, В. В. Меллер-Закомельский, А. В. Кривошеин, П. Н. Милюков, В. И. Гурко, Н. Н. Шебеко, бывший посол в Вене Н. Ф. фон Дитмар, В. П. Рябушинский, В. Е. Демченко.

Подобные взгляды разделяли в то время лишь представители социалистических течений. Стремлениям Украины симпатизировали «народники-мессианисты». Видя будущее России в «славянской федерации», они подчеркивали, что идея эта восходит к «Братству Кирилла и Мефодия». «Народники-мессианисты» заявляли, что только «соединяя славянство в федерацию, Украина соберет себя!» [25]. Однако и само течение, и проповедуемые им идеи трудно назвать популярными среди русской эмиграции. Это были не более чем политико-историсофский фольклор.

Остальные эмигрантские круги были едины в отрицании права Украины на независимость, о чем свидетельствуют публикации в таких ведущих органах российского зарубежья, как парижские «Последние новости» и «Современные записки» [26]. Абсолютным неприятием идеи самоопределения Украины отличалось, в первую очередь, монархистское движение, объединившее разнородные организации и общества. Лишь короткое время, возможно, под еще свежим влиянием революции и Гражданской войны, в программных документах монархистов (например, съезда в Рейнхалле в июне 1921 г.) допускалась «местная автономия», и с оговорками признавалась независимость уже отделившихся «окраинных новообразований», самостоятельное существование которых, впрочем, считалось временным явлением. Уже на съезде в Берлине 5 июня 1922 г. произошло определенное отступление от этого «либерализма». А в 1924 г. «Высший монархический совет» объявил поворот к безусловному «самодержавию», отбросив всякие мечты о конституционализме, автономии и самоопределении. Монархисты имели по вопросу об Украине абсолютно ясную позицию — «единая и неделимая» [27]. В том же духе высказывались деятели Русского общевойскового союза (РОВС), к которому относились, например, генералы Кутепов и Миллер.

Группа социалистической ориентации, издававшая журнал «Грядущая Россия», выражала убеждение, что включение разных народов в состав России было следствием не захватов, но объединительных процессов. Допускалось, что в будущем их союз может приобрести иные, даже федеративные, формы, однако об отделении не может быть и речи [28]. Другой орган эмиграции, журнал П. Б. Струве «Россия и славянство», явно кокетничавший с Польшей, забыв о ее столь неприятном для всех славянофилов западничестве, и восхвалявший чехов, не проявил понимания относительно стремления украинцев к независимости. В дальнейшем журнал заметно эволюционировал вправо, открыв свои страницы для националистов-младороссов.

Проблема Украины неизменно была своего рода «пробным камнем» в политике европейских государств. Насколько чехословацкие власти старались учитывать различия между русской и украинской эмиграцией [29; 10. Т. 1055], настолько в Болгарии и Югославии, где все еще были живы старые русские влияния, не допускалось вообще никакого формального их разделения, и все выходящее из России считалось русскими. Во время организованных под покровительством Лиги Наций конгрессов национальных меньшинств часто возникали конфликтные ситуации, когда российские представители безуспешно выступали против предоставления отдельного статуса «днепровским» украинцам. Споры эти, в которые оказалась втянута также и Польша, заметно облегчали задачу Германии, использовавшей их для завоевания симпатий украинцев [30. 1929. 26 VIII; 1930. 25, 27 IV; 4. 1930. 10 IX; 31. 13 IV].

Как известно, опорой Российской империи были «три кита» — православие, самодержавие, народность. В данном случае нас будет интересовать православие. В эмиграции православная церковь продолжала стоять на страже единства империи, монархизма и великорусского господства. Оставляя в стороне очень сложные проблемы структуры зарубежного русского православия, отношений между отдельными его элементами, конфликтов между ними, канонических, персональных или политических. Деятельность так называемого Синода в Сремском Карловаце, где в 1921 г. возникло «Высшее русское церковное управление за границей» свидетель-

ствуется о том, что православная церковь оставалась глубоко имперской по духу, решительно выступая против всякого национального сепаратизма [32]. С этой стороны национальные стремления украинцев не могли рассчитывать на какое-либо сочувствие.

С известной долей условности можно говорить, что до 30-х годов отношение русской эмиграции к украинским проблемам не выходило за теоретические рамки. С появлением III Рейха отчетливо обозначилась перспектива военного столкновения Германии с СССР. Это произошло в тот момент, когда прежние надежды на помощь западных держав, питаемые русской эмиграцией, совершенно рассеялись. «Динамичная» политика III Рейха, его антикоммунизм и антисоветизм перенесли весь комплекс российских проблем в гораздо более практическую плоскость. Это касалось также и проблем Украины во всей их сложности. Наступило время трудного выбора.

Российская эмиграция, имевшая опыт 1917—1918 гг., очень рано обнаружила интерес немцев к Украине и чрезвычайно чутко реагировала на него. С большой последовательностью критиковались концепции немецкой опеки над Украиной, в которой усматривалась перспектива ее колонизации [33]. В этом единственном дункте взгляды значительной части русской эмиграции совпадали с мнениями ненационалистических украинских течений.

С Гитлером против Сталина, или со Сталиным — защита России? При такой постановке вопроса Украина делалась инструментом политики III Рейха по отношению к России. Между тем Германия искала поддержки «белой» эмиграции, особенно среди ее националистических группировок [6. S. 115]. Противоречивость «украинской» и «русской» политики III Рейха была совершенно очевидной. И все же немцам удалось заручиться поддержкой наиболее монархических группировок и деятелей русской эмиграции. Генерал Бискупский, поставленный властями III Рейха во главе российской эмиграции в Германии, был решительным противником независимости Украины, великорусским «националистом и империалистом» [10. Т. 1035]. Карловацкий Синод не скрывал своего одобрения политики III Рейха и его начинаний. Лишь связи с сербской православной иерархией удержали его руководство от принятия приглашения обосноваться в Берлине [10. Т. 963. S. 417]. Пронемецкие, а вернее профашистские, тенденции сильнее всего проявились в течении «младоросов», которое с 1933 г. внезапно усиливает свою активность [6. S. 92; 34]. Именно из этого течения выделилась Российская национал-социалистическая организация, которая пыталась проникнуть в российские центры в Польше и даже в польские — в Германии [10. Т. 1072].

Пронемецкая ориентация не находила широкого признания в русском зарубежье вплоть до 1939 г., а может быть, даже до 1940 г. Все пользовавшиеся влиянием группировки и авторитеты «белой» эмиграции решительно отмежевывались от нее [33; 35]. В начале 1939 г. в Париже состоялась весьма представительная консультативная встреча разных течений эмиграции, посвященная осмыслению ситуации и поиску ответа на драматический вопрос: кого поддерживать в назревающем советско-немецком конфликте. Участники, а среди них были и профашистские элементы, согласились, что не следует связывать будущее России с Германией. Генерал А. И. Деникин отвергал самую дилемму «или защита России, или свержение Советов», полагая, что всегда надлежит руководствоваться только национальными интересами России. Немецкие интересы коренным образом противоречат интересам России, поскольку предполагают ее расчленение путем отделения, в первую очередь, Украины, а также «Кавказских государств», Кавказа и Туркестана. В резких выражениях Деникин осудил митрополита Анастасия, создавшего в 1938 г. церковно-общественный центр «для религиозного и политического объединения русского зарубежья» с целью поддержки планов III Рейха. Он указывал на недопустимость пропаганды прояпонской идеи украинского форпоста на Амуре, заселенного украинцами «зеленого клина» в качестве составной части «Великой Укра-

ины». Не соглашаясь с мнением «оборонцев» о возможности сотрудничества с Красной армией, Деникин очень категорично заявлял, что эмиграция ни в коем случае не может поддерживать «внешних захватчиков». Речь идет не о Сталине и Гитлере, а о России . . . [23. С. 31—38, 42, 64—68].

*В Польше. . .*

В условиях межвоенной Речи Посполитой интересующая нас проблема фигурировала не только в умозрительных конструкциях, затрагивая многие очень реальные сферы жизни. Здесь жили не только русские — эмигранты, имевшие особый правовой статус (отсутствие гражданства, нансеновские паспорта и т. д.), но и русские — граждане Речи Посполитой, русское меньшинство. Граница между ними была достаточно расплывчатой, усиливаясь лишь по мере проявления специфических интересов этих двух групп. Последнее утверждение можно отнести и к украинскому вопросу, который мог ставиться как глобально, так и применительно к реалиям многонационального Польского государства. Малоизвестность темы не позволяет осветить события 1919—1920 гг., когда в соответствии с Варшавским договором на польско-советском фронте вместе с поляками воевали украинские и русские формирования. Отношения между ними были очень сложными, постоянно чреватые конфликтами. Достаточно указать на трудности с определением процедуры рекрутации новобранцев в условиях, когда множество центров претендовало на руководство российскими частями. Те из них, которые подчинялись правительству юга России (например, отряды генерала Глазенаппа), разделяли отношение Деникина к украинским проблемам и не сочувствовали действиям украинских отрядов в Польше. Интернирование русских и украинцев в Польше и их постепенное превращение в эмигрантов — также отдельная тема.

Из множества вопросов, связанных с отношением россиян к украинской проблеме, хотелось бы обратить внимание на два. Первый — интерпретация в условиях Речи Посполитой постулата «трисединства российской нации». Второй — реакция на вхождение части украинских земель в состав тогдашней Польши. Официально русские в межвоенной Польше не ставили под сомнение польскую границу на ее украинском отрезке. Более того, немало говорилось о стратегическом значении Польши как преграды, возможно самой мощной, между Германией и Россией. Присутствие в Речи Посполитой «определенного количества сепаратистски настроенных украинцев» считалось полезным для России, так как оно создавало известный противовес будущему «Украинскому Пьемонту» и, следовательно, отвечало интересам «единой и неделимой» [30. 1928. 23 V]. Одновременно критиковались те аспекты польской политики, которые способствовали развитию в России центробежных сил (возможно, это касалось так называемого прометеизма). В качестве дополнительного аргумента использовались намеки на последствия для Польши ее недалековидного курса: когда она вынуждена будет пойти на урегулирование своих отношений с «новой Россией», последняя может отказаться признать положения Рижского трактата [36].

Если не считать отдельных немедленно подвергавшихся критике «выпадов», российская сторона подчеркивала свою лояльность по отношению к Польскому государству в том его виде, в котором оно оформилось к 1921 г. Чтение таких изданий, как «За свободу», газеты Русского народного объединения, представлявшего «русские меньшинства» (виленские «Время» и «Утро»), галицийский «Русский голос» (Галицко-русская народная организация, позднее — Русская крестьянская организация) дает тому достаточно подтверждений. Все это не мешало, однако, российскому общественному мнению считать политику польских властей проукраинской, недружелюбной по отношению к русским и, естественно, ошибочной. В период резкого обострения польско-украинских противоречий на рубеже 20—30-х годов русскоязычная пресса в Польше с плохо скрываемым удовлетворением комментировала происходившие тогда драматические события, оценивая их как крушение иллюзий о возможности польско-украинского соглашения. Впрочем, она была достаточно осторожна

в выражении собственного мнения, предпочитая пересказывать сообщения эмигрантской печати других стран, внимательно следившей за международными конфликтами в Речи Посполитой [4. № 225; 31. № 2955; 12. № 1927]. Любопытно, что в шумной пропагандистской кампании, развязанной тогда на Советской Украине по поводу событий в Галиции и на Волыни, звучали похожие ноты радости с крахом политики польско-украинского соглашения [37. 28, 29 V; 38]. В рассматриваемый период многим казалось, что за украинскими выступлениями кроется вмешательство иностранных государств, немецкого или советского [31. 12 VI; 37. 20 VIII; 30. 1928. 7 XI].

Отстаивание в открытой или завуалированной форме идеи «триединой российской нации» было лейтмотивом большинства кампаний, проводимых эмигрантскими центрами в межвоенной Польше. Таковы выступления против «отрыва от общих корней», ставившие под сомнение национальную самобытность украинцев и белорусов, против «украинизации школ», «украинизации» и «белорусизации» православной церкви в Польше, «украинизации» староусинов, русинов и лемков, прогерманской направленности национальной политики Речи Посполитой. Русская эмиграция — в данном случае имеется в виду русское зарубежье в полном его объеме — считала все «российские» национальности Речи Посполитой русским населением. Поэтому в школьной политике польских властей, предусматривавшей создание украинских и белорусских учебных заведений, виделась прежде всего созвучная «дерусификация» молодежи, либо ее «полонизация». Сформировавшись в начале 20-х годов, эта точка зрения оставалась неизменной на протяжении всего межвоенного двадцатилетия [39].

Близка по своей сути, но несравненно более острая и непримиримая борьба велась вокруг статуса и характера православной церкви в Польше. Главным ее предметом была автокефалия православной церкви в Польше, которой добивались польские власти, заинтересованные как в окончательном разрыве ее связей с Московской патриархией, так и в ограничении контактов с карловацким Синодом. Большую остроту приобрели споры о форме «соборности» (синодальная или приходская) и языке литургии (украинский, белорусский или польский). Простая хроника событий — постановления специально созывавшихся конференций и контрконференций, отлучение «украинизаторов» от церкви и их возвращение в ее лоно, взаимные осуждения и оскорбления — заняла бы слишком много места. Ограничимся лишь констатацией того, что если проблема автокефалии и экуменического союза с Константинополем не вызвала большого накала страстей, то оппозиция приходской «соборности», и особенно тесно связанной с ней «украинизации» и «белорусизации» церкви была необычайно сильной как со стороны иерархов православной церкви в Польше, так и со стороны представителей «русского меньшинства» в лице прежде всего Русского народного объединения. В этих требованиях виделся вызов русскому характеру церкви и, следовательно, идее «триединства» российской нации [40. 1923. VII—VIII]. Это не мешало подвергать резкой критике консерватизм иерархии, сводившей проблему только к борьбе против «украинизации» церкви, в то время как действительная задача заключалась в утверждении такой «соборности», которая бы стояла «над делениями и национализмами как украинским, так и русским» [30. 1928. 7 XII].

В этой краткой характеристике мы опустили множество событий, относящихся к взаимодействию православной и греко-католической церковью. Иногда оно носило позитивный характер, примером чему может служить выступление Шептыцкого против закрытия польским правительством православных церквей, бывших в свое время костелами, но отнятых у католиков царизмом. Имели место и случаи совсем иного рода, такие как противодействие православной иерархии проникновению униатского костела на Волынь, Полесье и Виленщину или отказ целой парафии в Станиславовском воеводстве в униатском обряде. Подобные факты религиозного диктата болезненно воспринимались общественным мнением украинских греко-ка-

толиков. Судьба унии в Галиции, на Волыни и в Подкарпатской Руси решалась на фоне столкновения двух ориентаций — «русинской», пророссийской в своей сути в силу культурного тяготения к России, и противостоящей ей — украинской. Оживление русинского движения в 1928 г. проявилось в преобразовании Галицко-русской народной организации в Русскую крестьянскую организацию, что указывало на перемещение ее активности из города в деревню [40. 1928. 17 VI; 30. 1928. 20 VI; 42]. Это движение видело в украинском начале отступничество и ренегатство, «разрыв единства с исторической Русью», обрекающей русское население на скорую колонизацию, поскольку изучение украинского языка в школах считало «петлюризацией молодежи» [40. 1928. 21, 26 X; 1929. 1 IX]. Украинская пресса с большим беспокойством констатировала неожиданное превращение «хлібоїдив» в активных «москалофилов».

Пресса российской эмиграции, как в Польше так и за ее пределами, живо интересовалась этим противостоянием, усматривая в нем проблему общероссийского значения. Хотя речь идет в основном об освещении событий в Закарпатской Руси, украинско-русинское соперничество в Чехословакии отнюдь не было изолировано от противоборства тех же сил в Польше. Так, общество им. М. Качковского в Львове и общество им. Духновича в Ужгороде тесно взаимодействовали друг с другом [9. 1929. 27 VIII]. Со своей стороны украинские организации Галиции, поддерживаемые грекокатолическим духовенством, развивали активность на Подкарпатской Руси, тесня «русинскую» ориентацию, которая здесь была сильна и пользовалась расположением властей, а также некоторых политических партий Чехословакии. В атмосфере нараставшего конфликта дело дошло до террористических актов, рассчитанных на демонстративный срыв празднования «Дня русской культуры» в Ужгороде. Покушение семинариста-украинца на архидьякона Сабова 2 июня 1930 г. вызвало сильное возмущение в Чехословакии и бурную реакцию российской эмиграции [31. 7 VI; 43]. Ситуация вновь обострилась в 1938—1939 гг. в условиях германской экспансии [44]. Пути истории порой извилисты, и отголоски тогдашних событий отражаются в какой-то мере в тех политических тенденциях, которые характерны для сегодняшнего дня [45].

В данном очерке позиции «белой» эмиграции по украинской проблеме автор сосредоточился прежде всего на вопросах политического характера, не касаясь культурной сферы и в частности, литературы, которая также является отражением умонастроений того или иного общества. И тем не менее убежден в том, что даже при значительном расширении объема исследования общие выводы не подверглись бы серьезной корректировке. Проблема Украины почти всеми направлениями российской эмиграции решалась абсолютно однозначно, а отклонения от общепринятых взглядов были весьма незначительны. Ее органичный союз с Россией трактовался как безусловная историческая необходимость. Думается, однако, что оценка данного феномена, а значит и наши выводы, не должны выражаться в категориях осуждения. Таковыми были намерения пишущего эти строки, независимо от того, удалось ему следовать им или нет. Полагая, что ошибочно видеть в изложенной выше позиции русской эмиграции исключительно выражение великодержавного высокомерия, стремления к имперскому господству, приверженности известной формуле «держать и не пущать!» Отношение русского зарубежья к Украине заключало в себе, без сомнения, нечто значительно большее — глубокое осознание этнической, культурной, исторической связи с украинцами, драмы, разыгрывающейся на стыке двух национальностей и отражающейся на их судьбах.

В заключение хотелось бы в концентрированном виде назвать те доминанты, которые определили отношение русской эмиграции к Украине. К ним относятся:

— заложенное в историческом сознании и подкрепленное работами историков убеждение в общности Украины и России, из взаимно обогащающей и дополняющей «разнородности в единстве»;

— почти мистическое отношение к той части «земли русской», откуда «пошла Русь», к колыбели отечественной истории, государственности, религии, «национального духа»;

— понимание, рациональное и инстинктивное, что подобно тому как присоединение Украины к России создало фундамент великого Российского государства, ее утрата должна привести к упадку и распаду последнего;

— существование на украинской почве ориентаций, признающих и поддерживающих свой этнический, культурный и исторический союз с русскими;

— осознание (особенно в 30-е годы) того, что стремление Украины к самостоятельности открывает возможности внешним силам сделать ее инструментом для достижения своих собственных целей, враждебных как России, так и самой Украине.

Учет этих аспектов позиции русского зарубежья по украинскому вопросу позволит не только разобратся в процессах, происходивших в 20—30-е годы, но и преодолеть эмоциональный подход к анализу острейших конфронтаций сегодняшнего дня.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Rudnytskyj J.* The Burden of History // Poland and Ukraine. Past and Present. Edmonton; Toronto, 1980. P. 14.
2. *Бунаков И. И.* Пути России // Современные записки. 1920. Т. 2.
3. *Ланно И. И.* Западная Россия, ее соединение с Польшей в их историческом прошлом: Исторические очерки. Прага, 1924.
4. Сегодня. Рига. 1930.
5. *Vernadsky G. A.* History of Russia. New Haven, 1959. Vol. IV; *Halperin Ch.* Russia and the Steppe. *George Vernadsky and Eurasianism* // Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte. Berlin, 1985. Т. 36; Народное и человеческое. По поводу «Евразийского вестника» // Современные записки. 1925. Т. 24. Кн. IV. С. 484; *Шаховская Э.* Отражения. Париж, 1975.
6. *Johnston R. H.* New Mecca, New Babylon . . . Montreal, 1988.
7. *Кушнир В.* Спроба характеристики ідейних підстав українського політичного русофільства. Прага; Берлін, 1924; *Наш Г.* Петлюрищина // Новая Украина, 1925. № 1; *Григорів Г.* Наша позиція — самостійна // Новая Украина. 1927. № 9, 10, 11.
8. «Камо грядеши?» // Рассвет. 1923. № 2.
9. Діло.
10. Archiwum Akt Nowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Warszawa.
11. Новая заря. 1938. III.
12. Возрождение. Париж. 1930.
13. La Libre Ukraine. Constantinople. 1921; *Аргунов А.* Крестьянский вопрос в программах заграничных группировок // Свободная Россия. 1926. № 8. С. 60.
14. *Korolevsky S. (Charon J.)* Metropolitte Andrée Szeptycky. 1865—1944. Rome, 1964. S. 155, 193; *Топол М. А.* Виза на убийство // Военно-исторический журнал. 1990. № 11. С. 48.
15. Gra polityczna we Wschodniej Malopolsce // Kurier Warszawski. 1921. 23 X; *Rawita-Gawroński F.* Misjonarskie zamiary Metropolity Szeptyckiego // Rzeczpospolita. 1921. 27 X; *Gazeta Warszawska.* 1921. 30 X.
16. Kościół katolicki o misji na wschodzie // Rzeczpospolita. 1921. 23 XI; *Gratry O.* «La Croix», P. Paléologue i P. Sazonow // Kurier Poranny. 1921. 23 XI; Propaganda ukraińsko-rosyjska wobec unii kościółów // Kurier Poranny. 1921. 21 XII; Religijne i polityczne zagadki kwestii rosyjskiej // Kurier Poranny. 1921. 24, 25 XI; Per unione dei Russi alla Chiesa catholica // Osservatore Romano. 1921. 7 II.
17. Врємя. Вильно. 1930. 8 VI; Информация агентства «Россунинт». 1930. 24 V; *Габрусевич И.* Місце України в світі. Б. м., 1940.
18. Ідеологія українського вільного козацтва (УНАКОР). Б. м., 1936.
19. *Маргуліс М.* Ясская делегация. Летопись революции. Берлин, 1923. С. 197.
20. На родине // Современные записки. 1920. Т. 2. С. 268.
21. *Józefenko A.* Polska a «biała» Rosja. Od listopada 1918 do kwietnia 1920. Wrocław, 1973.
22. *Дешкин А. И.* Кто спас советскую власть от гибели. Париж, 1937. С. 11—12.
23. *Деникин А. И.* Мировые события и русский вопрос. Париж, 1939. С. 34—36.
24. *Rawita-Gawroński F.* Na rosyjskim rozdrożu // Rzeczpospolita. 1921. 10 X.
25. *Плечов В.* Русский миссианизм и славянство // Третья Россия. 1932. № 1.
26. *Миллюков П. Н.* Политическая деятельность «Последних новостей» // Последние новости. Юбилейный сборник. Париж, 1931. С. 24—25; *Гуль Р.* Я унес Россию. Апология эмиграции. Нью-Йорк, 1984. Т. II. Россия во Франции. С. 86; К юбилею «Современных записок» // Современные записки. 1933. Т. 51. С. 431.
27. Обломки прошлого. Русские монархисты в эмиграции // Свободная Россия. 1924. № 5. С. 204.
28. *Чайковский Н. В.* Наш путь к оздоровлению // Грядущая Россия. 1920. № 1.



29. Secours prêté par les Tchécoslovaques aux émigrés russes et ukrainins / Ed. du Ministère des Affaires Etrangères. Prague. 1924.
30. За свободу. Варшава.
31. Руть. Берлин. 1930.
32. *Seide Georg*. Verantwortung in die Diaspora. Muenchen, 1989. S. 80—81; *Seide Gernot*. Die Russische Orthodox Kirche im Ausland. Muenchen, 1983. S. 15—17.
33. *Бунаков И. И.* Союзнический мир. // Грядущая Россия. 1920. № 2. С. 146—147; *Марков А.* Украина и Германия // Последние новости. 1934. 18, 19 I; *R. K. Miraż* wshodniej Kolchidy // Robotnik. 1921. 18 XII; *Szczepkowski P.* Plany niemieckie na Rosję // Rzeczpospolita. 1921. 16 XII.
34. *Williams R. C.* Todt a Berne defender of the «Protocols» // The Wiener Library Bulletin. 1969. S. 15—16.
35. *П. П.* О германской ориентации и русском национальном достоинстве // Третья Россия. 1935. № 6, С. 88; Третья Россия. 1939. № 9. С. 10.
36. *Paszczanik P.* Terazniejszość i przyszłość // Za swobodu. 1930. 5 III.
37. Правда. 1930.
38. Известия. 1930. 9 X.
39. *Соколов Д. М.* Положение русской школы в Польше // Современные записки. 1924. Т. XVIII. С. 419.
40. Русский голос.
41. Наша жизнь. 1928. 18 XI.
42. Голос народа. 1928. 17 VI; Земля и воля. 1928. 17 VI.
43. Россия и славянство. 1930. 13 XII; 1931. 12 XII.
44. Меч. Варшава; Париж, 1939. № 1.
45. *Виднянский С. В., Сюшко И. М.* Русины-українці в чехословакиї. Процес національного самоусвідомлення // Український історичний журнал. 1991. № 5. С. 86.



ДОСТАЛЬ М. Ю.

## РОССИЙСКИЕ СЛАВИСТЫ-ЭМИГРАНТЫ В БРАТИСЛАВЕ

После октябрьского переворота из России в Чехословакию и другие страны Европы хлынул поток эмигрантов, среди которых было много ученых-славистов. Естественным центром славистической эмиграции стала Прага, приобретшая славу европейского центра славистики еще в первой половине XIX в. Только в Карловом университете после образования ЧСР было основано восемь кафедр славянских языков и литератур, действовал семинар по славянской филологии [1. S. 42—72], в работе которых приняли участие и выходцы из России [2; 3]. Столица Словакии Братислава в силу сложившихся обстоятельств стала научным центром только в 1919 г., когда в ней был открыт Университет им. Коменского. Большую помощь в формировании научных кадров университета оказали чешские профессора: В. Халоупецкий, А. Пражак, М. Вайнгарт, Й. Гануш, Ф. Вольман и др. Определенную роль в этом процессе сыграли и российские ученые, вынужденные искать спасения от произвола большевистского режима в эмиграции. В разное время в Братиславе работали филологи В. А. Погорелов и А. В. Исаченко, историк Е. Ю. Перфецкий, этнограф П. Г. Богатырев, юрист О. О. Марков, философ Н. О. Лосский и др. О первых трех названных славистах и пойдет речь в данной статье.

Российским ученым, оказавшимся в эмиграции, пришлось испытать сполна горькую чашу испытаний, после достаточно обеспеченной жизни в России до 1917 г. На родине они после окончания университета, стажировки за границей имели, как правило, возможность получить работу по специальности на одной из многочисленных кафедр славистики, приличное жалование и престижное положение в обществе. Но самое главное — они могли быстро совершенствоваться по избранной специальности: в их распоряжении были архивы и библиотеки не только в России, но и в Европе, возможность многостороннего общения с коллегами. Вынужденные бежать из России, они по существу лишались всего: родины, работы, часто семьи, всякого имущества. На чужбине им, иногда пожилым людям, приходилось начинать все с самого начала. Главной жизненной задачей и удачей для них теперь было обретение: работы по специальности в научных центрах и университетах. Далеко не всем это удавалось.

Чехословацкое правительство в начале 20-х годов по политическим соображениям взяло на себя покровительство русской и украинской эмиграции: студентам, крестьянам, офицерам и казакам, деятелям науки и культуры, и выделило на «русскую акцию помощи» довольно значительные средства. Это дало возможность для существования многочисленным научным

---

Досталь Марина Юрьевна — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

учреждениям прежде всего в Праге (подробнее см. [3. Гл. II]; в Братиславе таких институций не было). Однако этих средств на всех явно не доставало, а ко времени всеобщего экономического кризиса финансирование заметно иссякло [2. С. 29—30]. Не все просто было и с предоставлением работы эмигрантам. Известный русский философ Н. О. Лосский (1870—1965), некоторое время работавший в Праге и Братиславе (1942—1945), вспоминал: «В Чехословакии нормальная жизненная карьера была почти невозможна для иностранца. Правда, Чехословакия оказала братскую помощь множеству русских интеллигентов и многим русским детям, но получить место, особенно на государственной службе, было чрезвычайно трудно. Среди эмигрантов было, например, немало выдающихся ученых, однако к преподаванию в университетах и политехникумах привлечены были лишь очень немногие. При замещении кафедры всегда было отдалено предпочтение весьма малоодаренному чеху даже и перед самым талантливым, приобретшим уже известность русским, за исключением тех случаев, когда по какой-либо случайности чеха совсем не было» [4. С. 96]. Это высказывание в определенной степени применимо и к условиям Словакии, за исключением того, что здесь потребность в специалистах была больше, но все равно эмигранты, как мы увидим далее, ставились зачастую в неравноправное положение по сравнению со своими коллегами чехами и словаками.

Ввиду того, что многие кафедры во вновь созданном Университете им. Коменского в Братиславе (далее — УК) были вакантными, его руководство в поисках необходимых специалистов принимало во внимание и эмигрантов из России. В числе первых на философский факультет (далее — ФФ) были приглашены историк Евгений Юлианович Перфецкий (1888—1947) и филолог Валерий Александрович Погорелов (1872—1955).

Е. Ю. Перфецкий родился 10 апреля 1888 г. в местечке Носов Холмской губернии на границе Польши и Украины. После окончания классической гимназии в Седлеце учился в С.-Петербургском университете, где изучал русскую историю у А. А. Шахматова, С. Ф. Платонова и С. В. Рождественского, а историю славян у П. А. Лаврова и Н. В. Ястребова. Для подготовки к профессорскому званию он был послан на стажировку в Австро-Венгрию, где продолжал занятия в Венском университете под руководством К. Иречка, В. Ягича, О. Редлиха. Получив блестящее образование, Е. Ю. Перфецкий в 1919 г. после защиты магистерской диссертации получил место доцента русской истории в Киевском университете. Уже до этого он был известен в научных кругах своими статьями по истории Закарпатья [5]. Тяжелые условия жизни и преподавания в Киевском университете [6], который в прежнем своем виде просуществовал только до 1920 г., заставили Перфецкого и других преподавателей университета искать новые средства существования. В 1921 г. он эмигрировал в ЧСР. 24 декабря 1921 г. министр народного просвещения Шробар по представлению Совета профессоров Университета им. Коменского утвердил Е. Ю. Перфецкого ассистентом Исторического семинара на философском факультете. Ему было вменено в обязанность, начиная с января 1922 г., преподавание в объеме, «отвечающем потребностям обучения в Университете им. Коменского, не менее двух часов в неделю в каждом семестре читать лекции по истории Подкарпатской Руси», с жалованьем в 3600 крон в год, разделенных помесячно [7]. Жалованье по тем временам было мизерным и он подрабатывал чтением лекций во всех уголках Словакии [8]. Уже 20 сентября 1922 г. деканат ФФ прислал в ректорат УК представление с просьбой назначить ассистента Исторического семинара Перфецкого на должность приват-доцента русской истории с особым упором на историю Подкарпатской Руси. Последняя в 1919 г. была включена в состав ЧСР, и изучение новой территории представляло особый правительственный интерес. Хлопоты продолжались почти год, и 31 октября 1923 г. министр народного просвещения Матуш прислал в деканат ФФ УК уведомление, что с декабря 1923 г. Перфецкому вменялось в обязанность читать лекции 3 часа в неделю в каждом семестре по истории русского народа, 2 часа в неделю в каждом

семестре по истории Подкарпатской Руси и 2 часа в неделю вести семинарские занятия. За что причиталось жалованье 1000 крон в месяц, начиная с 1 декабря 1922 г. [7].

Обеспечив в какой-то степени свое материальное положение, Е. Ю. Перфецкий ведет интенсивную научную работу, продолжая изыскания по средневековой истории Подкарпатской Руси [9; 10. С. 375—376]. В этих статьях Перфецкий более или менее последовательно выступил на стороне «украинофилов» в развернувшейся с новой силой борьбе «русского» и «украинского» направлений ориентации национальной культуры Закарпатья, поддержанных соответственно представителями русской и украинской эмиграции в ЧСР [11], за что В. А. Францев в письме к В. С. Иконникову назвал его «ярко украинствующим» [12].

Другим направлением научных занятий Перфецкого стало изучение старославянских средневековых памятников [13].

На тему «„Historia Polonica“ Яна Длугоша и немецкое летописание» ученый предлагал сделать доклад на съезде славистов в Варшаве (1934), но Министерство народного просвещения отказало ему в командировке по финансовым причинам [7].

Большинство работ было написано на основе новых архивных материалов, которые ученый собирал в своих довольно частых научных командировках. По документам Архива УК видно, что в 20-е годы он работал в архивах Праги, архиве иезуитской Академии Трнавы, ездил за счет университета в Германию (Дрезден, 1924, 1926), Польшу (1923; Львов, 1924), Венгрию (Будапешт, 1924), Австрию (Вена, 1926). О работе в венских архивах он подробно писал А. В. Флоровскому [14. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 361. Л. 1, 1 об. 1924. 1 1].

Довольно частые поездки за границу каждый раз встречали затруднение в том, что Перфецкий, не являясь гражданином ЧСР, должен был ходатайствовать о предоставлении ему временного чехословацкого заграничного паспорта. При оформлении в Австрию ему даже было указано, что если бы он имел советский паспорт, его поездка не составила бы никаких затруднений. Видимо, этот аргумент переполнил чашу терпения ученого, и он обратился в полицейское управление с просьбой о предоставлении ему чехословацкого гражданства. 11 января 1927 г. просьба Перфецкого была рассмотрена на Совете профессоров ФФ УК, который подтвердил полицейскому управлению, что Перфецкий лоялен к ЧСР и его поведение вне всяких подозрений, о чем декан ФФ А. Пражак и сообщил в полицейское управление уже 12 января 1927 г. Просьба Перфецкого была удовлетворена.

Это решение, видимо, стоило Е. Ю. Перфецкому тяжелой душевной борьбы, так как он трудно переживал разлуку с родиной и посылно старался поддерживать с ней связи. В 1922 г. в Братиславе он опубликовал книгу на русском языке о русских летописных сводах [15] и отослал несколько экземпляров в Академию наук, о чем упомянул в письме академику П. А. Лаврову от 15 июня 1928 г.<sup>1</sup> Даже сам факт эмиграции он объяснял ему необходимостью научной работы и издания этого труда: «В конце 1921 г. я уехал за границу с целью изучения материала в тамошних архивах по летописанию немецкому, чешскому и польскому, — а вместе с тем, чтобы издать свой труд по древнейшему русскому летописанию, который и был издан в 1922 г.» [16. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 1.]. В киевском журнале «Бібліологічні вісті» (1926) ему удалось опубликовать статью «Типографії и старопечатні книги в Подкарпатській Русі». Большие надежды Перфецкий связывал с опубликованием в СССР статьи «Общий источник древнейшего чешского и древнейшего польского летописания», которую послал П. А. Лаврову с просьбой «не отказать напечатать его в изданиях Академии Наук» [16. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 1]. Лавров взялся хлопотать о статье Перфецкого. В письме от 24 сентября 1928 г. последний

<sup>1</sup> За предоставление мне писем Е. Ю. Перфецкого П. А. Лаврову приношу сердечную благодарность их первооткрывателю — М. А. Робинсону.

пишет: «За Ваши старания (дорогие мне) по этому делу — сердечно Вас, глубокоуважаемый Петр Алексеевич, благодарю! Я очень счастлив, что моя научная работа возвращается на родную почву, в Россию» [16. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 2].

Судя по письму П. А. Лаврову от 28 декабря 1928 г. первоначально статью Перфецкого предполагалось напечатать в «Трудах славянской комиссии Академии Наук» под редакцией П. А. Лаврова [16. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 5]. С опубликованием этой статьи Перфецкий связывал возможность своего возвращения на родину. «Я и моя жена (жена моя словачка, Господь дал нам и маленькую дочь — Клавдию) — грезим о России, ибо только в ней я вижу свою цель. Но каким путем вернуться в Россию, не знаю. Проф. О. И. Брех очень советует возвращаться мне в Россию» [16. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 3]. Через три месяца он уже считал таким путем опубликование статьи: «Буду очень благодарен Вам, глубокоуважаемый Петр Алексеевич, если названная моя статья по возможности в наиболее скорое время будет напечатана там, ибо это будет, конечно, иметь большое значение и для возможности моего возвращения обратно в Россию, о чем хлопочу» [16. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 5, 6].

Однако мечтам Перфецкого о возвращении на родину не суждено было сбыться. 24 ноября 1929 г. П. А. Лавров скончался, а с его кончиной и общим тяжелым положением славистики в СССР, по-видимому, остановилось дело и с опубликованием статьи Перфецкого. Она была напечатана только в 1932 г. в третьем томе «Трудов Института славяноведения», основанного в Ленинграде в 1931 г. под руководством Н. С. Державина. Примечательно, что в строгой и нелицеприятной рецензии Яна Славика на этот том «Трудов», упрекавшего советских ученых в плохом знании современной европейской литературы и источников, лишь о статье Перфецкого было сказано доброе слово: «Это единственная статья в сборнике, свидетельствующая о том, что автор использовал всю необходимую литературу» [17].

Все обстоятельства хлопот Перфецкого о возвращении на родину могут быть раскрыты при обнаружении соответствующих документов. Однако и сейчас ясно, что тревожные сообщения о преследованиях ученых старой школы в СССР, появлявшиеся в чехословацкой печати [18], и задержка с опубликованием статьи, по-видимому, убедили Перфецкого в невозможности для него возвращения на родину. К тому же он не мог не сознавать, что его представления о развитии общественного движения в России в XIX в., выраженные в ряде публицистических статей («Пушкин. К 125-летию со дня рождения», «Славянофил Константин Аксаков как историк», «Два идеологических направления в России в начале XIX в.», «Михаил Бакунин и славянство», «Берлинский конгресс и славянство», «Русское евразийство», и др.), опубликованных в журнале «Průdy» в 1924—1929 гг., не совпадали с концепцией советских историков-марксистов. Особенно ясно его критическое отношение к большевистскому режиму в России выразилось в статье «Нечаевщина 1867 г. Предтеча русского большевизма» [19]. «Корни большевизма, — писал Перфецкий, — находятся в русской истории XIX в., а не только в учении Карла Маркса, которого русская интеллигенция полностью присвоила себе. Это касается и учения славянофилов, идеалистического анархо-социализма Бакунина и социалистического мессианизма Герцена. Большевистская идеология не пришла извне (от какой-то чужой агитации), но была создана дома, в России. Это не означает, разумеется, что славянофильское движение или мессианизм Герцена имели какие-то элементы большевизма, но значит только то, что большевизм незаметно вырос из русской почвы и своими корнями тянул различные политические соки, которые могли быть ядовитыми для автократического царизма». В этих словах выражена квинтэссенция общей концепции общественной борьбы в России в XIX в. в представлении Перфецкого. Не откажешь ему в проникательности и в таком очень по-современному звучащем определении большевизма: «Как явление психологическое, большевизм есть прежде всего

проявление социального максимализма. ... Чтобы понять русский большевизм, нужно внимательно читать сочинения *Достоевского*. Этот большевистский тип представляют особенно герои *Достоевского* Ставрогин и Смердяков. Они оба ставят и разрешают вопросы, „что дозволено“, как и большевики. В морали и политической тактике большевики также максималисты, как и в своих социальных программах. Во имя осуществления великого дела — все дозволено. Во имя идеи коммунистического счастья дозволено пожертвовать миллионами людских жизней. Террор для большевиков свят, так как только насилем открываются двери для достижения цели — так мыслит большевизм» [19. S. 3—4]. По этим соображениям Перфецкий считал Нечаева «отцом практического максимализма в будущей русской большевистской революции» [19. S. 4]. Свою статью Перфецкий заключал знаменательными словами: «Нечаев не имел последователей в русском освободительном движении. Отклик нечаевщины мы видим только в будущей русской большевистской душегубке — „чрезвычайке“» [19. S. 8].

Ясно, что человека с таким отношением к большевизму в СССР могли ожидать только лагеря и ссылки, и Перфецкий, видимо, это скоро понял, хотя и старался проявить лояльность в статье «Максим Горький в печати и жизни Чехословакии» [20].

Думается, что обнаружение вероятных писем Перфецкого своим коллегам в СССР в дальнейшем смогли бы лучше раскрыть душевную драму ученого<sup>2</sup>.

Решив окончательно связать свою судьбу с Чехословакией, Перфецкий вновь делает попытку улучшить свое материальное положение. Семья росла, в ней уже было трое детей, а чистый доход его составлял, как сообщал он в ректорат в записке от 16 февраля 1934 г., только 857 крон в месяц [7]. Просьба Перфецкого была поддержана университетом и в результате всех хлопот по распоряжению Президента ЧСР Т. Г. Масарика от 28 февраля 1935 г. он был назначен экстраординарным профессором восточноевропейской истории. С 1 марта 1935 г. ему выплачивалось жалованье 30 000 крон в год (2550 крон в месяц). В его преподавательские обязанности входило чтение лекций по истории Подкарпатской Руси (2 часа в неделю), остальное время по восточноевропейской славянской истории, 2 часа в неделю семинарские занятия (1-й семестр — по истории России, 2-й семестр — по истории Подкарпатской Руси).

В вопросе об определении предмета преподавания Перфецкого на Совете профессоров ФФ УК 31 мая 1935 г. неожиданно разгорелся спор, отразивший размышления историков о том, что включает в себя понятие «Восточная Европа». Профессора Ф. Ришанек и В. Халоупецкий выразили общераспространенное тогда мнение, что «под восточноевропейской историей надо понимать преимущественно историю русскую». Напротив, профессор Д. Рапант включал в нее еще и историю Польши и Югославии. Это мнение он обосновывал тем, что «при определении понятия „история славян в Европе“ нельзя исходить только из критериев филологических или географических, но и из фактического разделения исторических специальностей в университетах на историю западную и восточную, при котором понятие „восточная“ история включает в себя все, что находится на Восток от Германии и Альпийских земель. Это решение соответствовало бы фактическому состоянию и намерениям министерства». Точка зрения Д. Рапанта фактически повторяла представления Я. Бидло, основавшего в Праге в Карловом университете специальные курсы по философии восточноевропейской истории и восточноевропейской историографии [1. S. 65], на которых он вместе с Н. В. Ястребовым рассматривал весь регион восточной Европы, включая неславянские народы и Россию. Она не получила поддержки на ФФ УК, где большинство профессоров предпочитали по политическим соображениям разделять понятия «Восточная Европа» (т. е. Россия) и славянство. Это вменялось в обязанность делать и Е. Ю. Перфецкому, не

<sup>2</sup> Так, в письме Н. С. Державину от 23 октября 1945 г. Перфецкий говорил о желании издать свою книгу по истории Закарпатской Украины в СССР и просил присылать издания АН СССР по истории России, вышедшие во время войны [16. Ф. 827. Оп. 4. Д. 410. Л. 2, 3].

забывая, что и «на историю Подкарпатской Руси надо смотреть с политической точки зрения» [7].

Образование самостоятельного Словацкого государства при поддержке фашистской Германии 14 марта 1939 г. имело важные последствия для развития высшего образования в Словакии. Большинство чешских профессоров и преподавателей были вынуждены покинуть Братиславу. Напротив, российские эмигранты получили равные права с другими преподавателями УК, переименованного в Словацкий университет (далее — СУ).

31 июля 1939 г. в университет пришло уведомление от Министерства народного просвещения (далее — МНП), что правительство Словацкого государства на своем заседании 4 июля 1939 г. назначило Е. Ю. Перфецкого профессором Словацкого университета. Как ординарный профессор восточноевропейской истории он должен был получать с 19 августа 1939 г. жалование профессора первой степени 39 600 крон в год, сверх того «должностных» — 8100 крон в год и «преподавательских» — 3000 крон в год. Это был самый высокий оклад Перфецкого за все годы пребывания в Словакии.

Во время войны ученый продолжал научную и педагогическую деятельность: преподавал в СУ, готовил к печати книгу «История России в средние века», участвовал в работе Словацкого ученого общества, преобразованного после войны в Словацкую академию наук и искусств (далее — САНИ), и пр.

После освобождения ЧСР Советской Армией Перфецкому, как и другим эмигрантам, надо было решать: оставаться в новой Чехословакии с угрозой быть репрессированным злешней или советской службой безопасности или эмигрировать дальше на Запад. По не вполне понятным причинам он решил остаться. 2 июня 1945 г. Перфецкий, как и другие преподаватели университета, был приведен к присяге на верность новому режиму, обязуясь «добросовестно и неустанно выполнять свои служебные обязанности, хранить служебную тайну и во всех делах руководствоваться только интересами государства и народа» [7]. Перфецкий продолжал читать курс восточноевропейской истории в Братиславском университете и одновременно историю славян в Университете им. Ф. Палацкого в Оломоуце (1946—1947). Об уважении коллег по университету свидетельствует его избрание деканом ФФ СУ на 1946/47 учебный год. Безвременная смерть на курорте в Бардейове 18 августа 1947 г. оборвала его творческие планы.

Оценивая научный вклад Перфецкого, его коллега писал: «Аналитические работы Перфецкого в особенности, знаменуют ценный вклад в науку и в международном масштабе, довершают портрет покойного. Он отличался огромным трудолюбием, верностью методологических подходов, необычайным остроумием и талантом комбинационного мышления. Обладая этими качествами, он мог не только решать, но и разрешать часто многие спорные и запутанные вопросы, перед которыми останавливались известные и признанные умы в данной области» [8, S. 543]. Вопрос об его учениках спорен.

На взгляд А. В. Исаченко, «у покойного Перфецкого не было учеников» [14. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 241. Л. 2], в то же время В. Т. Пашуто лично общался с одним из них, видным словацким историком Петром Рамовшем [3. С. 18].

В декабре 1921 г. в Братиславский университет наряду с Перфецким был приглашен и филолог Валерий Александрович Погорелов (1872—1955). Родился он в Петербурге, в дворянской семье. Окончив гимназию в Феодосии (1890), учился в Варшавском (1890—1891) и Московском университетах (1891—1895) у профессоров Ф. Ф. Фортунатова и Р. Ф. Брандта. Затем служил библиотекарем в библиотеке Московской синодальной типографии (1896—1902), занимаясь описанием старославянских рукописей [21]. Одновременно он преподавал славянские языки в Московском университете (1901—1903), исполнял обязанности секретаря Славянской комиссии Московского археологического общества и пр. Был утвержден доцентом (1903), экстраординарным (1891) и ординарным профессором (1917) университета в Варшаве, а затем в Ростове-на-Дону (1918—1920) [22. С. 273]. Судя по

послужному списку Погорелова, сохранившемуся в Архиве УК, за примерную службу он был награжден орденами св. Станислава II степени и св. Анны III степени, имел шесть детей и получал в России жалованье 2300 рублей в год [23].

В 1920 г. он вместе с семьей эмигрировал в Болгарию, где временно работал в Народной библиотеке (1920—1922). Пребывая, по воспоминаниям близких, в тяжелых материальных и жилищных условиях (в подвале), ему все же удалось написать книгу о староболгарских печатных книгах [24].

В 1921 г. в Университете им. Коменского еще оставалась вакантной кафедра русского языка и литературы. Совет профессоров ФФ УК в качестве претендентов на это место рассматривал кандидатуры киевского профессора Ю. А. Яворского и В. А. Погорелова. По рекомендации известных чешских филологов Ф. Пастернка и М. Вайнгарта [25, S. 258] после тщательного рассмотрения послужных списков претендентов на Совете профессоров 9 декабря 1921 г. была утверждена кандидатура В. А. Погорелова. При этом принималось во внимание, что он читал лекции и вел семинарские занятия по болгарскому, польскому и чешскому языкам, по сравнительной грамматике славянских языков, изучал памятники церковнославянского языка, изучал литературу России и Закарпатья. Поэтому было признано, что квалификация Погорелова для преподавания русского языка и литературы «не подлежит сомнению». Исходя из этого, Совет профессоров ФФ УК постановил назначить Погорелова профессором русского языка и литературы «на договоре». После чего начались переговоры с МНП и МИД по поводу соблюдения необходимых формальностей по переезду Погорелова с семьей в Братиславу (из Софии). На первых порах он был размещен в здании ректората УК. С ним был заключен договор, согласно которому Погорелов должен был читать лекции по своему предмету не менее 5 часов в неделю и 2 часа вести семинарские занятия. Каждый третий семестр проводился *collegium publicum* по специальным частям предмета по договоренности с деканом ФФ. Ему было определено жалованье ординарного профессора — 12 тыс. крон в год, но без «должностных» и «преподавательских» доплат и единовременное пособие в 3000 крон на обзаведение: приобретение белья и одежды. По своему положению «профессора на договоре» Погорелов становился не вполне полноправным членом Совета УК и Совета профессоров ФФ, так как не имел права голоса при выборах «академических функционеров», что оговаривалось в специальном положении от 21 августа 1924 г.

Объем преподавания В. А. Погорелова на первых порах определялся следующим образом (14 V 1923): история русского языка — 3 часа в неделю, история русской литературы — 1 час в неделю, семинары по русской литературе и русскому языку по 1 часу в неделю каждый. Кроме того, Погорелов вел лекторат по русскому, болгарскому и сербо-хорватскому языкам (по 2 часа, курсы для начинающих).

Однако положение «профессора на договоре», лишавшее его некоторых материальных льгот и академических прав, видимо, тяготило Погорелова. В письме к пражскому профессору В. А. Францеву он писал: «Я с своей стороны, хотя не могу пожаловаться на какие-либо особые болезни<sup>3</sup>, но бремя занятий в Университете (от 12 до 15 часов в неделю лекций и практических занятий) становится с каждым годом все чувствительнее, а о каком-либо отдыхе мне, *smlouvnému* (т. е. «договорному». — М. Д.) и думать не приходится» [26. № 681. Письмо от 14 X 1937]. Погорелов всячески стремился приобрести все права ординарного профессора, как и другие его коллеги по университету — чехи и словаки, ощущая, что «наши любезные хозяева... не прочь посмотреть свысока на русских ученых, да и вообще на все русское» [26. № 681. Письмо от 8 V 1938]. Первый шаг на пути к равноправию он сделал, приняв чехословацкое гражданство.

<sup>3</sup> Серьезные проблемы со здоровьем возникли в апреле 1938 г., когда он был сбит велосипедистом.



14 мая 1928 г. он обратился в Совет профессоров ФФ УК с докладной запиской о необходимости уравнивания в правах кафедры русского языка и литературы УК с другими аналогичными кафедрами, по образцу организации кафедр славистики в столичном Карловом университете, где почти каждый славянский язык и литература были предметом преподавания на специальной кафедре. Например, «югославянскую» кафедру занимал проф. М. Мурко, «польскую» — проф. М. Шийковский, «русскую» — В. А. Францев и Е. А. Ляцкий, «украинскую» — А. Колесса и пр. «В Братиславе, — писал Погорелов, — только одна кафедра русского языка и литературы, и то по договору, что ставит зачастую эту кафедру по отношению к другим кафедрам в положение, не соответствующее ее значению в университете, предназначенному удовлетворять интересам Словакии и Подкарпатской Руси» [23].

Эта записка в то время не возымела своего действия, кроме того, что Погорелову немного повысили жалованье. Одновременно с целью повышения своей квалификации В. А. Погорелов предпринял попытку защитить в качестве докторской диссертации в историко-филологической секции Русской академической группы в ЧСР свою работу «Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы» [14. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 366. Л. 1—2об.].

Звание ординарного профессора со всеми правами и преимуществами он получил только после образования Словацкого государства. 20 декабря 1939 г. вместе со званием ему было определено МНП жалованье 39 000 крон в год и 8100 крон «должностных».

Педагогическая деятельность Погорелова в Братиславе по кафедре русского языка и литературы протекала в рамках так называемого Славянского семинара. Возглавленное им отделение русского языка и литературы было основано в марте 1923 г. Занятия велись в стесненных условиях в комнате женской гимназии на Рейхардовой улице. В отчете о деятельности семинара за 1923—1931 гг. В. А. Погорелов указывал, что семинар получал дотации от МНП в 1925—1927 гг. по 1000 крон в год, в 1928—1930 гг. по 5000 крон в год. Кроме того он получал экстраординарные дотации в общей сложности 19 000 крон. Часть указанной суммы была израсходована на приобретение книг и учебных пособий. Библиотека русского отделения была одной из самых богатых на ФФ, и к 1932 г. насчитывала 3800 томов (в основном из библиотеки д-ра Г. Штрипского)<sup>4</sup>. «Деятельность семинара, — писал в отчете Погорелов, — была посвящена изучению произведений русской литературы старой и новой, народного творчества, памятников языка, особенно древнерусских и образцов русских народных диалектов: великорусского, белорусского и малорусского и чтением рефератов членами семинара на темы по русской литературе» [27].

Число членов семинара колебалось от трех (зимний семестр 1922—1923 гг.) до одиннадцати (зимний семестр 1928—1929 гг.). Среди докладов, прочитанных на семинаре, Погорелов, в частности, указывал: «О взаимоотношениях старорусских произведений „Слова о полку Игореве“ и „Задонщины“» (Горнекова и Шкультегова); «Тургенев и Вайянский. Параллели» (Молнарова); «Русские былины в поэзии Челаковского и А. К. Толстого» (Бойкова); «Женские типы в романе Достоевского „Идиот“» (Беднаржова) и др. Слушатели Погорелова имели возможность познакомиться с древнерусской литературой и народным творчеством, а также с классической литературой XIX в. в сопоставлении с чешской и словацкой. Среди многих ассистентов Погорелова по семинару был известный впоследствии словацкий лингвист Ян Станислав.

Преподавательскую деятельность в Братиславе В. А. Погорелов успешно совмещал с активной научной деятельностью. Предметом его научного интереса были произведения старославянской литературы [10. S. 387; 28]. По оценкам специалистов «для исследовательской манеры Погорелова характерна способность к построению остроумных и оригинальных концепций,

<sup>4</sup> В целом библиотека Славянского семинара насчитывала 28 830 томов по пяти отделам славянских языков и литератур, включая чешский и словацкий.

которые, однако, не всегда опирались на солидную научную эрудицию и бывали не лишены фактических ошибок» [22. С. 274]. Не упускал он и возможности высказать свои суждения о литературе XIX—XX вв. в некрологах и юбилейных статьях [27].

Совет профессоров ФФ УК не раз оказывал В. А. Погорелову честь представлять УК на международных конгрессах и конференциях. Так, он участвовал на II Международном конгрессе византинистов в Белграде (апрель, 1927) с докладом «Где и когда была написана Саввина книга?»; на I съезде славянских филологов в Праге (октябрь, 1929 г.: произнесенный доклад «Западнославянские элементы в кирилло-мефодиевской лексике» был опубликован в Сборнике трудов съезда); в работе V съезда русских ученых за границей в Софии (сентябрь, 1930 г.) с докладом «О кирилло-мефодиевском переводе евангелия»; II съезда славянских филологов в Варшаве (май, 1934 г.) с докладом «Польская хроника Яна Длугоша» и пр. [23; 8. S. 387].

В подробном содержательном отчете В. А. Погорелова о своем участии в белградском конгрессе византинистов проскальзывала его тоска по родине, мечта о величии русской науки: «Для нас, славян,— писал ученый,— этот конгресс особенно интересен и симптоматичен, т. к. имел в значительной степени славянский характер: был собран в столице славянского государства, из 275 его участников значительную часть составляли славяне (116,  $\approx 40\%$ ), число рефератов, прочитанных славянами (57 из 148, т. е.  $\approx 40\%$ ) было также достаточно велико, к тому же он выделялся своим содержанием. Наконец, это был I Международный конгресс, в котором наряду с другими международным языком (английским, французским, итальянским и немецким) принят был и славянский (именно русский). Но как нововведение, право использования русского языка не было испытано вполне, ибо сами русские ученые читали доклады по-французски или по-немецки. Хотя несколько рефератов было русских (примерно четыре), из них один читался болгаринном, профессором С. Бобчевым. Русский язык звучал и при открытии конгресса в приветствии профессора Тарановского» [27].

Из командировок Погорелова особенно важной была его поездка в Подкарпатскую Русь «для изучения карпаторусских диалектов и материальных памятников в библиотеках Ужгорода и Мукачева» в 1932 г.

3 апреля 1932 г. В. А. Погорелову исполнилось 60 лет. Коллеги по университету торжественно поздравили его, по достоинству оценив его научные заслуги. А 21 апреля юбилей ученого был торжественно отпразднован «Славянской беседой» и русским кружком в Братиславе [27].

Со времени образования Словацкого государства и во время войны Погорелов продолжал преподавать в университете в качестве ординарного профессора, получая вместе с доплатами 62 000 крон в год. По достижении 70 лет он вышел на пенсию, но по просьбе Совета профессоров ФФ продолжал читать лекции и вести семинарские занятия по русскому языку и литературе (по 2 часа в неделю). В его личном деле сохранилась любопытная докладная записка от 3 ноября 1944 г., в которой он сообщал в деканат о невыгодности для него получать плату за преподавание ввиду снижения уровня пенсии и обещал: «буду преподавать бесплатно, читать курс „Памятники старой русской литературной речи“ 1 час в неделю» [23].

В 1945 г. с приближением Советской Армии к границам Чехословакии Погорелов, как и другие эмигранты, должен был решать сложный для себя вопрос: оставаться ли в Братиславе или ехать на Запад. Его дети были прочно устроены в Чехословакии: четыре дочери вышли замуж, родили детей, из трех сыновей один, Олег, (еще ныне здравствующий) стал инженером-архитектором, второй — Александр — юристом, писал публицистические статьи, третий служил в чехословацкой армии [26. № 681. Письмо от 14 X 1937]. И хотя Погорелов не участвовал ни в каких партиях и не выступал публично с критикой советской власти, по свидетельству родных, в кругу близких ему людей позволял себе антибольшевистские

высказывания [25. S. 258]. Возможно, именно по этим соображениям, опасаясь репрессий со стороны новых властей за свое эмигрантство и службу в пользу Словацкого государства, он уехал в Мюнхен. О дальнейшей его жизни известно мало. По свидетельству С. Швагровского, он преподавал в Мюнхенском университете, неожиданно увлекшись изучением испанского языка и литературы. Умер в 1955 г. Архив его не сохранился.

Преемником В. А. Погорелова по кафедре русского языка и литературы в Братиславском университете стал Александр Васильевич Исаченко (1910—1978). Он родился 21 декабря 1910 г. в Петербурге в интеллигентной семье. Отец был адвокатом. После эмиграции родителей в 1920 г. он оказался в австрийском городе Клагенфурт, где с отличием закончил гимназию. В 1929 г. поступил в Венский университет, «здесь его научные интересы и методологическое направление навсегда определил Н. С. Трубецкой. Исаченко стал славистом и структуралистом, хотя он наряду с этим получил солидное младограмматическое образование индоевропейистическое, особенно германистическое и индологическое (Jokl, Geiger). Получив в 1937 г. звание доктора философии, Исаченко закончил свое лингвистическое формирование годом в Париже у Мейе (а также у Вайяна, Вандриес и Мазона) и потом в Праге, где он познакомился с Пражским лингвистическим кружком и стал его членом» [29. С. 117]. Одновременно в 1935—1938 гг. он был лектором русского языка по кафедре славянской филологии Венского университета. В 1939 г. он был принят в качестве доцента славянской филологии в университет в Любляне. Первоначально научные интересы А. В. Исаченко лежали в плоскости словенской филологии и диалектологии, затем он все больше внимания стал уделять вопросам развития современных славянских языков, славяно-германских языковых отношений, проблеме древнейшего субстрата славянской письменности [25. S. 260].

В 1941 г. Исаченко был приглашен в Братиславу. Известно, что в 1941—1945 гг. он преподавал здесь русский язык в Высшем коммерческом училище [30]. Документы Архива Словацкой академии наук проливают новый свет на обстоятельства переезда Исаченко в Братиславу. В то время Словацкое научное общество (возникшее из Научного общества им. П. Й. Шафарика в 1939 г.) планировало в числе других научных проектов начать работу над Сравнительным словарем славянских наречий. Возглавить этот проект Президиум Словацкого научного общества (далее — СНО) решил доверить Исаченко, и в письме от 11 марта 1941 г. приглашал его поскорее приехать в Братиславу и подписать договор об условиях работы в СНО. На заседании Президиума СНО говорилось, что ввиду продолжительности работы над словарем целесообразно вначале составить словацко-русский и русско-словацкий словари, «насушная потребность в которых с научной и практической точки зрения несомненна». За эту работу, о ходе которой надо было периодически информировать СНО, Исаченко было выделено 2400 крон ежемесячно. Рукой Исаченко на документе, излагавшем эти условия договора, было написано по-словацки: «Согласен. 26 III 1941 г.». После этого Исаченко сразу же отправился в научную командировку в Берлин уже как сотрудник СНО. Работа над словарем продолжалась несколько лет. К ней был привлечен Е. Паулини и другие словацкие лингвисты. Он вышел в свет только в 1957 г. Л. Дюрович указывал: «Еще во время войны он начал работать над словацко-русским словарем: подходящего исходного словацкого словаря тогда вообще не было, и Исаченко, иностранцу, пришлось работать только с черновиками разных концепций начинающегося академического словаря, что, конечно, работу очень затрудняло. Словарь был закончен позже, в 1957 г., с помощью двух сотрудников, и до выхода словацкого академического словаря был самым полным собранием словацкого словарного состава. В начале пятидесятых годов А. В. Исаченко из первых своих студентов составил группу по составлению большого русско-словацкого словаря и выработал для нее (исходя из лексикографических работ Щербы) метод сопоставительной разбивки на значения; из этой группы позже был

создан словарный отдел, который снабдил Словакию полным набором словарей — но тогда Исаченко уже не было в Братиславе» [29. С. 121—122].

Судя по документам Архива УК, Исаченко начал свою преподавательскую деятельность в университете еще во время войны. В зимнем семестре 1944/45 г. он в качестве доцента 3 часа в неделю читал лекции и 2 часа вел семинарские занятия, постепенно заменяя В. А. Погорелова на кафедре русского языка и литературы, что было решено на Совете профессоров ФФ 24 ноября 1944 г. [23]. Этот процесс проходил не безболезненно. В письме П. Г. Богатыреву от 7 июля 1945 г. А. В. Исаченко в свойственной ему субъективно-эмоциональной манере писал: «Пригласили меня (в Братиславский университет.— М. Д.) с тем, чтобы присвоить мне звание профессора (экстраординарного), но местные фашисты сумели помешать моему назначению. В частности, на меня напал известный обскурант, старик Погорелов, да и министерство отказывалось утвердить меня. Теперь, наконец, профессура должна в ближайшее время осуществиться» [14. Ф. 1651. Оп. 1. Д. 317. Л. 1]. «С приходом А. В. Исаченко в Славянский семинар,— писал С. Шварговский,— значительно возрос интерес слушателей к русской филологии. На его лекции ходили главным образом те, которые проявляли интерес к системе современного русского литературного языка и к новейшей русской литературе, включая и советскую» [25. S. 260].

По свидетельству профессора МГУ А. Л. Сидорова, посетившего Братиславский университет в начале 1947 г., «студенчество русского отделения прекрасно говорит по-русски, знает хорошо русскую литературу» [31. Л. 15], что лишний раз говорит о педагогическом таланте А. В. Исаченко. В качестве экстраординарного профессора он преподавал в УК до 1955 г.

В 1945 г. А. В. Исаченко предпринял попытку репатриации. Видимо, его вдохновил пример профессора П. Г. Богатырева, вернувшегося в СССР накануне войны. Последнему он писал 7 июля 1945 г.: «Вы поймете мое стремление наконец вернуться на родину и включиться в общий процесс работы. Одной из главных причин моего приезда в Братиславу была надежда осуществить свой план еще тогда, но помешала война. Пока тут еще нет дипломатических представителей, так что я не мог еще подать заявление о своем желании вернуться в Советский Союз. Я это сделаю, как только здесь откроется генконсульство. Но Вы также поймете, что мне не хочется ехать наугад. Необходимо предварительно обеспечить себе работу по специальности, работу академическую и педагогическую, оформить свою заграничную квалификацию и т. д.». В СССР он предполагал продолжать работу «по лингвистическому славяноведению» или «по общей фонетике». «Помогите мне ориентироваться, дорогой Петр Григорьевич. Поговорите с лицами, которые могли бы мне помочь, укажите, куда и кому следует обратиться с просьбой поместить в советских научных журналах статью, посоветуйте, как мне легче всего будет войти в контакт с академиком Державиным, с академиком Обнорским, с профессорами Виноградовым, Бернштейном, Булаховским и др.» [14. Ф. 1651. Оп. 1. Д. 317. Л. 1об.].

Как развивались события дальше, нам неизвестно. Не исключено, что определенные надежды на возвращение в Россию не с пустыми руками он связывал также со своими сенсационными находками пушкинских материалов в Бродзянах. В архиве А. Л. Сидорова сохранился любопытный документ — заметка А. В. Исаченко «Документы пушкинской эпохи в Словакии», в которой он подробно рассказывал о своих посещениях Бродзян в мае 1945 г. (в сопровождении майора Н. Н. Вильяма-Вильмонта), а затем по поручению уполномоченного по делам школ и просвещения Словакии Л. Новомеского летом и осенью 1946 г. (в сопровождении ассистента Я. Ференчика). В записке указаны все наиболее интересные документы и материалы архива Гончаровых-Фризенгофов, касающиеся А. С. Пушкина и его семьи. К ней приложена фотокопия неизвестного стихотворения В. Жуковского. Вероятно, по совету А. В. Исаченко, А. Л. Сидоров поставил перед послом СССР в ЧСР Зориным и Л. Новомеским вопрос «о передаче

ценных материалов советскому правительству. Новомеский... ответил, что он рассматривает эту находку как дар словацкого правительства» [31. Л. 16]. В то время все документы, альбомы и портреты находились во владении руководимого Исаченко Русского семинара УК, а впоследствии послужили основой для созданного в Бродзянах музея. Однако, несмотря на казалось бы благоприятные обстоятельства, хлопоты учебного по возвращению на родину не увенчались успехом.

С именем Исаченко связана в Братиславе попытка организации Славянского института по образцу пражского в рамках Словацкой академии наук и искусств, председателем которого он был назначен. Первоначально здесь планировалось изучение словенской и сербохорватской драмы, а также реферирование научно-славистической публицистики и издание специального журнала, посвященного славянским вопросам, публикации научных и научно-популярных работ о славянском мире. Позднее в отчете о деятельности САНИ за первое полугодие 1949 г. указывалось: «В современной нашей жизни все более чувствуется потребность углубления знаний о научной жизни всех славянских народов, особенно о состоянии науки в СССР. Именно сейчас на первый план выступает важность создания Славянского института, главной задачей которого должна быть организация взаимных научных связей со славянскими народами, фиксация научного творчества и главным образом ознакомление с результатами научных исследований в других славянских землях отечественных специалистов, ознакомление славянских народов с современным состоянием науки у нас. Полем деятельности Славянского института является средствами науки изучать вопрос о научных связях славян в прошлом». Сведения для отчета, по-видимому, представил и сформулировал сам Исаченко, так как он был единственным штатным работником Института. Он объяснял отсутствие всякой деятельности Института «абсолютным недостатком помещения». Штатных работников предполагалось принять в Институт осенью 1949 г. Однако уже в отчете о работе САНИ за 1950 г. упоминание о Славянском институте отсутствует [32]. Остается только гадать, по каким причинам такой отвечающий тогдашним современным потребностям Институт был закрыт, так и не начав свою работу. Возможно, это связано с личностью его председателя, его отношениями с властями и нюансами современной политической ситуации в Словакии, вступившей на путь построения социалистического общества. Только обнаружение новых архивных документов может разрешить эту загадку.

Несмотря на заметную научную деятельность (с 1949 г. Исаченко стал директором созданного им Русского семинара в УК, «был в 1945 г. одним из инициаторов структуралистического Братиславского лингвистического кружка и отредактировал в 1948 г. его «Recueil Linguistique de Bratislava I»: он основал, редактировал и (почти сам писал журнал «Ruština v škole» и при академическом Институте языкознания создал отделение для написания крупного русско-словацкого словаря» [29. С. 118]), положение А. В. Исаченко в Словакии было сложным. Для этого были причины политического и научно-методологического свойства. На ЧСР как и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы была наложена тяжелая рука сталинского идейно-политического диктата. Ученый пытался проявить свою лояльность к новым властям вступлением в коммунистическую партию, имел на факультете репутацию человека левых взглядов [31. Л. 15]. Все это неизбежно нашло отражение в его работах того периода [29. С. 123]. Эта тенденция, по воспоминаниям коллег, проявлялась в читаемых в начале 50-х годов лекциях, когда было принято расхваливать «гениальные» лингвистические работы Сталина. Однако никакая идеология не могла у него как у ученого вытравить желание изучать языковые явления структуралистическими методами, казавшимися ему наиболее правильными с методологической точки зрения, на которые в ЧСР, по примеру СССР, в то время были признаны псевдонаучными. Л. Дюрович вспоминал: «...в тяжелых условиях 50-х годов, после того, как его книга „Грамматический строй русского языка в сопоставлении с сло-

вацким. Морфология. 1<sup>4</sup> была временно запрещена<sup>5</sup>, А. В. Исаченко перешел на философский факультет университета в Оломоуце, где стал заведующим кафедрой славянских языков» [29. С. 118]. Так завершилась многогранная деятельность А. В. Исаченко в Братиславе, которая еще ждет справедливой оценки со стороны чешских и словацких лингвистов, начатой С. Швагровским.

В дальнейшем ученый работал по совместительству в Оломоуце и Берлине, став в 1964 г. членом-корреспондентом АН ГДР. Именно здесь в период хрущевской «оттепели» он начал борьбу за реабилитацию фонологии, открыв дискуссию об актуальных проблемах ее развития [29. С. 122]. В 1965 г., когда в воздухе запахло «пражской весной», он принял предложение о месте заместителя директора Института языков и литератур ЧСАН. В роковом 1968 г. его избирают членом-корреспондентом ЧСАН. События августа 1968 г. застали его в Австрии в отпуске. Не признав оккупации, он принял приглашение Калифорнийского университета и оставался в Лос-Анджелесе до 1971 г. Затем перебрался в дорогой ему с юности Клагенфурт во вновь созданный там университет, начал издавать журнал «Russian Linguistics». Здесь и настигла его скоропостижная смерть 19 марта 1978 г., к глубокой скорби его коллег и учеников. Он так и не увидел сборника, напечатанного в честь его 65-летия.

По отзыву его близкого друга Л. Дюровича, «в лице А. В. Исаченко мы потеряли одного из крупных, многообразных личностей европейской науки. Он был синтезом нескольких важных культурных традиций: синтезом русской и средневропейской языковедческих традиций, синтезом русской научной и русской художественной традиций; синтезом русского интеллигента и западноевропейского интеллектуала» [29. С. 117]. И далее: «Он был многосторонним и полнокровным человеком, с десятком хобби, с неисчерпаемым запасом анекдотов, рассказов и речений, человеком, вокруг которого его окружение почти автоматически поляризовалось в убежденных противников и задушевных друзей. Он был истинно русским человеком, несмотря на территориальную удаленность глубоко и страстно связанным с духовными ценностями русского народа. Он был богом одаренным учителем, «magister patus», которого никогда не забудут тысячи его слушателей и десятки настоящих учеников в университетах Европы и Америки. Он был крупным ученым, одним из крупнейших славяноведов и русистов нашего времени; его работы во многом по-новому представляют все уровни русского языка от фонетики до семантики, в синхроническом и диахроническом преломлении. Он прочно вошел в круг самых видных исследователей русского языка» [29. С. 127].

Предложенные вниманию читателей этюды из жизни трех российских ученых, не претендуя на исчерпанность и полноту (здесь нужны дальнейшие архивные изыскания), все же показывают, что в 20—50-е годы все они в той или иной степени содействовали развитию славистики (главным образом русистики) в Словакии. В то же время горько сознавать, что многострадальная советская славистика в годы своего становления была лишена возможности использовать научный потенциал этих и многих других первоклассных специалистов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kudělka M., Šimeček Z., Štastný V., Večerka R. Československá slavistika v letech 1918—1939. Praha, 1977.
2. Сладек З. Русская и украинская эмиграция в Чехословакии // Советское славяноведение. 1991. № 6.
3. Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992.
4. Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы философии. 1991. № 12.
5. Перфецкий Е. Ю. Обзор угрорусской историографии // Известия ОРЯС, 1914. Т. 19; Ре-

<sup>5</sup> Имя Исаченко в ЧССР долго находилось под запретом. В справочнике о профессорах УК не указан список его трудов (1966) [30], а в био-библиографическом словаре чехословацких славистов (1972) нет о нем никакого упоминания [10].

- лигиозное движение в XVI и в начале XVII ст. в Угорской Руси//Известия ОРЯС. 1915. Т. 20; Печатная церковно-славянская книга Угорской Руси в XVII—XVIII вв.//Известия ОРЯС. Т. 16, 21; Угорська Русь в XVII ст.//Україна. 1917. Кн. 3—4; Йоанникий Базилевич та його Brevis poititia//Наше минуле. Київ, 1918. Кн. 2; и др.
6. Государственный архив г. Киева. Ф. 16. Оп. 465. Д. 1307. Л. 61.
  7. Archiv Univerzity Komenského v Bratislavě. Fond Personalia.
  8. *Perfekij E. J.*-rt- + Mag. historie Eugen Julianovič Perfekij//Historický sborník. 1947. № 3—4.
  9. *Perfekij E. J.* Dvě stati k dějinám Podkarpatské Rusi//Sborník filozofickej fakulty UK. 1922. № 6; Přehled dějin Podkarpatské Rusi//Podkarpatská Rus. Praha, 1923; Василий Тарасович, епископ мукачевский//Науковий збірник товариства «Просвіта». Ужгород, 1923, Т. 2; Hlavné vývojové stupne v cirkevných dejinách Podkarpatskej Rusi//Prúdy. 1924. № 1; Boj za nábožensku a národnú samostatnosť cirkve Podkarpatskej Rusi na začiatku XVIII. stor//Prúdy. 1924. № 3; Sociálně-hospodářské poměry Podkarpatské Rusi ve století XIII—XV. Bratislava, 1924; Podkarpatské a halickoskoruské tradice o králi Matiašovi Corvinovi — Sborník filozofickej fakulty UK, 1926, № 42 и др.
  10. Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů do roku 1760. Praha, 1972.
  11. *Досталь М. Ю.* Проблемы закарпатского национального возрождения XIX в. в трудах ученых российского зарубежья (Чехословакия 1919—1939)//Доклад на конференции в Ужгороде в 1990 г. Рукопись (в печати).
  12. Отдел рукописей Центральной научной библиотеки (Київ). Ф. 46. № 543. Л. 20б.
  13. *Perfekij E. J.* Die Oratovizer Annalen. Eine böhmisch-mährische Kompilation//Jahrbücher für die Kultur und Geschichte der Slaven. Breslau, 1927. Bd. 3. Hft. 1; Die deutsche Quelle der Szawer Chronik//Archiv für slavische Philologie. Berlin, 1925. Bd. 10. Hft. 1—2; Перемишльський літописний кодекс в складі польської хроніки Яна Длугоша//Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 1928. Т. 147, 148; Historia Polonica J. Długosze a ruské letopisectví. Praha, 1932; Historia Polonica J. Długosze a německé letopisectvo. Bratislava, 1940 и др.
  14. Архив РАН.
  15. *Перфецкий Е. Ю.* Русские летописные своды и их взаимоотношения. Братислава, 1922.
  16. С.-Петербургский филиал Архива РАН (ПФААН).
  17. *Slavík J.* Труды Института славяноведения//Slovanský přehled. 1933. № 7. S. 211.
  18. *Slavík J.* Dnešní stav sovětské vědy//Slovanský přehled. 1933. № 3—4. S. 65—71.
  19. *Perfekij E.* Nečajevsčina r. 1867. Predchodca ruského bolševizmu//Prúdy. 1927. № 1.
  20. Труды Института славяноведения. Л., 1934.
  21. *Погорелов В. А.* Библиотека московской синодальной типографии. М., 1899—1903.
  22. Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979.
  23. Archiv Univerzity Komenského v Bratislavě. Fond: Personalia. Pogorelov V. A.
  24. *Погорелов В.* Опис на старите български печатани книги 1802—1877. София, 1923.
  25. *Švagrovský Št.* Vznik a rozvoj slovanskej jazykovedy na Univerzite Komenského (Na 70. výročie vzniku UK)//Slavia Slovaca. R. 24. 1989. № 3.
  26. Literární archív Národního muzea. Památník Národního písemnictví. Praha.
  27. Archiv Univerzity Komenského v Bratislavě. Fond: Rektoratu UK. Karton 84.
  28. *Погорелов В. А.* Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы//Sborník filozofickej fakulty UK, 1925—1927. I—III. O národnosti apoštolov Slovanstva. Bratislava, 1927; Написания греческих слов в кирилло-мефодиевском переводе Евангелия//Slavia, 1928—1929; Михаил Лучкай и его Grammatica Slavo-Ruthena//Карпатский свет. Ужгород, 1930. № 3—4; На каком языке были написаны так называемые Паннонские Жития?//Byzantinoslavica. 1932; Чешские продолжатели кирилло-мефодиевской литературной традиции//Известия на Българска академия на науките. София, 1936; Karpatoruské štúdie I—II//Sborník filozofickej fakulty UK. 1939; Importance de la forme des mots grecs dans la tradition Cyrillo-Méthodienne//Studi bizantini a neolinnici. Poma, 1939 и др.
  29. *Дюровиц Л.* Александр Васильевич Исаченко (1910—1978)//Russian linguistics. 1979. № 4.
  30. *Isačenko A. V.*//Univerzita Komenského. Prehľad profesorov. 1919—1966. Prehľad pracovísk. 1919—1948. Bratislava, 1968.
  31. Отдел рукописей РГБ. Ф. 632. К. 80. Ед. хр. 3.
  32. Ustredný archív Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Fond SAVU. Sign. A—01.



АКСЕНОВА Е. П.

ИНСТИТУТ им. Н. П. КОНДАКОВА:  
ПОПЫТКИ РЕАНИМАЦИИ  
(по материалам архива А. В. Флоровского)

В вышедшей в 1992 г. книге В. Т. Пашуто «Русские историки эмигранты в Европе» [1] специальный раздел посвящен судьбе Семинара им. Н. П. Кондакова в Праге, «одной из наиболее респектабельных и значительных» русских заграничных научных организаций [1. С. 32]. Вслед за автором книги коротко остановимся на основных вехах истории Семинара.

В 1925 г., после смерти Н. П. Кондакова<sup>1</sup>, известного историка искусства и археолога, ученики Кондакова создали Семинар его имени, решив продолжить дело учителя и издать его наследие. На заседаниях Семинара и на страницах издаваемых им трудов («*Seminarium Kondakovianum*») были представлены исследования по истории русского и византийского искусства, археологии и истории. Издание сборников осуществлялось довольно регулярно (за 1927—1940 гг. вышло 11 томов, с девятого тома сборники носили название «*Annales de l'Institut Kondakov*»). С самого начала издание замыслилось как международное; в первых двух томах принимали участие и советские ученые<sup>2</sup>. Семинар пользовался финансовой поддержкой со стороны Президента ЧСР Т. Масарика, Министерства просвещения и Славянского института в Праге. В октябре 1931 г. Семинар был преобразован в Институт [2. Д. 440. Л. 2]. В период экономического кризиса 30-х годов положение Института ухудшилось, материальная помощь сократилась, возникла даже мысль о перенесении деятельности в Америку, но более реальным оказался план перевода Института в Белград (где в 1940 г. был издан последний том «*Анналов*»). Там под патронатом регента Югославии князя Павла и при финансовой поддержке югославского Министерства просвещения образовалось как бы отделение Института во главе с Г. А. Острогорским<sup>3</sup> (в то же время дела Института и его имущество в Праге не были ликвидированы; туда вновь были переданы оставшиеся документы и книги, уцелевшие после бомбежки здания Института в Белграде в 1941 г. [1. С. 249]). Во время войны деятельность Института не замерла полностью, но труды не печатались, подлинно научные доклады стали редкостью, зачастую они подменялись выступлениями дилетантов.

Аксенова Елена Петровна — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Кондаков Никодим Павлович (1844—1925) — профессор Петербургского университета, академик (с 1898 г.). В эмиграции — профессор Софийского, затем Карлова университета в Праге.

<sup>2</sup> О причинах прекращения их сотрудничества в этом издании см. [1. С. 42].

<sup>3</sup> Острогорский Георгий Александрович (1902—1976) — византист, приват-доцент университета в Бреслау (Вроцлаве), профессор Белградского университета, действительный член Сербской Академии наук. В декабре 1946 г. получил советское гражданство.



С момента возникновения Института и до его ликвидации им руководили А. П. Калитинский<sup>4</sup>, Г. В. Вернадский<sup>5</sup>, А. А. Васильев<sup>6</sup>, Н. П. Толль<sup>7</sup>, Н. Е. Андреев<sup>8</sup>, А. В. Флоровский<sup>9</sup>.

На долю последнего директора Института, А. В. Флоровского, выпала нелегкая задача — в послевоенные годы восстанавливать почти угасшую деятельность Института и возобновлять издание его трудов. В книге В. Т. Пашуто отмечены основные шаги, предпринятые Флоровским в этом направлении. Материалы же архива А. В. Флоровского, особенно его обширная переписка, позволяют дополнить краткий обзор истории Института на последнем этапе его существования, внести в общую картину конкретные детали, представить себе реальные возможности воссоздания Института и его печатного органа, погрузиться в атмосферу русской эмигрантской науки тех лет.

А. В. Флоровский возглавил Институт им. Н. П. Кондакова после того, как Н. Е. Андреев уехал из Чехословакии (первоначально в Германию, а затем в Великобританию). В 1947 г. он стал заместителем председателя (К. Шварценберга<sup>10</sup>), а в 1948 г. — председателем правления Института. В руководство Института входили также А. А. Васильев и Н. П. Толль, жившие в США. Участие в делах Института принимал И. И. Мысливец<sup>11</sup>. Именно он сообщил Флоровскому в начале 1947 г. о готовящемся возобновлении деятельности Института и просил его содействия в собирании материалов для нового сборника. В письме Шварценбергу от 26 февраля 1947 г. Флоровский сообщил о своем согласии включиться в дело возрождения Института:

«Это обращение (И. И. Мысливца.— Е. А.) побудило меня заинтересоваться некоторыми подробностями о положении Института в настоящее время...

Как ученый — я всегда был, емь и буду сторонником живой и активной исследовательской и издательской работы. И в этом смысле я — как и ранее — всегда готов всемерно содействовать интересам Института Кондакова». Флоровский считал, что, выяснив «новые условия жизни Института», можно будет «приложить нашу общую — накопленную за время вынужденного „бездействия“ — энергию к делу обновления Института» [2. Д. 110. Л. 1, 2].

В 1946 г. Флоровский получил советское гражданство [2. Д. 72. Л. 3] (хотя до конца жизни оставался в Праге). Вероятно, это обстоятельство в сочетании с тем, что ученый по возможности следил за развитием советской исторической науки (см. [3]), а в послевоенные годы и печатался в советских изданиях [4], способствовало тому, что Флоровский, думая о возобновлении деятельности Института, соизмерял его задачи с задачами, стоявшими перед византиноведами СССР. Как только родилась мысль о восстановлении Института, руководство создаваемого научного центра обратилось в АН СССР с целью установить научные и деловые контакты [1. С. 39], что было, по словам Флоровского, «вполне естественно для русского ученого учреждения за границей после уничтожения прежних формальных и реальных преград между русскими организациями по обеим сторонам советско-русской границы». Флоровский считал, что этим обращением «Институт выразил свою готовность и охоту поставить свою будущую деятельность в соответствие учено-орга-

<sup>4</sup> Калитинский А. П. — археолог.

<sup>5</sup> Вернадский Георгий Владимирович (1887—1973) — историк древней Руси и Византии, приват-доцент Петроградского, профессор Пермского и Таврического университетов. В 1922—1927 гг. — преподаватель Русского юридического факультета в Праге, с 1927 г. — профессор Йельского университета (США).

<sup>6</sup> Васильев Александр Александрович (1867—1953) — доктор всеобщей истории, профессор Петербургского и Юрьевского университетов и др. В 1925 г. эмигрировал в США, профессор Висконсинского университета.

<sup>7</sup> Толль Николай Петрович (1894—?) — археолог, искусствовед, доктор философии Карлова университета в Праге, в 1938 г. переехал в США.

<sup>8</sup> Андреев Николай Ефремович (1908—1982) — доктор философии Карлова университета, с 1948 г. — магистр, затем профессор Кембриджского университета (Великобритания).

<sup>9</sup> Флоровский Антоний Васильевич (1884—1968) — историк России и славянства, а также русско-славянских отношений, профессор Новороссийского университета (Одесса). Выслан из России в 1922 г. С 1923 по 1968 г. в Праге — профессор Русского юридического факультета и Русского народного (свободного) университета, Карлова университета, член Славянского Института, Русского исторического общества.

<sup>10</sup> Шварценберг Карел — князь, как любитель занимался археологией, геральдикой, оказывал Институту финансовую поддержку.

<sup>11</sup> Мысливец Иозеф (Иосиф Иосифович) (1907—1971) — доктор права, преподавал на юридическом и философском факультетах Карлова университета историю византийского и восточнославянского искусства, член Русского исторического общества в Праге.

низационным видам высшего органа русской науки — Академии наук СССР — и работать впредь в направлении и в формах, какие будут установлены предстоящим соглашением» [2. Д. 110. Л. 1об.].

В письме Острогорскому (5 марта 1947 г.) Флоровский сообщал:

«На днях меня ввели в качестве заместителя председателя в состав Правления Института Кондакова (председатель — кн. К. Шварценберг). Я еще вошел в это дело и знаю только со стороны нынешние злобы дня Института. В ближайшее время мне придется серьезно ориентироваться в этих делах. Я считаю своим долгом в связи с этим прежде всего войти в ближайшее общение с Вами, осведомить Вас об этих делах и просить Ваших советов и указаний, — как ближайшего деятеля и руководителя Института, и первого крупнейшего специалиста в его составе, и председателя его редакционного совета. Вы, конечно, знаете, что в последнее время в жизни Института произошли личные перемены, — Н. Е. Андреева здесь нету<sup>12</sup>. С другой стороны, Институт как русское учреждение ... год назад обратился в Академию наук СССР с предложением ближайшего контакта и согласования работы. Ответа Институт еще не имеет и ждет его в ближайшее время в связи с предстоящим приездом в Прагу академиков Б. Д. Грекова и В. И. Пичеты. Однако посольство СССР держит над Институтом неформальную охранную руку и поддерживает в нем часть советских граждан, какин с декабря 1946 г. являюсь и я» [2. Д. 72. Л. 2—3].

Флоровский не мог не поделиться с коллегой и своими переживаниями по поводу неожиданно возникших осложнений в отношении Института Кондакова со Славянским институтом в Праге: «Между тем имеется налицо известное напряжение вокруг вопроса о соотношении между Институтом Кондакова и Славянским институтом, в частности его византологической комиссией, возглавляемой сейчас проф. Пашловой<sup>13</sup> и Окуневичем<sup>14</sup>. Как Вы знаете, Славянский институт даже имел в виду известное организационное подчинение себе Института Кондакова. Это стремление обостряется теперь в связи с тем, что редакция «Byzantinoslavica»<sup>15</sup> опасается конкуренции со стороны Института Кондакова в деле публикации ученых трудов. Известный Вам, конечно, доклад Мысливца начал было развивать энергичную деятельность по подготовке возобновления изданий Кондаковского Института. Это несколько (далее неразборчиво. — Е. А.) приоритет Славянского Института и византийской комиссии, которая рада была бы осуществить слияние Института Кондакова с нею!» [2. Д. 72. Л. 3—4].

Флоровский считал, что этого следует избежать, но в то же время необходимо не доводить дело до конфликта с чешскими учеными и Славянским институтом: «Я решительный и бесповоротный противник каких бы то ни было конфликтов и неприязней». Он собирался приложить все силы к тому, чтобы «найти надежнук и прочную почву для нейтрализации спора», хотя понимал, что это будет нелегко, и потому хотел опереться в этом деле на авторитет Острогорского, просил его приехать в Прагу, чтобы помочь в разрешении спорных вопросов о судьбе Института Кондакова [2. Д. 72. Л. 5—5 об.].

В том же письме поднималась другая важная тема — о возобновлении издания трудов Института. Инициатива, как видно из письма, принадлежала Мысливцу, а Острогорский предложил объединить материалы очередного двенадцатого тома «Анналов»<sup>16</sup> темой «Кочевники, Византия и славяне». Став позднее горячим поборником продолжения издания «Анналов», Фло-

<sup>12</sup> Далее в тексте зачеркнуто: «в этом смысле произошел разрыв преемства».

<sup>13</sup> Паулова (Пашлова) Милада (1891—1970) — византист и славист, доктор философии, профессор исторического семинара Карлова университета, сотрудник редакции «Byzantinoslavica», член Чешской Академии наук, литературы и искусства.

<sup>14</sup> Окунев Николай Львович (1886—1949) — историк искусства, ученый секретарь Русского археологического института в Константинополе, доцент Петербургского, профессор Новороссийского университетов, профессор археологии и истории искусств в Скопье, профессор истории византийского и восточнославянского искусств философского факультета Карлова университета.

<sup>15</sup> Byzantinoslavica. Revue internationale byzantologique de l'Institut Slave de Prague.

<sup>16</sup> После выхода в Белграде одиннадцатого тома «Анналов» (1940) был начат сбор материалов для следующего тома. Видимо, возникла идея выпустить сборник в связи с 70-летием М. И. Ростовцева (1870—1952, археолог, историк античности, профессор Петербургского университета, эмигрировал в 1918 г., профессор Йельского университета). Сообщая об этом Флоровскому, секретарь Института Кондакова Д. А. Расовский (1902—1941, доктор философии Карлова университета, в 1938 г. переехал с Институтом Кондакова в Белград) писал 21 января 1941 г., что сборник, посвященный Ростовцеву, «сейчас было бы невозможно издать, так как имя Ростовцева, обязывало бы к привлечению ученых из всех стран, а пока длится война — это невозможно» [2. Д. 383. Л. 8]. В письме Острогорского Флоровскому (17 сентября 1947 г.) говорится об издании в Белграде в 1941 г. «Заметок о „Слове о полку Игореве“», посвященных памяти Д. А. Расовского, [2. Д. 349. Л. 12 об.], а в списке трудов А. В. Соловьева (1890—1971, окончил Варшавский университет, с 1947 г. — декан юридического факультета Сараевского университета, в 1953—1960 гг. — профессор Женевского университета) есть указание на двенадцатый том «Анналов», вышедший в Белграде в 1941 г., и на второй выпуск «Заметок к „Слову о полку Игореве“» (Белград, 1941) [1. С. 168]. Скорее всего, двенадцатый том представлял из себя первый выпуск «Заметок». В письме А. В. Соловьеву (20 апреля 1948 г.) Флоровский также напоминал об этом сборнике [2. Д. 86. Л. 1 об.]. Однако после войны, когда было решено собирать материалы для очередного тома «Анналов», он уже, видимо, не воспринимался как часть этого издания.

ровский сперва с осторожностью высказывался по поводу возможности его осуществления, считая, что сначала нужно решить вопрос принципиально, определив, своевременно ли издание вообще.

«Нужно не раз подумать,— писал он,— как сочетать этот план с подобными же планами Праги и особенно Москвы. ... Сборник Института должен отвечать и своим составом, и своим кругом сотрудников современной общей ориентации русской византистики ... Само собой разумеется, Прага примет все меры к тому, чтобы привлечь к участию в Сборнике и ученых из Сов[етской] России. В этом я лично просил бы Вас нам помочь при Ваших сношениях с Москвой» [2. Д. 72, Л. 3 об.— 4 об.].

Решение об издании сборника Института предполагалось принять на заседании правления Института во второй половине марта 1947 г.

«К этому времени,— писал Флоровский,— я надеюсь уже иметь и отклик из Академии наук СССР, и Ваше мнение. К тому же рассчитываю ослабить личными переговорами и возможную настроенность со стороны Слав[янского] Института и его византистов» [2. Д. 72. Л. 6 об.].

Далее Флоровский определял специфику сборника Института Кондакова и его отличия от изданий Славянского института:

«Отмечу, кстати, что «Byzantinoslavica» в будущем будет иметь иной характер, чем раньше, это будет прежде всего сборник рефератов, отзывов, обзоров, хроник и т. д. В этом смысле — казалось бы — наш Сборник не смог бы представлять никакой конкуренции, ибо у нас эти отделы не имели никогда самостоя[тельного] значения, да при неперспективности Сборника и иметь его никак не могли. Поэтому с редакцией „Byzantinoslavica“ мы постараемся точно и полностью размежеваться, и я лично приму все меры к тому, чтобы войти с нею в дружеский союз и связь взаимодействия и исключить всякую тень соперничества. ... Конечно, издание нашего Сборника не могло бы быть осуществлено ранее будущего 1948 г., а к тому времени „Byzantinoslavica“ будет уже иметь опыт с 2—3 книжками» [2. Д. 72. Л. 6—7].

В ответном письме (18 марта 1947 г.) Острогорский выразил свое сочувствие тем, кто пытался возродить Институт, но в то же время очень осторожно, стараясь не обидеть, высказал сомнения относительно своевременности подобного начинания. Он отказался от приезда в Прагу, считая, что у Флоровского вполне хватит «опыта и такта и знания местных условий», чтобы принять правильное решение о судьбе «Анналов», но вместе с тем напомнил, что в Советском Союзе возрождается «Византийский временник», а в Праге сборники «Byzantinoslavica» «превращаются в чисто византиноведческий орган, горят желанием развиваться и увеличивать свой удельный вес и, несомненно, будут еще более рснвивы. [...] Во всяком случае, непременным условием, и мне кажется, должно было бы быть некое мирное и полюбовное разграничение [с] Byzantinosl[avica] и — еще более непременным — участие советских ученых» [2. Д. 349. Л. 8—8 об.].

Переговоры с советской стороной, видимо, шли успешно, так как 17 сентября 1947 г. Острогорский писал Флоровскому:

«Письмо от Президиума Академии наук СССР<sup>17</sup>, о кот[ором] Вы мне сообщаете, конечно, очень благоприятно и очень меня обрадовало. Несомненно, оно является существенной поддержкой для продолжения деятельности Института и даже для издания Сборника, хотя, по правде сказать, я не очень верю в осуществимость таких планов при существующем личном составе» [2. Д. 349. Л. 10].

Решение правления Института Кондакова относительно продолжения издания «Анналов», судя по всему, было положительным, и Флоровский энергично принялся собирать авторский коллектив двенадцатого тома. В разные страны полетели письма Флоровского к коллегам, членам Института Кондакова (которые, к сожалению, уже не представляли единого сплоченного кружка — они были рассеяны по свету и решали свои индивидуальные научные проблемы). 18 июля 1947 г. он сообщил об оживлении работы Института и перспективах издания «Анналов» Г. В. Вернадскому, жившему в Америке. В ответном послании (30 июля 1947 г.) Вернадский писал:

«Очень рад был узнать ... что Кондаковский Институт возобновляет свою деятельность и что предполагается возобновить издание Сборника. Я рад буду принять участие в Сборнике, но не могу ничего обещать раньше, как к 1 января. Николаю Петровичу (Толлю.— Е. А.) я передам Ваше письмо, пусть уж он сам ответит. М. И. Ростовцеву, говорят, лучше. Вряд ли он возьмется что-нибудь написать, но, я думаю, ему не будет неприятно, если Вы ему предложите сотрудничать, так что, я думаю, Вам это нужно сделать. Что касается плана Сборника, мне кажется, в общих чертах его можно определить как «Кочевники, Византия и славяне». Между прочим, если Вы еще не пригласили сотрудничать А. Н. Грабаря<sup>18</sup>, советую

<sup>17</sup> Это письмо в Архиве РАН пока обнаружить не удалось.

<sup>18</sup> Грабар (Грабарь) Андрей Николаевич (1896—1990) — историк искусства, византист, профессор College de France.

написать ему поскорее. Он в начале лета был в Нью Гевене (New Haven — Е. А.) и говорил мне, что работает теперь над историей культурного взаимодействия Византии и кочевников» [2. Д. 171. Л. 30].

Флоровский воспользовался этим советом. Очень занятой и проводивший много времени в поездках по разным странам, Грабар тем не менее с радостью откликнулся на предложение Флоровского об участии в издании Института (письмо от 27 октября 1947 г.):

«Конечно, я сделаю все, что можно, чтобы прислать статью для *Анналов Кондаковского Института*. Можете на меня рассчитывать. Но боюсь еще назвать сюжет этой будущей статьи и срок, к которому она будет готова. Буду стараться сдать Вам этот материал в начале 1948 года» [2. Д. 195. Л. 1].

Однако работа в качестве секретаря комитета по подготовке Международного конгресса византинистов (1948), а также поездки в Италию и Англию отодвинули написание статьи на лето 1948 г.; тогда же определилась и ее тема: иконография Покрова [2. Д. 195. Л. 2]. Из иностранных ученых, которые могли бы участвовать в «*Анналах*», Грабар предлагал известного датского археолога Е. Duggve, почетного доктора Белградского университета, занимавшегося, наряду с другими темами, «архитектурой на Балканах в конце антика и в начале средних веков» [2. Л. 195. Л. 1—1 об.].

Через Г. В. Вернадского А. В. Флоровский обращался к Н. П. Толлю и А. А. Васильеву. Вот что сообщал Вернадский по этому поводу своему корреспонденту:

«Ваше письмо Николай Петрович (Толль.— Е. А.) мне вернул без всякого сопроводительного письма. Не знаю, написал ли он Вам.

Мне пришлось в голову, что было бы очень хорошо, если бы Вы пригласили сотрудничать в *Кондак [овском] Сборнике В. Ф. Минорского*» (письмо от 3 августа 1947 г.) [2. Д. 171. Л. 31].

«На Н. П. Толля никак повлиять не могу, Васильеву же пишу. Вчера я видел Н. Н. Мартиновича<sup>20</sup> (также бывшего участника *Кондаковских сборников*) и сообщил ему Ваш адрес. Он собирается прислать Вам статью» (письмо от 23 октября 1947 г.) [2. Д. 171. Л. 32].

«Письмо Ваше Н. П. Толлю отправляю немедленно. Не знаю, ответил ли он Вам. Убеждать его не берусь — Вы знаете его характер. А. А. Васильеву я писал еще по получении предыдущего Вашего письма. Он ответил, что у него есть материалы для статьи, но что если он эту статью напечатает, то скажут, что Васильев из старости лет занялся порнографией, поэтому он ее не станет писать, а другого у него ничего нет. Что меня касается, я пока ничего не успел написать [...] раньше апреля моя статья для *Кондак [овских] Анналов* никак не может быть готова (хочу написать о русско-византийских отношениях XI века). Боюсь, что это будет уже поздно? Единственно, что могу предложить сразу — это перевести на русский язык и прислать Вам свою статью „The Rus' in the Crimea and the Russo-Byzantine Treaty of 945“, но она уже была напечатана в сборнике *Byzantina-Metabyzantina. I.* (New York, 1946). Сборник этот, однако, очень мало известен, к тому же оттисков мне не дали, т[ак] что фактически мало кто мою статью знает. Все же не знаю, удобно ли это было бы?» (письмо от 3 января 1948 г.) [2. Д. 171. Л. 33].

Наконец, 6 января 1948 г. откликнулся и Н. П. Толль, но ответ его был не слишком утешительным:

«Очень был обрадован, получив Ваше письмо. Желаю Вам всякого успеха и надеюсь, что обстоятельства позволят восстановить *Анналы*. Надеюсь, что Г. А. Острогорский поможет Вам. Я очень рад, что Вам удалось восстановить Институт.

Мне очень трудно сейчас обещать статью к сроку, поэтому не ждите меня, с Ал. Ал. Васильевым поговорю при встрече и буду просить поддержать Вас» [2. Д. 440. Л. 4].

Через Г. В. Вернадского узнал адрес А. В. Флоровского Я. А. Бромберг<sup>21</sup>. Направляя в портфель «*Анналов*» статью «О месте задержания Андроника Комнена валахами»<sup>22</sup> (на английском языке), Бромберг писал 15 сентября 1947 г.:

<sup>19</sup> Минорский Владимир Федорович (1877—1966) — востоковед, первый секретарь и поверенный в делах русского посольства в Тегеране, преподавал в School of Oriental Studies Лондонского университета, профессор Кембриджского университета. В письме к Флоровскому от 18 ноября 1947 г. он предлагал перевод неизданного текста о Византии арабского автора Марвази [2. Д. 315. Л. 5].

<sup>20</sup> Мартинович Николай Николаевич — востоковед, жил в Нью-Йорке.

<sup>21</sup> Бромберг Яков Абрамович (1898—1948) — публицист и историк, с 1921 г. жил в Праге, окончил здесь Политехнический институт, в 1929 г. переехал в США.

<sup>22</sup> Острогорский по просьбе Флоровского прочитал статью Бромберга и высказал следующее мнение о ней: «Статья странная в том отношении, что посвящена она весьма мелкому вопросу, а для его решения (довольно гипотетического) приводит в движение такой аппарат учености, какого хватило бы на целую диссертацию... Однако в ней нет ничего, что заставляло бы возражать против ее напечатания. Напротив, все очень учено и солидно. Огромная библиография, хотя она тут и не совсем к месту, может быть полезна, как и многое другое» [2. Д. 349. Л. 13].

«Адрес Ваш мне сообщил Г. В. Вернадский вместе с радостной вестью о том, что предполагается возобновление этого издания. Два источника снабжения всякого издания — материальный и духовный — обыкновенно не совпадают топологически, и из здешних мест Вы ожидаете, наверное, снабжения совершенно другого рода. Но все настолько перемешалось и перепуталось в наше странное время, что ... и византинисты могут обрести и в прозаической Америке» [2. Д. 150. Л. 1]. О себе Бромберг сообщал следующее: «...Я прожил в Праге свыше 8 лет (1921—1929), многократно бывал на лекциях в Земгоре на Панской, в том числе и Ваших, но знать меня Вы никак не можете. Был членом евразийской группы, и П. Н. Савицкий — мой идейный учитель» [2. Д. 150. Л. 6].

В конце 1947 г. откликнулся из Загреба В. А. Мошин<sup>23</sup>. Выказанные в его письме от 4 декабря 1947 г. соображения во многом переключаются с мыслями о направлении «Анналов» самого А. В. Флоровского:

«Что касается Института, я всем сердцем приветствую его возрождение и верю, что с Вашим участием в Правлении Институт сможет возродиться и получить свое прежнее авторитетное значение и в византиноведении и в археологии. М[ожет] б[ыть], не все прежнее сотрудники отзовутся на первых порах, частью по невозможности сразу принять участие в работе, частью, м[ожет] б[ыть], по личным амбициям. Но этим, по-моему, не следует особенно смущаться. Начните скорее издание Анналов, а там снова появятся и прежнее участники. С своей стороны, хоть Вы меня и не спрашиваете, думаю, что не следовало бы радикально переклестаться на новую проблематику и в смысле подбора тем, и в смысле установки... А я с радостью приму участие или со статьёй по международным связям Руси в XI веке, или с работой по сфрагистике сербской или дипломатике. На критику и библиографию я бы не налегал, т. к. наши обзоры никогда не были полными и не смогут быть таковыми и т. к. этому посвящено особое внимание Византиноведения. Я бы даже библиографию вообще не вводил, а критику принял бы лишь постольку, поскольку она будет иметь не информационное, а научно-исследовательское значение» [2. Д. 322. Л. 19—19 об.].

Работа по собиранию материалов и формированию двенадцатого тома «Анналов» и в 1948 г. двигалась медленно. Сказывалась прежде всего разрозненность научных сил, которые Флоровский хотел объединить вокруг возобновляемого издания. Кроме того, к присылаемым для «Анналов» статьям он предъявлял одно непереносимое требование: они должны быть оригинальными, перепечатки из других изданий не допускались. Эта мысль не раз повторяется в его письмах. 1 февраля 1948 г. он писал Г. В. Вернадскому:

«Наши планы относительно издания двенадцатого тома Анналов Института Кондакова едва ли начнут осуществляться ранее весны, т. е. апреля месяца, поэтому мы сможем включить в этот том и ту Вашу статью, которая потребует еще некоторого времени. Вы правы, что было бы неудобно печатать в первом же томе по возобновлению издания статью, уже изданную в другом месте, хотя бы и на ином языке. Разве — в сильно переделанном и обновленном новыми данными виде. К сожалению, тот журнал, где Ваша статья напечатана о договоре 945 г., тут в Праге еще не появился, хотя я уже видел на него ссылки и в австрийском одном издании» [2. Д. 14. Л. 1].

В том же письме выражалось стремление увидеть сборник в текущем году:

«Мы несколько торопим сейчас авторов, обещавших нам статьи, чтобы все же не слишком затягивать дело. В этом 1948 году нужно непременно том выпустить. А. А. Васильев предложил мне статью о смерти и погребении Юстина. Я сейчас пишу ему о присылке этой статьи. Имею уже рукопись от Мошина по истории русско-византийских отношений в XI в. в связи с Евпраксией Всеволодовной»<sup>24</sup>.

Н. П. Толль ответил мне точно: по получении моего письма, но статьи не обещает, по крайней мере в скором времени» [2. Д. 14. Л. 1].

А. В. Флоровский рассчитывал также на статью своего брата Георгия<sup>25</sup>, полагая, что «скорее всего это будет глава из его книги о святой Софии» [2. Д. 65. Л. 1]. А. В. Флоровский хотел, чтобы объем первого сборника «Анналов» был 10—12 листов [2. Д. 13. Л. 2].

Через брата А. В. Флоровский узнал, что преподаватель Trinity college в Кембридже, доктор Дм. Оболенский, занимается историей богомилства и просил его в письме от 1 февраля 1948 г. прислать для «Анналов» статью

<sup>23</sup> Мошин Владимир Алексеевич (1894—1987) — с 1921 г. жил в Югославии, преподавал историю в гимназии, приват-доцент Белградского университета, сотрудник Института истории Сербской Академии наук (с 1947 г.), директор Архива Югославянской Академии наук и искусств в Загребе; возглавлял Археографический отдел Национальной библиотеки Сербии, работал в Государственном архиве Македонии; академик Македонской академии наук (с 1971 г.).

<sup>24</sup> Кроме того, В. А. Мошин прислал заметку о деятельности Института Кондакова [2. Д. 322. Л. 23].

<sup>25</sup> Флоровский Георгий Васильевич (1893—1979) — философ, богослов, приват-доцент Новороссийского университета. В 1920 г. эмигрировал в Прагу. Преподаватель Богословского института в Париже, профессор Семинарии св. Владимира в Нью-Йорке, профессор Гарвардского университета.

«по этому сложному и интересному вопросу культурной истории славянской и греко-славянской» [2. Д. 71. Л. 1]. В ответном письме (24 марта 1948 г.) Оболенский, благодаря за приглашение к сотрудничеству, объяснял, что у него по этой теме все напечатано; можно было бы углубиться в такие вопросы, как «история Патаренов в Боснии и проблема возможного проникновения богомилства в Россию», но на их разработку нет времени. Таким образом, для первого сборника он не сможет дать статью, хотя не исключает возможности своего участия в «Анналах» в будущем [2. Д. 341. Л. 1].

С предложением принять участие в сборнике Флоровский обратился и к члену Института Кондакова в Белграде Д. Н. Анастасиевичу<sup>26</sup>. Разъясняя направленность издания, Флоровский подчеркивал близость научных интересов Анастасиевича и Института, а также и покойного Н. П. Кондакова, «а в круг его интересов входили и археология Балканского полуострова вообще, классические древности и искусство». В связи с этим Флоровский просил Анастасиевича в письме от 3 июля 1948 г.:

«Если бы у Вас была сейчас наготове какая-нибудь работа — небольшая и посвященная древностям Вашего края — Босны, но сколько-нибудь общего, не ограниченно-локального интереса, — пришлите ее для очередного тома Анналов... У нас уже имеется ряд статей — Соловьева, Мошица, Вернадского, Грабара, общана и статья Васильева, кроме того, статью дал Тельбот-Райс<sup>27</sup> и др.» [2. Д. 2. Л. 2].

В ответе Анастасиевич поблагодарил за приглашение к участию в работе Института и сотрудничеству в «Анналах», но принять его отказался из-за того, что «почти совсем потемнели глаза» [2. Д. 117. Л. 2].

С надеждой на сотрудничество обратился А. В. Флоровский и к А. В. Соловьеву. В письме от 20 января 1948 г. Соловьев приветствовал возобновление деятельности Института и благодарил за приглашение быть в числе авторов двенадцатого тома «Анналов», сообщая, что у него готова статья о вероучении боснийских богомилов, но он хотел бы оставить за собой право публикации своих работ одновременно и в других изданиях [2. Д. 413. Л. 15—15 об.]. Флоровский не мог на это пойти. Отвечая ему, Соловьев писал 18 мая 1948 г.:

«Мне очень жаль, что Вы отвергаете мое „Вероучение боснийских богомилов“, если оно появится и в „Раде югославянской Академии“. Это руководящая, даже немного „сенсационная“ статья, и круг читателей был бы различный. Но у Вас свои соображения. Могут быть что-либо иное, например, о богомильских надгробных памятниках (тут новость, что они своеобразно признавали и толковали крест), но предупреждаю, что и это войдет в мою книгу, которая, конечно, появится в Сараеве не раньше весны» [2. Д. 413. Л. 16].

Вопрос об оригинальности статей Флоровский считал принципиальным. Отстаивая свою позицию, он пояснял (письмо от 20 июня 1948 г.):

«...Мы ведь возобновляем старое издание с твердыми традициями и при этом при обстоятельствах, когда можно встретить суровую критику и осуждение за каждый промах в редакционном отношении. Поэтому я так и настаиваю на оригинальности статей... В частности, я очень рад был бы получить от Вас что-либо новое о богомилстве, особенно еще в связи с вопросами материальной культуры — об отношении богомилов к кресту и т. д. [...] А не нашлось ли бы у Вас что-либо о самом „Слове о полку Игореве“ для Анналов наших? Я не исключаю возможности того, что можно было бы подготовить новый небольшой выпуск сборника о Слове, подобный тому, что издан был Институтом Кондакова в Белграде в 1941 году» [2. Д. 86. Л. 1—1 об.; 5].

Соловьев сообщил Флоровскому, что послал ему статью «Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“», которую, правда, передал при личной встрече и Б. Д. Грекову для опубликования в СССР. Статья была опубликована в «Исторических записках» [6], и потому для «Анналов» Соловьев прислал статью «Вопрос о двух редакциях „Задонщины“» [2. Д. 413. Л. 20, 23]. В письмах 1948—1949 гг. Соловьев постоянно интересовался, как обстоят дела с изданием «Анналов» [2. Д. 413. Л. 18 об.,

<sup>26</sup> Анастасиевич Дмитрий Николаевич — профессор Богословского факультета Белградского университета.

<sup>27</sup> По традиции возобновляемое издание должно было сохранить международный состав участников. Исследователь из Эдинбурга, профессор Дэвид Телбот-Райс (David Talbot-Rice) прислал для «Анналов» статью «The leaned Cross», которую затем передал в редакцию «Byzantinoslavica» [2. Д. 327. Л. 1; Д. 353. Л. 9]. Из Рима прислал рукопись на немецком языке Г. Гофман [2. Д. 327. Л. 3].

19 об., 21, 22]. Он также спрашивал, не подойдет ли для первого номера возобновляемых «Анналов» некролог А. Л. Погодина<sup>28</sup>. На это Флоровский отвечал 20 июня 1948 г.:

«Но дело в том, что я сомневаюсь в возможности дать в первом же томе «Анналов» по их возобновлению что-либо сверх специальных статей. Для второго тома я этого не исключаю, но первый едва ли может включать и хронику ученой жизни. Ведь надо бы так многих помянуть, что не лучше ли пока что от этого воздержаться?» [2. Д. 86. Л. 1 об.].

В другом письме, от 1 июля 1948 г., Флоровский напоминал, что для некрологов отводится специальное место в «Byzantinoslavica», а «Анналы» должны быть чисто научным изданием, без хроники [2. Д. 86. Л. 2 об.].

«Передо мной другой вопрос: как-то нужно отметить в очередном томе факт исполнения столетия со дня рождения Кондакова и Успенского<sup>29</sup>. Я и тут воздержался бы от некрологов и статей и ограничился бы вступительными строками к тому с оговоркой о потерях Института и о его „юбилярах“ — Кондакове и др.» [2. Д. 86. Л. 3 об.].

Через А. В. Соловьева установил с А. В. Флоровским связь член Института Кондакова Д. Н. Сергеевский<sup>30</sup>.

«Нельзя не порадоваться, — писал он 25 июня 1948 г., — что это выдающееся издание возобновляется. Перед самой войной покойный Д. А. Расовский предложил мне принять в нем участие, на что я с большой радостью согласился. Конечно, я — классический археолог, и тут могли бы подойти статьи только по подлессантичному времени (я предполагаю, что А. К. (Annales Kondakoviani — E. A.) будут издаваться по старой программе). А сейчас как раз я начал интересоваться главным образом археологией этого периода, то есть V и VI веками. Из этого времени у нас в Босне осталось оч[ень] много остатков, которыми, как Вы знаете, прежде и не интересовались» [2. Д. 405. Л. 1—1 об.].

Думая в первую очередь о достойном продолжении издательских традиций Института, Флоровский вместе с тем заботился и о пополнении институтской библиотеки, что было совсем не простым делом, учитывая рассредоточенность членов Института и публикацию ими статей в самых различных изданиях, к тому же на разных языках. Поэтому он писал, например, Я. А. Бромбергу 6 июня 1948 г.:

«Было бы весьма желательно для библиотеки Института иметь подбор Ваших статей за время войны и после нее. Американские издания сюда приходят далеко не полно и весьма случайно... Хорошо бы наладить систематическое получение Институтком в порядке обмена и иначе всех новинок научных по истории и культуре России» [2. Д. 9. Л. 1].

При посредничестве К. Шварценберга институтская библиотека получила издания Папского института в Ватикане за 1940—1946 гг., Флоровский просил Шварценберга выяснить также возможность присылки этих изданий за 1947—1948 гг. и налаживания обмена книгами [2. Д. 110. Л. 3]. Институтской библиотекой интересовались В. Ф. Минорский, собиравший прислать в нее отписки своих работ [2. Д. 315. Л. 5 об.], и Д. Н. Сергеевский, готовый прислать издания своего музея в обмен на «Анналы» [2. Д. 405. Л. 1 об.].

Кроме научно-организационных и финансовых вопросов по восстановлению деятельности Института и изданию «Анналов», А. В. Флоровскому пришлось столкнуться с трудностями формально-юридического характера. Для того, чтобы иметь полное право на ведение дел Института, ему нужны были соответствующие полномочия от учредителей Института. Об этой ситуации он писал Г. А. Острогорскому (12 февраля 1948 г.) [2. Д. 72. Л. 8 об.] и Г. В. Вернадскому (1 февраля 1948 г.):

«Дело в том, что в институте сейчас имеется известное организационное затруднение. По его уставу решающий голос принадлежит только членам-основателям и действительным членам<sup>31</sup>. Таковых сейчас в Праге, кроме Е. И. Мельникова<sup>32</sup>, нет никого. Таким образом, никто не уполномочен делать ответственное дело. Это затруднение, при отсутствии возможности ожидать, что сразу

<sup>28</sup>Погодин Александр Львович (1872—1947) — историк, профессор Варшавского и Харьковского университетов. С 1920 г. — профессор Белградского университета.

<sup>29</sup>Успенский Федор Иванович (1845—1928) — историк-византист, славист, археолог, доцент Новороссийского университета, в 1895—1914 гг. возглавлял Русский археологический институт в Константинополе, редактор «Известий» этого Института и «Византийского вестника» (1922—1927); академик (с 1900 г.).

<sup>30</sup>Сергеевский Дмитрий Николаевич — археолог, сотрудник Краеведческого музея в Сараево (Zemaljski muzej u Sarajevu).

<sup>31</sup>А. В. Флоровский был «ученым членом» Института.

<sup>32</sup>Мельников Евгений Иванович (род. 1909) — археолог и историк искусства, доктор философии, преподавал русский язык в средней школе, в Высшей школе русского языка и литературы в Праге, на медицинском факультете Карлова университета, сотрудник Чехословацко-советского института (с 1953 г.) и Института языка и литературы (с 1964 г.) ЧСАН.

в Прагу приехало бы несколько действительных членов, можно было преодолеть только таким способом, чтобы действительные члены дали свои полномочия здешним ученым или иным членам, или же письменно предложили кое-кого возвести в звание членов действительных из числа тех лиц, кто действует тут и кому действительные члены могли бы доверить дело. Я лично считаю свою миссию переходной до появления подлинно уполномоченного для ведения дела лица соответствующей квалификации. Прежняя дирекция Института ради его жизни должна дать необходимые полномочия, дабы можно было перейти от временных форм деятельности к уже регулярным и в правовом смысле.

Финансовая сторона Института уже получила некоторое положительное разъяснение, и мы располагаем средствами на первое время и на издание в этом году<sup>33</sup>.

Да, не исключено, что поставлен будет вопрос о созыве съезда членов Института в Праге для решения всех вопросов о его деятельности. Съезд этот может быть только при участии и заоческих членов Института. Это пока еще малореально, но все же не исключено.

Простите, что занял Вас этими деловыми вопросами, но необходимо для жизни Института связать настоящее с прошлым и обеспечить работоспособность и правоспособность теперешнего его пражского русского центра» [2. Д. 14. Л. 1—1 об.].

Вернадский сразу же (14 февраля 1948 г.) ответил Флоровскому, что передает ему свои полномочия по делам Института [2. Д. 171. Л. 34]. Аналогичные полномочия он получил от Н. П. Толля и В. А. Мошина [1. С. 40; 2. Д. 322. Л. 21].

Таким образом, настроение большинства членов Института им. Н. П. Кондакова отражало их надежды на возобновление деятельности Института и издания трудов, хотя практически организовать его работу было очень сложно. Пессимистический же взгляд на перспективы Института откровенно выразил Флоровскому Острогорский (в письме от 25 декабря 1947 г.). Он полагал, что Институт был нужен в то время, когда, по его мнению, в России византиноведческие исследования не велись, а в Праге имелся сильный центр, объединявший учеников Н. П. Кондакова. Но с тех пор, как в Советском Союзе ведется работа в области византиноведения, издается специальный журнал (в 1947 г. после длительного перерыва вышел первый номер «Византийского временника»), а «кондаковское ядро в Праге... сошло на нет», и председателем Правления Института является К. Шварценберг, не имеющий «никакого отношения к науке», намерение восстановить деятельность Института нереально; к идее возобновления «Анналов» Острогорский также относился без сочувствия [2. Д. 349. Л. 11—12].

Кроме того, Острогорский, решив высказаться «начистоту», заявлял, что «Анналы» уже не могут считаться органом русской зарубежной науки, поскольку инициатива их издания принадлежит не русским — К. Шварценбергу и И. Мысливцу:

«Спрашивается, что же остается от Института в прежнем его смысле? Ничего, кроме когда-то славных традиций и имени... кому и чему послужило бы издание Анналов имени Н. П. Кондакова при сложившихся обстоятельствах, или, вернее, вопреки сложившимся обстоятельствам? ... Людей, которые могли бы вести это учреждение, сохраняя его научный уровень и особую его физиономию, не стало... И надо, мне кажется, признать этот печальный, но неоспоримый до очевидности факт, — признать и сделать из него соответствующие выводы, разумно распорядившись библиотекой Института, которая является единственным, что от него в действительности осталось, и которая собиралась — так это всегда нами считалось — в конечном счете для России» [2. Д. 349. Л. 12—12 об.].

Но Флоровский не хотел смириться с этой мыслью и продолжал бороться за Институт. Желая привлечь Острогорского на свою сторону, он в ответном письме (12 февраля 1948 г.) пытался убедить белградского коллегу в том, что у него сложилось неправильное представление о положении Института:

«Между планами Института, в частности и планом издания Анналов, и движением византиноведения в СССР нет никакого расхождения, напротив, полное согласие. Возобновление издания наших Анналов отвечает интересам и желаниям академического центра СССР.

Важнее другое обстоятельство, на которое Вы указываете. Существует ли активное ядро Института и кто его составляет? Гибель Расовских<sup>34</sup> — огромная потеря для Института. Однако — все ли

<sup>33</sup>Еще 21 августа 1947 г. секретарь Института Кондакова П. А. Хмыров сообщал Флоровскому: «[Л. В.] Копецкий сказал, что деньги даст; думаю, что полсотни тысяч». Никаких правительственных субсидий, по словам Хмырова, Институт не получал с 1948 г. [2. Д. 479. Л. 3, 20 об.].

<sup>34</sup>Д. А. Расовский и его жена И. Н. Окунева погибли в 1941 г. в Белграде во время бомбежки. В понимании Острогорского, научное учреждение «живо» людьми, которые его ведут, поэтому деятельность Института «кончилась со смертью Д. А. Расовского» [2. Д. 349. Л. 12 об.]. Вспоминая покойного коллегу, В. А. Мошин также писал Флоровскому: «Он больше всех других любил Институт и больше всех для него делал» [2. Д. 322. Л. 23 об.].



погибло с ними? [...] Я за последние месяцы имел возможность списаться с многими членами Института, должен сказать, что все с полным сочувствием отнеслись к идее возобновления его деятельности и издания *Анналов* ... Это показывает, что в кругу сотрудников и друзей Института не вызывает изумления охота Института жить и работать, напротив — они все готовы ему в этом помочь. Очевидно — *Анналы* Института могут иметь и свой кадр активных сотрудников, и обилие византийских студий в СССР никак не может быть затронуто этим.

И далее — Институт остается русским ученым учреждением и теперь, и для этого русского направления его деятельности имеется достаточно оснований. Во всяком случае на нас, русских, лежит обязанность его сохранить и содействовать его развитию. Вы опасаетесь, что этот русский элемент заслонен участием в Институте на якобы руководящих местах кн. Шварценберга и И. Мысливца, — это ошибка, дело касается пока чисто внешних обстоятельств, никак не существа дела, их влияние на дела Института очень слабо, чисто внешне и не имеет никакого будущего. Я лично вошел в круг интересов Института именно для оттенения этого его русского характера и рад буду отойти в сторону, как только кто-нибудь иной сможет осуществить эту роль. Думаю, что к делу должны будут вернуться его прежние создатели, т. е. Вы да Н. П. Толль.

... Институт не потерял и уже не потеряет своего русского характера, его деятельность никак не идет вразрез с планами советского академического центра, напротив, соответствует ему. Ближайшее будущее покажет, как разовьется это положение. Во всяком случае нет данных для того, чтобы считать Институт неспособным к жизни и незаслуживающим жить. Это в конце концов зависит от нас самих.

... Вы спрашиваете: кому и чему послужило бы издание *Анналов*? Я отвечаю: русской науке, русскому достоинству и русскому имени. А ликвидация Института была бы им в ущерб.

... Ввиду всего этого я обращаюсь к Вам, дорогой Георгий Александрович, с убедительной просьбой — пересмотреть свою точку зрения на дело и не отказываться принять активное участие в жизни Института. Должен отметить, что в последнем письме ко мне Николай Петрович Толль высказывает надежду, что Вы поможете мне в деле Института» [2. Д. 72. Л. 8—9].

Однако Флоровский не смог убедить Острогорского, который по-прежнему не разделял его надежд. Сославшись на занятость в связи с организацией в Сербии византиноведческого института<sup>35</sup>, он отказался от участия в делах Института Кондакова. Флоровский был очень опечален таким ответом, но все же не оставлял попыток уговорить коллегу (письмо от 1 мая 1948 г.):

«Хотелось бы думать, что при всех заботах, связанных с организацией нового института по византистике при Сербской Академии наук, все же у Вас найдется когда-либо и время, и возможность, и прежде всего охота принять посильное участие и в деятельности Кондаковского Института. Во всяком случае одно из обстоятельств, которое Вас несколько смущало в жизни и организации Института в последнее время, теперь отпало — князь Шварценберг сложил с себя звание председателя Правления Института, а Иосиф Иосифович Мысливец фактически отошел от Института. Таким образом, русский характер его оказался еще более подчеркнутым... В настоящее время обязанности председателя Правления исполняю я. От Вернадского и Толля я получил изъявления полного доверия к моей работе в Институте и постараюсь по мере своих сил и реальных возможностей удержать Институт на его традиционном ученом уровне, что возможно, конечно, только при сочувствии и содействии его старых друзей» [2. Д. 72. Л. 10].

Флоровский еще долго переживал отказ Острогорского. 1 июля 1948 г. он писал Соловьёву: «Меня одно более чем огорчает — это отказ Г. А. Острогорского от активного участия в нашей работе. Это нехорошо в самых разных смыслах — и для самого Института, и для его положения в „свете“» [2. Д. 86. Л. 3 об.]. Своим огорчением Флоровский поделился также с Мошиным (29 марта 1948 г.) [2. Д. 65. Л. 1], на что последний ответил: «Я разделяю Ваше сожаление, но уверен, что положение в свете определится содержанием и объективным научным весом сборника, а тогда, вероятно, и настроение изменится» [2. Д. 322. Л. 24—24 об.]. Вернадский также посочувствовал Флоровскому из-за отказа Острогорского сотрудничать в «*Анналах*» [2. Д. 171. Л. 38].

Оставшись один на один с организационными проблемами, А. В. Флоровский продолжал все же собирать материалы для «*Анналов*». В одном из писем (от 6 июня 1948 г.) он благодарил Вернадского за присылку статьи и сообщал: «Рассчитываю еще до лета сдать в печать собранный уже материал» [2. Д. 14. Л. 4].

Постепенно А. В. Флоровскому удалось все-таки собрать статьи для «*Анналов*». Их прислали Я. А. Бромберг, Г. В. Вернадский, А. Н. Грабар, В. А. Мошин, А. В. Соловьёв и др. Но в 1948 г. сборник не удалось сдать в печать. Весной следующего года (письмо от 4 марта 1949 г.) Флоровский так объяснял задержку с выходом «*Анналов*» Вернадскому:

«Дело с печатанием собранного уже материала в Институте Кондакова несколько задер-

<sup>35</sup>Vizantološki institut в Белграде.

живается. Происходит это в связи с тем, что сейчас возникли переговоры об известной организационной связи Института с Академией наук СССР. Переговоры эти еще в начальной стадии, но издание нового тома *Анналов* этим, все же, несколько отодвигается. Дело идет не о материальной стороне, которая в ближайшее время обеспечена, но о известной согласованности действий русского научного учреждения за границей. О дальнейших фазах этого дела я, конечно, своевременно Вас осведомлю. Хотел бы знать и Вашу точку зрения по этому вопросу, хотя и понимаю все трудности ее формулировки» [2. Д. 14. Л. 2].

А. В. Флоровский обращался в советское посольство в Чехословакии с просьбой принять решение о судьбе Института [1. С. 41; 2. Д. 479. Л. 3]. Президент Чехословацкой Академии наук З. Неедлы высказывал Флоровскому пожелание о включении Института в состав чехословацких академических организаций [2. Д. 479. Л. 20 об.]. 17 октября 1950 г. Институт посетил представитель советского посольства М. Д. Фролов. Все надеялись, что после этого визита судьба Института прояснится [2. Д. 479. Л. 18]. Однако еще 2 июля 1951 г. Флоровский писал венгерскому академику Д. Моравчику, который поддерживал его начинание, что «Институт Кондакова находится в состоянии анабиоза в силу различных обстоятельств» [2. Д. 64. Л. 1].

Период неопределенности длился до августа 1951 г., когда было принято решение о передаче Института Кондакова чехословацкой правительственной комиссии, возглавлявшейся профессором Я. Рыпкой. Это событие произошло в отсутствие Флоровского (находившегося в это время в Марианских Лазнях). Вот как описывал ему акт передачи Института исполнявший функции секретаря и заведующего хозяйством П. А. Хмыров:

«17 августа около 11 часов дня к нам приехал представитель нашего Посольства М. Д. [Фролов] с товарищем и представители чехословацкой правительственной комиссии: замминистра Павласек, профессор Ян Рыпка, секретарь Чехословацкой Академии Наук и третье лицо, по-видимому, представитель Министерства информации. М. Д. провел комиссию в иконную комнату и в краткой официальной речи передал институт по распоряжению нашего Правительства Чехословацкой Академии Наук и Искусств. Министр (так в письме.— Е. А.) Павласек и проф[ессор] Ян Рыпка благодарили и просили М. Д. передать их благодарность нашему Послу. Официальный акт продолжался около получаса, затем делегаты уехали. ... Мне было поручено представиться проф[ессору] Яну Рыпке и сговориться о технической стороне передачи» [2. Д. 479. Л. 20].

Окончательное решение об имуществе Института должен был принять президент Академии З. Неедлы. По поручению комиссии по организации новой Академии наук Чехословакии 14 февраля 1952 г. Институт Кондакова посетили директор Государственного Археологического института доктор Бэм, представители министерств народного просвещения и финансов, которые остались довольны библиотекой и коллекциями [2. Д. 479. Л. 21—21 об.]. Сохранить все это в едином комплексе не удалось — архив, библиотека и коллекция икон Института были переданы различным учреждениям в Праге.

2 января 1953 г. Институт был закрыт и все ключи от него сданы [2. Д. 479. Л. 22].

Усилия А. В. Флоровского по возобновлению деятельности Института им. Н. П. Кондакова и изданию его печатного органа не привели к положительному результату. Институт к тому времени уже не представлял собой цельной научной единицы, сплоченного коллектива единомышленников. Его члены жили и работали в разных странах, и несмотря на согласие многих из них участвовать в деятельности Института и издании «*Анналов*», объективно было очень сложно объединить их усилия на этом поприще. Развитие в СССР и других восточноевропейских странах в послевоенный период тех областей науки, которые находились в центре внимания Института, лишило ученых-эмигрантов приоритета в этом деле. Кроме того, с изменением политической ориентации Чехословакии неизбежно менялось и отношение к эмигрантам из России и их организациям (в том числе научным). Тем не менее, подвижнические попытки А. В. Флоровского заслуживают самой высокой оценки; помыслы его были чисты и благородны. Выше всяких политических целей, личных амбиций, корпоративных интересов и проч. для Флоровского всегда оставалось служение «русской науке, русскому достоинству и русскому имени».

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Паушто В. Т. Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992.
2. Архив Российской Академии наук. Ф. 1609 А. В. Флоровского. Оп. 2. Переписка за 1922—1968 гг.
3. Florovsky A. V. Recent Surveys of Russian History // *Slavic Review*. 1934. Vol. XII. № 36.  
Florovskij A. V. La littérature historique soviétique-russe. Compte rendu, 1921—1931 // *Bulletin d'Information de la Société d'Ethnographie*. 1935. Т. VI—VII; Florovsky A. V. Historical Studies in Soviet Russia // *Slavic Review*. 1935. Vol. XIII. № 38.
4. Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне в X—XVIII вв. // *Вопросы истории*. 1947. № 8; Флоровский А. В. Чешские струи в истории русского литературного развития // *Славянская филология: Сб. статей. IV Международный съезд славистов*. М., 1958; Флоровский А. В. Собрание рукописей А. Д. Григорьева в Славянской библиотеке в Праге // *Труды Отдела древнерусской литературы*. Л., 1960. Т. XVI; Флоровский А. В. Из материалов по истории России эпохи Петра I в чешских архивах // *Археографический ежегодник за 1967 г.* М., 1969; Флоровский А. В. Франциск Скорина и Москва // *Труды Отдела древнерусской литературы*. Л., 1969. Т. XXIV.
5. Заметки к «Слову о полку Игореве». Београд, 1941. Вып. 2.
6. Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // *Исторические записки*. М., 1948. Т. 25.



БУБЕНИКОВА М., ВАХАЛОВСКА Л.

## ИЗ ПИСЕМ О ЛИТЕРАТУРЕ А. Л. БЕМА

Из работ Альфреда Людвиговича Бема (1886—1945?) доступна в наше время лишь небольшая часть, хотя автор, известный ученый, литературовед и педагог, принадлежал к самым интересным личностям русской эмиграции в Чехословакии межвоенного периода. Представляя его жизненный путь и научную деятельность, современные российские исследователи видят в нем «крупнейшего ученого-литературоведа академического склада в эмиграции первой волны» [1. С. 67].

А. Л. Бем родился в Киеве, учился и работал в Петрограде. В 1919 г. эмигрировал и после недолгого пребывания в Белграде и Варшаве поселился с семьей в Праге (1922), где прожил до конца войны. В мае 1945 г. Альфред Бем был арестован советскими органами. Его дальнейшая судьба остается пока невыясненной: распространялись версии о его самоубийстве под следствием, о том, что он был расстрелян во дворе пражской тюрьмы Панкрац. Найденные нами документы, хранящиеся в Архиве Карлова университета в Праге, побуждают усомниться в истинности этих версий.

Первый документ — рукописное письмо от 4 июня 1945 г. декана философского факультета Карлова университета Яна Рыпки в Дирекцию полиции в Праге: «По поручению профессорского состава нашего факультета прошу Вас известить нас, когда и почему был арестован лектор нашего факультета д-р Альфред Бем, проживающий в Праге XIX, ул. Бучкова».

Второй машинописный документ от 29 ноября 1945 г. также подписан Я. Рыпкой, по-видимому, он должен был служить удостоверением для жены А. Бема Антонины Иосифовны, которая в то время пыталась найти своего мужа посредством различных организаций, в том числе и Международного Красного Креста: «Деканат Философского факультета Карлова Университета удостоверяет, что господин Альфред Бем был лектором русского языка на Философском факультете с 1922 г. до закрытия университета<sup>1</sup>. После возобновления деятельности университета он до сих пор не явился. Его лекторская работа заключалась в добросовестной подготовке к практическому овладению русским языком. Он занимался обширной научной деятельностью в области истории русской литературы и чешско-русских литературных отношений в 19 в. В этих исследованиях он проявил себя выдающимся знатоком русской литературы 19 в.». На копии этого документа имеется рукописная пометка: «Выдано лично госпоже Бем 29.XI.1945».

В третьем машинописном письме от 30 апреля 1947 г. из Министерства школ и просвещения жене ученого (копия — деканату философского факультета) о нем говорится как о живом: «Учитывая, что Ваш муж, д-р

Бубеникова Милуша — д-р филол. наук; Вахаловска Ленка — д-р филол. наук, научные сотрудницы Института чешской и мировой литературы ЧАИ, Прага.

<sup>1</sup> Имелся в виду закрытие университета немецкими властями в годы войны.

Альфред Бем, по договору лектор Философского факультета Карлова университета в Праге, до сих пор арестован советскими органами и что пока не был решен вопрос о выплате его содержания во время его заключения, я уполномочиваю бухгалтерию Министерства школ и просвещения на выплату Вам с 1 мая 1947 г. до окончательного решения данного вопроса аванса в 2000 крон, прописью: две тысячи чехословацких крон ежемесячно. Отчет за этот и другие выплаченные Вам авансы будет подан, когда окончательно решится по соглашению с Министерством финансов вопрос о выплате содержания Вашему мужу во время его заключения. От имени министра д-р Каван».

Сам по себе этот факт, разумеется, не доказывает, что А. Бем был в то время жив. Но поскольку все до сих пор опубликованные версии о гибели русского ученого датированы маем 1945 г., данное письмо становится важным историческим документом трагедии А. Л. Бема.

Работая преподавателем русского языка в Карловом университете в Праге и историей русской литературы в Педагогическом институте им. Я. А. Коменского, А. Бем прежде всего был выдающимся знатоком творчества Ф. М. Достоевского. Благодаря ему и другим известным славистам, Прага того времени стала важнейшим центром изучения Достоевского за пределами России. Бем был не только научным работником, но и педагогом и организатором. Один из ведущих деятелей пражского Общества Достоевского при Русском народном университете, он вел семинар по изучению Достоевского и редактировал издания прочитанных там докладов. Третий сборник этих докладов состоял исключительно из работ Бема, как и четвертый, изданный Славянской библиотекой в Праге только в 1972 г. Отдельными изданиями вышли работы Бема «Тайна личности Достоевского» (на чешском языке, Прага, 1928 г.), «У истоков творчества Достоевского» (по-русски, Прага, 1936 г.) и «Достоевский. Психоаналитические этюды» (по-русски, Прага, 1938 г.).

Бем занимался также другими классиками русской литературы (Пушкин, Толстой), а также русской — советской и эмигрантской — литературой 20—30-х годов.

Особый интерес, по нашему мнению, представляют для современного читателя статьи и заметки А. Л. Бема, касающиеся русской литературы межвоенного периода. В то время как его основные труды о Достоевском вышли в разное время отдельными изданиями (хотя публикации 30-х годов известны и доступны лишь небольшому кругу специалистов), статьи Бема о современной ему художественной литературе появлялись только в эмигрантской прессе и до сих пор не собраны воедино.

Рецензии, заметки и полемические выступления представляют собой — несмотря на небольшой объем отдельных текстов — богатый и весьма интересный материал. Альфред Бем раскрывается в них не только как тонкий наблюдатель и проницательный критик, но и как самобытный мыслитель, чьи взгляды до сих пор не утратили своей актуальности. Напомним хотя бы тот факт, что Бем одним из первых отстаивал точку зрения «единого потока», т. е. необходимость совокупного рассмотрения русской советской и эмигрантской литературы. С этим он связывал мировое значение русской литературы в будущем — в период, когда многие загворили о гибели русской культуры. Бем критически относился к эмигрантской и советской литературе и литературной мысли, но чутко распознавал талантливых молодых авторов. Его статьи содержат богатый фактографический материал и могут послужить оригинальным источником для понимания литературной жизни и атмосферы русского зарубежья межвоенного периода. С другой стороны, эти статьи приближают к нам личность русского ученого, к сожалению, мало известного в России (см. [1. С. 67—76]) не только как знатока отечественной классики, но и как человека своего времени, литературного критика и пылкого полемиста.

Ниже с незначительными сокращениями публикуются две из многочис-

ленных статей А. Л. Бема, напечатанные в эмигрантских журналах «Молва» и «Меч» под общим названием «Письма о литературе».

Молва. 20.VIII.1933.

### ПРАВДА ПРОШЛАГО

Обычно я не читаю нашей газетной беллетристики. Как то уже с юношеских лет так повелось. Мне всегда казалось, что хорошему рассказу место не в газетке, а в книге. /.../ И до сих пор мне как то неловко среди газетной шелухи, которую перебираешь каждый день по обязанности культурного человека, встречать подпись любимого писателя под неизвестно почему в газету затесавшимся рассказом. И тогда я беру ножницы и вырезаю рассказ, привлечший мое внимание, не читая его, и откладываю в сторону. А читаю его уже позже, отдельно от газеты; читаю не так, как читают газетный материал.

Так с большим опозданием прочитал я и два рассказа, напечатанных в «Последних Новостях» от 16 июля. Они у меня пролежали среди вырезок и только на днях я вспомнил о них. Это «Башня в плющ» Марины Цветаевой и «Наперекор» Алексея Ремизова. И должен сказать, что, прочитав их в этих газетах, я почувствовал своеобразную обиду, что они появились в печати «в газетном порядке». Хотя бы уже потому, что о газетной беллетристике не принято писать, а оба эти рассказа, на мой взгляд, очень и очень заслуживают того, чтобы их отметить. /.../

Мне вообще кажется, что Ремизов и Цветаева находятся незаслуженно в загоны. Оба эти писателя, с одной стороны, как будто-бы писатели «для немногих», для избранных, а с другой — как никто, они-то и нуждаются в «атмосфере», в читательском внимании и сопереживании. А так как этих условий за рубежом нет, то они «задыхаются». Не хочу сейчас объяснять почему и как это случилось, но «одиночество» Ремизова и Цветаевой мне кажется несомненным. Отсюда и некоторое искажение их писательского лица, если хотите — некоторая доля «уродства», как результат отсутствия корректива сочувствующей среды. Но несмотря на это, Ремизов и Цветаевой едва-ли не самые крупные явления нашей эмигрантской литературы; да по сравнению с ним и непримыслима этикетка «эмигрантская» литература. Они явление литературы русской во всем ее непреходящем значении. И это прежде всего потому, что оба они связаны с русской литературной традицией.

Для Ремизова это очевидно. Он корнями своими в Гоголь и Достоевском, хотя формально он связан с символистической прозой начала нашего века.

Теперь часто приходится слышать: после Пруста нельзя писать так, как писали до него. Но на Ремизова особенно ясно видно, что почитатели Пруста очень переоценивают его влияние на современную литературу. Ведь Ремизов, окруженный прустовской атмосферой, остался совершенно вне его воздействия. Да иначе и не могло быть: он слишком уже сложившийся и на иной традиции выросший писатель.

На первый взгляд может показаться, что для Ремизова форма стоит на первом месте, что он в погоне за красивым словом готов пожертвовать всем. Но это только так кажется. Не знаю сейчас ни одного писателя, который так упорно и постоянно в своем творчестве говорит о самом важном, о человеках, его боли и его тоске по правде. Шемящая боль за человека приходит красной нитью через творчество Ремизова. И сейчас, когда мысль человека сосредоточена на мировых катаклизмах, он видит прежде всего человека, в живой дуге которого разыгрывается в конечном счете эта мировая трагедия. Как жаль, что Ремизов вынужден кусочками печатать свою потрясающую трагедию русской эмиграции! Кто из нас, эмигрантов, следит внимательно за историей Корнетова?, а я склонен думать, что когда-нибудь Корнетов станет именем нарицательным. Я не найду для прозы Ремизова настоящего определения, ибо все старые названия не передают ее сущности. Так для себя, только для себя, потому что понимаю все несовершенство этого обозначения, я ее называю «медитативная проза», т. е. проза раздумия. Хотя Ремизов традиционно связан и с Гоголем и с Достоевским, но ни гоголевский «натурализм» (сам по себе не очень удачный термин), ни «философский реализм» Достоевского, ни, наконец, «мистический реализм» не подходят для обозначения существа его творчества. Гоголевские «лирические места», субъективно окрашенные прорывы в речах и высказываниях героев Достоевского имеют свое соответствие у Ремизова. Всюду там, где речь идет о «единственно важном» — о человеках и постижении им мира — у Ремизова появляется то, что я условно называю «раздумием». Эти отступления концентрируют в себе ту боль, которая разлита по всем произведениям Ремизова, собирают ее в одну точку и оставляют то шемящее чувство, которое у меня нераздельно с творчеством Ремизова связано.

/.../ несколько слов о его рассказе «Наперекор».

Это тоже только отрывок из цикла. Но он сам по себе представляет законченное целое, не только формально, но и внутренним единством связанное.

История дружбы двух девочек, Оли и Зины, выросших вместе в одном пансионе, а затем подхваченных русским предреволюционным потоком жизни.

Такая обычная и в своей обычности загадочная общность судьбы молодого поколения. Совсем разная, — и Ремизов с большою тонкостью подмечает — разная и реакция на то, что определяет характер, а часто и жизнь, разная в реакции на пол: одна «по существу была мать» и тянулась всем существом к материнству /.../ другая, Оля, во всем, что связано с полом, /.../ ощущала что-то чуждое, что-то «уходящее корнями к Адаму и Еве, в мрак животных зачатий». И вот эти столь несходные между собою дѣвушки, обѣ сошлись в одном. Их судьбу связала революцией. Одна, Зина, слѣдует за мужем-студентом в ссылку, другая — сама в ссылкѣ очутилась. И писатель в раздумѣ над общностью судьбы по внутреннему своему строю столь разных людей дает нам понять истину, которую так-бы хотѣлось довести до сознания современной молодежи. Соединяло нас всѣх, влекло друг к другу и предопредѣляло общность — в той или иной степени — нашей судьбы, то «наперекор», то исканіе своего пути, которое в конечном счетѣ связывало нас с «революцией». И тѣ, кто вырос в иных условиях, кто склонен сейчас послѣ всего пережитого за годы не мечтательной, а подлинной революціи, бросить камнем осужденія в старшее поколѣніе, просто не понимают, не чувствуют истоков того, что к революціи влекло. И Ремизов совершенно прав, когда, тоже «наперекор», именно сейчас говорит: «надо всѣми словами сказать, что то чувство, которое побуждало „заниматься революцией“ исходило из самого высшаго источника духа“ и что „занимавшіеся революцией“ и были тѣ „ищущіе правды“ и горе тѣм, кто с юности со старым, но не мудрым сердцем, смирившись, не знал этого пламеннаго чувства».

Хорошо, что Ремизов это не только «всеми словами» сказал, как вывод из своего рассказа, но и художественно это показал. Когда я прочитал этот рассказ громко, то одна из слушающих, дѣвушка лѣтъ шестнадцати-семнадцати, задумавшись, сказала: какіе вы были совсем другіе. И мнѣ послышалось в этих словах не осужденіе, а раздумье и желаніе понять эту несхожесть двух поколѣній. А это уже первый шаг к взаимному пониманію и, может быть, уваженію.

«Башня в плющѣ» Марины Цвѣтаевой тоже — о дѣтях. Проза Марины Цвѣтаевой как будто внѣ русской традиціи, как будто под сильным влияніем прозы Р. М. Рильке сформировался ея своеобразный прозаическій стиль. Но я думаю, не берусь это утверждать, в Рильке и Цвѣтаевой сошлись встрѣчныя теченія. На русской почвѣ в годы предреволюціонныя создавались условия для возникновенія именно того стиля, который характеризует прозу Бор. Пастернака и Мар. Цвѣтаевой. Особенно ярко это видно на прозѣ Бор. Пастернака, который тоже близок к Рильке. Но эта близость только показывает, что здѣсь имѣется какая-то общность путей в литературѣ, так как своеобразие и самостоятельность Бор. Пастернака вряд ли подлежат сомнѣнію.

Начинает Цвѣтаева рассказ со ссылки на Рильке, как бы этим подчеркивая свою духовную общность с ним. Эта общность и в темѣ и в подходѣ к ней. Тема — воспоминанія эпизода из дѣтской жизни, пустяковаго и незначащаго, но освѣщенного той предѣльной наблюдательностью, которая дѣлает каждый пустяк значущим и значительным. Цвѣтаева только рассказывает, она не впадает ни в отступленія ни в нравоученія. Но ея рассказ все время толкает вас на собственные припоминанія, вызывает острые вспышки памяти о своем давнем прошлом. Конечно, так дѣти не могут рассказать своего дѣтства. Надо прожить долгую жизнь, чтобы так вспомнить — и жизнь в однообразном пансіонѣ, и неожиданную радость при представившейся возможности нарушить ея однообразие поѣздкой «К Ангелу», к хозяевам деревенской гостиницы, с дѣтьми которых вмѣстѣ прошло веселое солнечное лѣто, и острогу разочарованія от неисполненной мечты, а затѣм — встрѣчу с несбыточной, «непохожею ни на одну», владѣтельницею романтическаго замка «Тури унд Таксис», с пѣвучим «коричневым» голосом, обладавшей к тому же таким чудным псом, «Тирсом» — «шоколадным», гладким, котораго и гладить и цѣловать хочется, но — старшіе мѣшают. И на этом фонѣ так ярко ощущаемую ложь этих старших, обѣих фрейлен, в таком рѣзком контрастѣ находящихся с «коричневой» княгиней и «шоколадным» Тирсом. Там — правда, здѣсь — ложь. Да, так не могут рассказать своего дѣтства дѣти. Но вѣдь и сон свой можно рассказать только бодрствуя, тогда, когда он уже далекое ушедшее прошлое. Рѣдко кому удается рассказать свой сон так, чтобы в нем сохранилось все его очарованіе. Так же рѣдко кому дан талант рассказать свое дѣтство. М. Цвѣтаевой этот дар передачи своего прошлаго присущ в высшей мѣрѣ. Не потому ли, что Цвѣтаева в высшей мѣрѣ, по существу «романтик», влюбленный в прошлое. «Как хорошо сидѣть спиной к лошадям, когда прощаешься! Вмѣсто лошадей, которыя непоправимо везут и неизбѣжно доставят нас туда, куда не хочется, в глазах то, откуда не хочется, тѣ, от кого...» (закончим за писателя), ... утѣжать не хочется. Сама Цвѣтаева мнѣ представляется такой — всегда «сидящей спиной к лошадям», смотрящей в прошлое, им очарованной и в него влюбленной. И именно потому, что она в нашей литературѣ «поздній романтик», она так не ко двору прихвасты нашей неромантической современности.

Прага

А. Бем.

## О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ.

Читал я эти дни «Литературныя воспоминанія» П. П. Перцова \*) и, читая о столь недавнем, а в сущности таком уже далеком прошлом, невольно все время думал о настоящем. Мысли эти напрашивались как-то сами собою. И мигъ кажется, что для каждаго, кто задумывается над судьбами русской литературы, очень полезно иногда припомнить наше недавнее литературное прошлое.

П. П. Перцов играл известную роль в литературном движеніи конца XIX и нач. нашего вѣка. Он рано примкнулъ к зарождавшемуся тогда новаторскому теченію в литературѣ, выросшему затѣм в мощное движеніе символизма. Вот наблюденіе именно этих первых шагов новаго направленія, не в изложеніи историка литературы, а в передачѣ одного из его непосредственных участников, дает много интересных штрихов и подробностей, о которых стоит и сейчас, в совершенно изменившейся обстановкѣ, подумать.

Перед нами проходят все известныя имена: Д. С. Мережковский, З. Г. Гиппиус, Д. В. Философов, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Н. М. Минский, А. Л. Вольнский-Флексер. Все это уже исторія, хотя многие из ея участников еще живы. Думая о них, мы себѣ чаще всего представляем их на вершинѣ успѣха, когда уже достигнуто было общее признаніе, когда имена их уже прочно вошли в литературу. Как то невольно забываешь, что за каждым из этих имен лежат долгіе годы литературной жизни, что каждому из них не легко далась литературная известность, а для многих и слава. И особенно поучительно вспомнить первые шаги по пути к этой известности.

Вот Д. С. Мережковский. Он дерзнул пойти в литературѣ своим собственным путем. Выступить против утилитаризма в критикѣ было тогда цѣлым подвигом. Его лекціи на тему «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», прочитанныя им в концѣ 1892 г. в Петербургѣ, вызвали цѣлую бурю. Как можно защищать идею автономности искусства, проповѣдывать свободу творчества? «Дурачки четверорукіе карабкаются на кафедры, чтобы поучать нас», писало тогда «Новое Время» об этих лекціях. Ни один журнал не напечатал этих лекцій, не нашлось и издателя на них. Автор напечатал их сам отдѣльной брошюрой, и она встрѣтила самый враждебный приѣм. Он задыхался в обстановкѣ полного непониманія и вражды. «Меня окружает такое безнадежное одиночество, такая скучная и мертвенная злоба, что иногда мнѣ кажется, что все, что я дѣлаю, бесполезно, и мною овладѣвает отчаяніе», жаловался он в одном частном письмѣ того времени. И все же он ошибался. Среди слушателей его лекцій нашлись и такіе, которых поразило новое слово. Его брошюра нашла своих, еще одиноких читателей. Это были единицы, но единицы уже предугадавшія правду будущаго. Молодой Перцов был одним из них. /.../ И вот в лицѣ этого случайнаго слушателя и воспримчиваго читателя Д. С. Мережковский находит своего перваго издателя. В 1897 г. П. Перцов издает первый сборник критических статей Мережковского «Вѣчные Спутники». Так, на первый взгляд, безнадежное и бесполезное допихотство в обстановкѣ общаго непониманія и вражды оказалось почвенным и дѣйственным.

Мережковский вышел побѣдителем. Почему? Да прежде всего потому, что он вѣрил в правильность своего пути, не боялся одиночества и отчужденія, не испугался замалчиванія и нападок. Ему достаточно было при его талантѣ и уже имѣющемся поэтическом имени пойти на уступки, на компромисс, и страницы лучших журналов были бы для него открыты. Но он предпочел путь одиночки, путь литературной борьбы.

Вот замѣчательныя страницы, посвященныя кружку «Мира Искусства». Кружок новаторов энтузіастов. «Самое привлекательное в этом кружкѣ — пишет П. Перцов — была его молодость — молодость личная и духовная всѣх его главных участников — вдохновителей движенія... Как-то вдруг, точно из земли, вышла на свѣтъ эта маленькая группа фанатически воодушевленных рыцарей художественной новизны. Почти непонятно, как могла она сложиться в заспанной атмосферѣ тогдешней Россіи, гдѣ искусство представлялось, главным образом, убогими иллюстрированными журналами с их «роскошными преміями в 24 краски». Кто же составлял эту группу энтузіастов-новаторов? Это были — Александр Н. Бенуа, В. Ф. Нувель, Д. В. Философов, Л. С. Бакст и С. П. Дягилев. Исторія «Мира Искусства» — это почетная страница из исторіи русской культуры, и ея первые строки связаны опять же с именами одиночек, с осмѣлившимися пойти своим путем.

Не легко было пробиться сквозь косность и предвзятость русской критики того времени. /.../ Но вѣра в свою правоту, крѣпкая дружественная спайка вокруг общаго дѣла привели к побѣдѣ молодого теченія.

Почему же это прошлое наводит мысли на наше невеселое настоящее? Вѣдь условія сейчас так изменились, таким все это далеким и несопоставимым с теперешним нам кажется. Было все это на родной почвѣ, были корни, которыми, как-никак все же питалось и это новаторство. А нам, на чужбинѣ, без государства и, в сущности, без народа — развѣ можно помышлять о чем-либо подобном. Нас упорно убѣждают, что литература в эмиграціи не только не смѣет мечтать о новшествах, но и вообще-то жить не имѣет основаній. «Непоправимо

П. Перцов. Литературныя воспоминанія. 1890—1902 г. Предисловіе Б. Ф. Поршнева. М.-Л., изд. Академіи. 1933 г.



блкая страница» — вот предѣл ея мечтаній. И все же я думаю, что эмигрантская литература при всѣх трудных, очень и очень трудных внѣшних условиях, могла бы сказать свое слово, которое сыграло бы и свою роль в общем ходѣ русской литературы. Я даже больше скажу, она призвана сказать это свое слово и в этом призваніи весь ея смысл. В чем это призваніе сказать в нѣскольких строках трудно. Да обыкновенно такія вещи вперед не формулируются, онѣ осуществляются. Но одно можно бы и сейчас намѣтить в самых, правда, общих чертах. Художественное выявленіе правды своего изгнаничества, противопоставленіе своей правды той системѣ псевдо-цѣнностей, на которой строится жизнь в сов. Россіи — вот смысл эмигрантской литературы. Я говорю в терминах отвлеченной мысли, но для нея должны найтись полноценные художественные образы и им соответствующія слова. Дѣло вовсе не в тенденціозном искусствѣ, в котором совѣтской тенденціи будет противопоставлена своя — эмигрантская. Этой литературы у нас уже появилось достаточно. Вспомним хотя бы романы Краснова. Нужно совершенно иное. Мнѣ кажется, только у двух писателей эмиграціи такое противопоставленіе нашей правды тому, что провозглашено правдой на нашей родинѣ, нашло свое художественное выраженіе. Я говорю о Ремизовѣ и Цвѣтаевой. Как это ни странно — именно у них, наиболѣе эмиграціей отверженных, правда эмиграціи нашла свое литературное воплощеніе. Каждой своей строчкой, каждым движеніем своей художественной мысли они свидѣтельствуют о том, что нѣтъ высшей цѣнности, чѣм человѣческая личность, что нѣтъ большаго грѣха, чѣм подавленіе этой личности, чѣм надругательство над человѣческой свободой.

Но в том-то и бѣда наша, что оба эти писателя — «наименѣе эмигрантскіе», и что они стоят как-то боком, в сторонкѣ об общаго хода эмигрантской литературы. Мало кто из эмигрантских писателей сознает свою миссію (я прямо о миссіи говорю — и не побоялся бы сказать и другое слово, котораго мы так боимся по старой интеллигентской позитивистической привычкѣ: мессіанизм), даже как бы побаивается всякаго ея проявленія.

В прошлом, там, гдѣ шло о новаторствѣ, о задачѣ, возложенной исторіей на плечи нѣскольких одиночек, у этих одиночек была вѣра в свое дѣло, в свое призваніе. Отсюда тот энтузіазм, та упористость, которая приводила в концѣ концов к побѣдѣ. Обычно эта задача исторіи падала на молодое поколѣніе.

У нас, в эмиграціи, кажется мнѣ, молодое писательское поколѣніе страдает какой-то дряблостью, отсутствіем вѣры в свою правду, неумѣніем бороться за новыя цѣнности. Оно — как это ни кажется странным — слишком легко подчиняется авторитетам.

Мнѣ скажут, борьба непосильна и ни к чему, кромѣ лишних жертв, привести не может. Но эти жертвы были и прежде. Вот справка из книги тѣх же воспоминаній Перцова. Он издал в 1895 г. сборник «Молодая поэзія», в который включил стихи молодых поэтов, предшественников символизма. И вот «из сорока двух участников сборника только семеро осталось в литературѣ, как нѣкоторыя имена». Среди них были, однако, Бальмонт, Брюсов и Бунин. Отпавшіе — тоже жертвы, принесенныя молодой поэзіей в борьбѣ за побѣду.

Другой вопрос, знают ли наши «молодые поэты» за что им бороться, есть ли у них своя правда? Об этом судить трудно, потому что за них говорят другіе. Их голоса не слышно. И вот, первое, чего необходимо добиться, чтобы молодые писатели сами заговорили, чтобы они, наконец, громко сказали свое слово.

Но меня спросят, гдѣ же его сказать? Вѣдь для этого надо имѣть свой орган печати. И в этом вопросѣ я обычно наталкиваюсь на полнѣйшее непониманіе. Я увѣряю, что если есть что сказать, то всегда найдется и мѣсто, гдѣ сказать. Надо только отдѣлаться от иллюзіи, что для писателя имѣет смысл появляться только на страницах «признанных» журналов и газет. Вѣдь Мережковский печатал же свои теперь на всѣ европейскіе языки переведенныя критическія статьи в задудалом ежемѣсячном приложеніи к «Всемирной иллюстраціи». А развѣ невозможно при дружном усиліи созданіе своего органа молодых? Я увѣрен, что при настоящей вѣркѣ в свое дѣло такой орган создать можно. Весь только вопрос в том, есть ли нашему молодому писателю что сказать? На этот вопрос он должен отвѣтить сам. И этого отвѣта мы от него ждем.

Прага

А. Бем.



ДОСТАЛЬ М. Ю.

## НЕОПУБЛИКОВАННАЯ СТАТЬЯ А. А. КИЗЕВЕТТЕРА ПО ПРОБЛЕМАМ СЛАВЯНСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Вниманию читателей предлагается публикация статьи известного русского историка-эмигранта А. А. Кизеветтера (1866—1933), автора книг и статей по истории России преимущественно XVIII—XIX вв. Не приняв власти большевиков<sup>1</sup>, он вынужден был эмигрировать и с 1923 г. обосновался в Праге, где преподавал на Русском юридическом факультете, был председателем Русского исторического общества, членом совета Русского заграничного исторического архива, активным участником большинства русских культурных и научных акций в ЧСР [2]. Перу ученого принадлежит ряд историко-критических статей, посвященных истории русской общественной мысли XIX в., в том числе «Славянский вопрос у декабристов» (1928) [3]. Неопубликованная статья Кизеветтера несомненно является ее продолжением и развитием. Замысел указанных статей, вероятно, возник у ученого в связи с обострившейся среди эмигрантов дискуссией по поводу «евразийской» теории происхождения и будущего России. На одном из подобных диспутов, состоявшемся 20 января 1928 г. в Праге, А. А. Кизеветтер выступил с докладом «Славянофильство и евразийство» [4], аргументированно доказывая принципиальные отличия взглядов славянофилов и евразийцев о роли России в судьбах Европы. Эта аргументированность была следствием глубокого изучения проблем славянской идеологии в России, о чем наглядно свидетельствует публикуемая статья.

Оригинал статьи ныне хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки в фонде Кудрявцевых — Кизеветтера [5], представляя собой 79 страниц размашистой скорописи тетрадного формата. Статья, к сожалению, не закончена, не имеет названия и не датирована. Архивисты условно озаглавили ее по вкладочному листку «О славянстве», а время написания обозначили «не ранее 1922 года», справедливо указав тем самым, что она написана в период эмиграции.

Судя по содержанию статья могла бы быть озаглавлена так: «Проблемы

---

Досталь Марина Юрьевна — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

<sup>1</sup> Об отношении к советской власти в шуточном послании С. Г. Пушкарёва по случаю творческого юбилея А. А. Кизеветтера сказано: «А как пришла на Российское государство беда и напасть великая, да, по грехам нашим, завладели Российским государством воровские люди, и ты, государь, тем воровским людям не покорился и писал, государь, в Ведомостях грамотки против воровских людей и советовал земским людям, чтобы они против воровских людей стояли крепко. А как тебя, государя, воровские люди гораздо утеснили и грамоток писать не велели, а ты, государь, оных воров обличал и поносил всяко. И оные вору, тебя, государя, в тюрьму вкинули и ты, государь, в тюрьме у воров сидючи, много скорбей и напастей натерпелся, однако вора покориться не хотел же, и оные вору на тебя опалились и тебя, государя, с домашними творими из Российского государства в чужеземные государства выпнали» [1].

славянской идеологии в сочинениях ведущих представителей русской общественной мысли XIX в.». Очерк А. А. Кизеветтера состоит из двух частей. В первой из них автор анализирует взгляды декабристов, славянофилов, Н. Я. Данилевского и Ф. М. Достоевского на проблему панславизма, доказывая (что соответствует современным представлениям), что никто из названных деятелей не строил планов политического подчинения России славянских народов и государств. Во второй части Кизеветтер разбирает представления славянофилов, Н. Я. Данилевского (прервав текст на Ф. М. Достоевском) по вопросу о том, включали ли они в состав славянского мира только славян православного вероисповедания или всех без исключения, придя к выводу о широком понимании ими славянства.

Статья А. А. Кизеветтера является аргументированной отповедью на укоренившиеся в Западной Европе представления о панславистской направленности русской общественной мысли XIX в. Она не утратила своей актуальности до настоящего времени в связи с обострившимися спорами «демократов» (род нынешних «западников») и «патриотов» (модификация «славянофилов») о путях дальнейшего развития России. Теперь как никогда полезно возвращаться к истокам славянской идеологии, анализируя, куда ведет политическая реализация планов всеславянского объединения.

Некоторые положения статьи Кизеветтера, естественно, устарели или являются спорными (например, о том, насколько И. С. Аксаков представлял ортодоксальные взгляды славянофилов), но в целом она представляет не только историографический интерес, вполне соответствуя современным воззрениям [6]. В отличие от большинства своих предшественников, за редким исключением [7] анализировавших каждое идеологическое направление в отдельности, ученый предпринял попытку проследить развитие русской славянской идеологии во взглядах ее ведущих представителей, что было сделано много позднее в работах Й. Колейки [8] и В. А. Дьякова [9]. Хорошую пищу для размышлений дает заострение Кизеветтером вопроса об одноколейном (гегельянцы, славянофилы, Достоевский) и многоколейном (Данилевский) развитии человеческого общества. Сам ученый выступал сторонником последнего представления: «Мы, историки, сейчас с теорией единого процесса не согласны. У каждого народа свой цикл развития, своя судьба. Мы наблюдаем чрезвычайное разнообразие конфигураций» [4. С. 21].

Приходится сожалеть, что статья Кизеветтера, даже будучи опубликована в свое время (30-е годы), в силу политических обстоятельств не смогла бы стать основой для дальнейших разработок проблем русской славянской идеологии в тогдашней советской историографии и потому многие ее положения как бы заново открываются современным исследователям.

Статья печатается в строгом соответствии с оригиналом. Цитаты сверены с подлинником. Мелкие разночтения указаны в квадратных скобках, более принципиальные — вынесены в подстрочник. Курсив, за исключением оговоренных случаев, А. А. Кизеветтера.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГАРФ. Ф. 5891. Оп. 1. Д. 181. Л. 6 (1929).
2. *Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760.* Praha, 1972. S. 224.
3. *Kizevetter A. A. Slovanská otázka u dekabristů // Z dějin východní Evropy a Slovanstva. Sborník J. Bidlovi.* Praha, 1928.
4. Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992.
5. ОР РГБ. Ф. 566. Картон 6. Ед. хр. 12. Л. 1—79.
6. *Ivantišynová T. Česi a Slováci v ideologii ruských slavianofilov.* Bratislava, 1987.
7. *Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем.* СПб., 1913.
8. *Колейка Й. Славянские программы и идея славянской солидарности в XIX и XX вв.* Praha, 1964.
9. *Дьяков В. А. Славянский вопрос в дореволюционной России.* М., 1993.

## О СЛАВЯНСТВЕ

Не малым распространением пользовался и продолжает пользоваться тот взгляд, что в сознании русского общества идея всеславянской взаимности получала всего чаще предвзятую и одностороннюю окраску, в силу которой панславизм мыслился якобы как панруссизм, и единение славянского мира представлялось как сплошная руссификация всех славянских народностей... Утверждалось и доселе утверждается, что в широких кругах русского общества единение славян, с одной стороны, мыслилось, как поглощение всех славянских стран русским государством и превращение этих стран в «русские губернии», а с другой стороны, задачу славянского единения суживали пределами лишь тех славянских племен, которые исповедуют православие.

Мы не будем отрицать того, что мысли этого рода не были чужды некоторым кругам русского общества, но необходимо иметь в виду, что то были круги очень малозначительного размера и очень небольшого удельного веса, так что приписывать им сколько-нибудь важную роль в общем ходе русского общественного сознания совершенно невозможно. Для правильного уразумения постановки славянского вопроса в русском общественном сознании прежде всего необходимо рассеять обе вышеуказанные легенды, ибо в действительности все подлинно авторитетные руководители и выразители русского общественного мнения были далеки от того извращенного понимания идеи славянской взаимности, которое нередко провозглашается характерной особенностью русского славизма.

О представителях либеральных и радикальных кругов русской общест-венности нечего и говорить. По всему складу своего мирозозерцания они не могли бы примкнуть к пониманию славянского единения ни в виде поглощения славянских государств русской империей, ни в виде насильственного навязывания славянским народностям особенностей русской культуры. Но я буду утверждать, что такого рода идеи были чужды и даже прямо против них восставали и те авторитетные русские публицисты, которые специально интересовались славянским вопросом, не примыкая ни к радикальным, ни к либеральным кругам и в то же время не имея ничего общего и с официозными пропагандистами казенного образа мыслей.

Приведем к тому ряд положительных доказательств, для удобства изложения разделив вопросы — политический и религиозно-культурный.

### I

Как представлялся русским сторонникам славянского единения строй политических взаимоотношений между отдельными странами славянского мира?

Среди тайных обществ, размножившихся в России во вторую половину царствования Александра I, мы встречаем и «Общество соединенных славян». Во главу угла своей программы это общество ставило объединение славянства. Замечательно, что в отличие от прочих тайных обществ той поры «Общество соединенных славян» состояло не из представителей аристократии, не из столичной гвардейской офицерской молодежи, а из людей очень скромного социального положения, из армейских офицеров, принадлежавших к низшим

слоям провинциального дворянства. Эти-то люди увлеклись идеалом политического объединения всего славянского мира. В какой же форме представляли они себе это объединение? Отчетливо и решительно сказано было в программе «Общества соединенных славян», что каждый славянский народ должен сохранить полностью свою политическую самостоятельность и свое собственное государственное устройство, но все эти самостоятельные славянские государства должны составить федерацию, в которой все они должны будут занимать вполне равноправное положение; объединительным органом явится Союзный Совет, составляемый из выборных представителей, входящих в федерацию государств. Территория Союза будет омываться четырьмя морями: Черным, Белым, Адриатическим и Ледовитым. Тут явное недоразумение: Белое море есть часть Ледовитого океана, между тем в списке не значится Балтийское море. Остается предположить, что Белое море названо по ошибке вместо Балтийского. На этих четырех морях Союз будет содержать четыре флота. Нам незачем входить в оценку этого плана, который был набросан без каких-либо конкретных подробностей. Члены названного Общества и не были в силах разработать этот план в сколько-нибудь определенных очертаниях, ибо в этой среде захолустых провинциалов и не было людей, сведущих в общественных науках и, в частности, в государственном праве, да даже и по части географии и этнографии славянского мира эти люди не имели отчетливых знаний, что видно по некоторым грубым ошибкам, допущенным в изложении их предположений. В своей программе Всеславянской федерации они исповедали свою мечту, но облечь эту мечту в форму определенного и разработанного политического плана они не были в состоянии. Но для целей моего настоящего очерка важна идея, которая лежала в основе славянофильских мечтаний «Общества соединенных славян». Эти люди, вышедшие из среднего общественного круга, сто лет тому назад загоревшиеся мечтой о всеславянском единении, были, как вы видите, совершенно чужды каких-либо помыслов не только о поглощении Россией прочих славян, но и о политической гегемонии России над объединенным славянством; они вообще не допускали ничьей гегемонии в составе этого Всеславянского Союза и мечтали о соединении всех славянских племен на принципе полного равноправия.

---

Лет двадцать после того, как «Общество соединенных славян» выступило с программой Всеславянской политической федерации, вопрос о взаимоотношениях России и Западной Европы и России и остального славянского мира выдвинулся на первый план в тех философско-исторических построениях, размышления над которыми захватили передовые круги русского общества. Я разумею идейную борьбу между западниками и славянофилами, возгоравшуюся в 40-х годах XIX столетия.

Конечно, никто никогда не заподозривал русских западников той эпохи в желании навязать славянскому миру политическую гегемонию России. Помыслы такого рода просто лежали вне плоскости умонастроения русских западников. Но с тем большею решительностью помыслы такого рода приписывались нередко русским славянофилам.

Необходимо распутать тут узел недоразумений, который лежал в основании такого истолкования взглядов славянофилов 40-х годов на славянский вопрос.

Известно, что славянофилы 40-х годов точно так же, как и западники, строили свое историко-философское учение на почве гегельянской теории всемирно-исторического процесса. Согласно с Гегелем, они смотрели на этот процесс, как на процесс однокольный, вытягивающийся в одну нить, в том смысле, что последовательная смена на авансцене истории человечества то тех, то других народов последовательно раскрывает для всего человечества отдельные элементы мирового разума чрез диалектическую смену противоположностей. Но принимая учение о таком диалектическом раскрытии

мирового разума в последовательной смене различных культур, славянофилы 40-х годов существенно видоизменяли выдвинутую Гегелем схему этого процесса. Для Гегеля и для следовавших всецело по его стопам русских западников германо-романская культура XIX стол. представлялась завершением всего этого многовекового процесса постепенного раскрытия мирового разума в истории человечества; Гегель учил — и русские западники вполне его учение усваивали, — что в основах германо-романской культуры XIX ст. выразилась вся полнота мирового разума во всей ее вечной истине. В противоположность тому славянофилы смотрели на эту культуру как также лишь на одну из преходящих подготовительных стадий в постепенном раскрытии мирового разума и выдвигали учение о том, что не германо-романскому, а славянскому миру предназначено Провидением выразить в основах своей культуры вечную истину мирового разума, во всей ее полноте и совершенстве...

Только в признании общечеловеческой значимости за нормами культуры славянского мира будет состоять действительное завершение мирового исторического процесса.

Положив эту идею во главу угла этого своего философско-исторического мировоззрения, русские славянофилы и должны были формулировать эти основы славянской культуры в их отличии от основ культуры германо-романской. Они это сделали и вот здесь-то именно они и дали своим критикам материал для упреков в том, что они как бы навязывают всему славянскому миру жизненные правила, открытые ими лишь в *русском* историческом прошлом.

Войдем же в более пристальное рассмотрение этого вопроса.

Интуитивное проникновение в истину в противоположность западноевропейскому рационализму; общинно-хоровое начало в противоположность западноевропейскому индивидуализму; единение самодержавного царя с законосовещательным народным правительством в противоположность западноевропейскому конституционализму; — так формулировали славянофилы 40-гг. антитезу основ славянской культуры основам культуры германо-романской.

И надо признать, что, по их убеждению, эти, на их взгляд, основные нормы славянской культуры нашли себе самое полное и чистое выражение в особенностях русского национального духа, воплотившихся в жизненном строе Московского государства XVI—XVII ст. Там они отыскивали расцвет общинной организации, положивши ее в основу всего общественного быта, там, в самодержавии царей, опиравшихся в земские соборы, созывавшихся в серьезные моменты государственной жизни, они усматривали идеальную форму политического строя, которая, по их истолкованию, состояла в полюбовном и не нуждавшемся в юридической формулировке размежевании Государства и Земли на основе положения: царю — сила власти, Земле — сила мнения.

Москва XVI—XVII вв. была для них источником того истинного света, который в свое время осияет весь мир, когда в самой России спадет наносная пена занесенной туда со времен Петра I западной цивилизации и когда в этом свете весь мир откроет для себя подлинную истину.

Вот из этого-то построения нередко и делали тот вывод, что русское славянофильство 40-х годов было в своем существе не столько славянофильством, сколько москвофильством и, следовательно, единение славянства могло пониматься с точки зрения этой теории лишь в форме полного подчинения всех остальных славянских племен руководству, идущему из Москвы: панславизм, приписываемый русским славянофилам, и истолковывался, как панмосковизм.

Ошибка этого кодычего истолкования славянофильской доктрины состояла в том, что при этом забывалось, что славянофилы в началах, приписанных ими русскому национальному духу, видели правду мировую, *общечеловеческую*, вклад в мировую культуру, а вовсе не основу объединения одного только славянского мира.

Славянофилы 40-х годов верили в то, что дорогие им идеалы, являющиеся, по их мнению, идеалами всего русского народа, составляют высшее проявление всей полноты мирового разума и потому приобретут значение руководящего светоча для всего человечества силою своей внутренней правды, а не силою каких-либо принудительных политических захватов, подчинений и порабощений. «Славянофильство» же этих мечтателей состояло в вере в то, что основы русского национального сознания всего скорее, всего полнее и всего глубже найдут себе отклик и родственное признание во всем славянском мире опять-таки в силу родственной близости духовных стихий всех составляющих этот мир племенных элементов. И легко понять, что насильственное превращение славянских стран в «русские губернии» никак не могло бы входить в такую программу. Ведь принудительное объединение всего славянского мира под политической гегемонией России, если бы оно было возможно и если бы оно удалось, привело лишь к таким результатам, которые не облегчили бы, а только затормозили бы осуществление конечного идеала русских славянофилов.

Россия в таком случае действительно выступила бы в роли пугала и страшилища народов и это могло бы только воспрепятствовать победному шествию тех идей, которые, по мнению славянофилов, составляют вклад русского народа в мировую культуру.

Только на почве сродства идей мыслили славянофилы 40-х годов объединение всего славянского мира и на такое объединение славянского мира они смотрели как на первую ступень восторжествования дорогих им идеалов во всей мировой культуре. Легко понять, что при этом они всего менее думали о барабанных триумфах, о завоеваниях силою штыков, о принудительных подчинениях кого бы то ни было, и всего менее — о таких насильственных действиях по отношению к единоплеменным славянам.

Свободное самоопределение всех славянских племен входило неотъемлемой принадлежностью в состав политического символа веры русских славянофилов 40-х годов.

Именно от такого-то свободного самоопределения они и ожидали взаимного сближения славянских народностей. Совершенно определенные и категорические заявления в этом смысле можно найти в писаниях старых славянофилов, также как и в писаниях тех позднейших их последователей, которые остались верны основным положениям их учения.

Так, со второй половины XIX ст. наиболее авторитетным представителем и истолкователем славянофильской доктрины являлся Иван Сергеевич Аксаков, свято хранивший заветы своего старшего брата Константина Аксакова, одного из основоположников славянофильства в 40-х годах.

Что же мы читаем в статьях Ивана Аксакова по занимающему нас сейчас вопросу? Вот несколько цитат, не оставляющих желать ничего большего в отношении ясности и определенности.

Основав в 1861 г. газету «День», И. С. Аксаков в одном из первых номеров писал: «Освободить из материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар *самостоятельного* духовного и политического бытия, вот — историческое призвание, нравственное право и обязанность России<sup>2</sup>. Через 4 года в том же «Дне» И. С. Аксаков писал (в № от 13 ноября 1865 г.): «Россия [...] должна высоко и в строгой чистоте держать политическое и духовное знамя славянства *не в смысле честолюбивых замыслов* (выделено Кизеветтером. — М. Д.), а в значении символа, указующего путь, дающего силу жить и бодрости упования бедствующим славянским братьям» [1. С. 50].

В статьях, посвященных названному публицистом славянскому съезду в Москве в 1867 г., он особенно подчеркивал важное значение съезда именно

<sup>2</sup> Обратим внимание на существенный смысловой пропуск Кизеветтера. В подлиннике И. С. Аксаков писал: «Освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельного духовного и, пожалуй, политического бытия *под сению могущественных крыл Русского орла* (курсив мой. — М. Д.), нравственное право и обязанность России» [1, С. 6].

в том отношении, что на съезде была рассеяна легенда о захватных настроениях и вожделениях русского славянофильства. «Нет у нас [России], — писал И. С. Аксаков в приветственной съезду статье, — ни настроений [стремлений] к захватам, ни замыслов на политическое преобразование. [Она] Россия желает только свободы духа и жизни славянским племенам, остающимся *верным* славянскому братству» [1. С. 148]. И в другой его статье по тому же вопросу мы читаем: «Уже прошло то время, когда на умы славянских народов могла действовать [польская и] немецкая ложь о мнимых замыслах России, о ее стремлениях к завоеваниям и к подчинению славян своей государственной власти. Теперь славяне знают и верят, что даже мысль о поглощении независимости славянских племен ненавистна [в] России и полагает она свое [пред]назначение в том, чтобы призвать всех славян к жизни, самобытности и свободе» [1. С. 173].

Я беру эти цитаты из статей, написанных Аксаковым в 60-х гг. XIX ст., но он строго придерживался этих взглядов и до конца своей жизни. В одной из его статей 1883 г. (от 15 ноября) мы читаем: «[Он] панславизм не существует [ни] как [политическая] партия, [ни] как [политическая] программа, [ни] даже как [определенный политический] идеал объединения всех славян — и западных и восточных — в одно политическое тело, даже и в мечтах никому доселе [в точном образе] не представлялось» [1. С. 554, 555]. Он существует лишь как признание славянской общности и единоплеменности. Все чехи, словаки, словенцы и проч. — пробудились именно как славяне... политического панславизма не существует, но он есть, «и как идея, и как факт» [1. С. 569], в качестве духовной солидарности славянского мира.

Думается, что этими цитатами из статьи правоверного представителя славянофильских воззрений в их чистой первоначальной форме исчерпывается вопрос об отрицательном отношении подлинных русских славянофилов к поглощению Россией прочих славянских государств или к подчинению их русской гегемонии.

---

Переходим теперь к тем писателям, которые в 70-х и 80-х годах XIX ст. ввели значительные модификации в строй славянофильских воззрений. Будем и здесь брать наиболее выдающихся представителей этого течения.

В 1869 г. в журнале «Заря» был напечатан обширный труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». В 1871 г. этот труд появился отдельной книгой. Впоследствии в 70-х, 80-х и 90-х годах эта книга была по несколько раз переиздаваема. Н. Я. Данилевский в этом своем труде выступил с так называемой теорией культурно-исторических типов. В противоположность учению об однокольном развитии человеческой культуры автор «России и Европы» выдвинул учение о многокольном ее развитии. Всемирную историю, говорил Данилевский, нужно расчленять не по хронологическим периодам ее возраста — на древнюю, среднюю и новую — а по тем культурно-историческим типам, из которых каждый имеет свои жизненные основы и свою внутреннюю историю. Не существует и не может существовать общечеловеческой цивилизации, говорит он, ибо народы, входящие в тот или иной культурно-исторический тип, имеют свои самобытные цивилизации, основывающиеся на отличных друг от друга началах. Эти начала присущи только народам данного своего типа и никогда их действие не переступит этих границ.

Эта теория представляет собою нечто прямо противоположное славянофильской доктрине, исходившей как раз из представления о том, что культура каждого *исторического* народа раскрывает ту или иную сторону *мирового* разума. Между тем Данилевский именно отбрасывает понятие единства мировой культуры и полагает, что человечество раз навсегда разбито на такие культурно-исторические типы, которые навсегда и безвыходно замкнуты сами в себе, и ни одна из этих разрозненных культур не может получить всемирно-исторического значения. Вот почему глубокое



недоразумение заключается в обычном наименовании Данилевского эталонном славянофильства 70-х годов. Недоразумение основывается лишь на том, что Данилевский считал славянский мир за один из таких особых культурно-исторических типов и противопоставлял культуру славянского мира культуре романо-германской. Однако это лишь черта чисто внешнего сходства с славянофилами 40-х годов. Под этим внешним сходством мы находим коренное внутреннее различие. Противопоставление культуры славянского мира культуре германо-романской там и тут исходило из совершенно различных философско-исторических концепций и имело совершенно различный смысл.

Теория Данилевского имела несомненный успех в некоторых кругах русского общества. Уже значительное количество переизданий его книги указывает на это. Поэтому задача нашего очерка требует исследовать, придерживались ли Данилевский и его последователи мысли о необходимости или желательности поглощения Россией остальных славянских государств.

Данилевский выделял Россию вместе с остальным славянством в единую культурно-историческую группу. Какие же он делал отсюда выводы о желательном порядке политических соотношений между Россией и остальным славянством?

Внимательное изучение хода мыслей автора «России и Европы» ясно показывает, что Данилевский был решительным противником такого захватного поглощения. Он высказывался против этого захватного поглощения как потому, что оно, по его убеждению, чрезвычайно противоречило бы реальным пользам и интересам самой России, так, что для нас в данную минуту еще важнее, и потому, что это не согласовалось бы и с его теоретическим учением о существе и значении культурно-исторических типов.

Оценка практической пользы или вредности той или иной политики может ведь колебаться и меняться в зависимости от хода обстоятельств. Но если то или иное положение противоречит основаниям теоретического учения данного мыслителя, то ясно, что он уже никогда и ни в коем случае не будет с таким положением согласен, пока он остается верен основам своей теории.

Вот почему для нас важно прежде всего вникнуть в теоретические суждения Данилевского о культурно-исторических типах.

В состав одного культурно-исторического типа могут входить, — рассуждает Данилевский, — несколько народов, родственных по основному направлению культуры, и в то же время имеющих каждый — собственное историческое прошлое, собственный язык, собственное национальное самосознание. И вот Данилевский утверждает, что хотя для полноты жизненного развития данного культурно-исторического типа народы, его составляющие, должны находиться во взаимном политическом контакте, но слияние их в одно государство, в единое политическое тело прямо вредило бы общему интересу всей данной культурно-исторической группы, ограничивая развитие ее культурной жизни с той полнотою, с тем духовным богатством, которые даются лишь свободным разнообразием интересов, устремлений, наклонностей, хотя бы и связанных между собой некоторыми началами высшего единства. Вот почему, с точки зрения Данилевского, соединению различных народов одного и того же культурно-исторического типа в одно политическое тело *предпочтительнее* их раздельное политическое существование при наличии тесного контакта между такими самостоятельными государствами, родственными по основным началам культуры. Такой контакт может получить форму либо политической федерации при широкой самостоятельности отдельных членов такого федеративного соединения, либо того, что Данилевский называет «системю государств», вполне друг от друга независимых, но связанных договорными отношениями во имя известных общих задач и целей.

Эти общие положения Данилевский затем конкретизирует специально применительно к русско-славянским отношениям. «Цивилизация, свойственная культурному типу, — пишет Данилевский („Россия и Европа“, гл. XIV) [...], тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства,

когда разнообразные этнографические элементы, ее [его] составляющие, не поглощены одним политическим целым», и на этом основании автор полагает, что «почвою для развития славянской культуры должна быть федерация независимых славянских народов» [2. С. 409]. И несколько далее он еще раз подчеркивает: «Для величия и культурного значения семьи славянских народов [...] нужно не поглощение славян Россией, а объединение всех славянских народов общою идею Всеславянства, как в политическом, так и в культурном отношении» [2. С. 411]. Политической формой такого единения первоначально должен стать тесный союз славянских государств, в котором России по ее обширности и многолюдности будет принадлежать первое место, но это первенство отнюдь не должно носить характера подавления самостоятельности других членов союза. Это будет положение *primus inter pares*. Тесный характер союзной связи, — по мнению Данилевского, — будет диктоваться положением славянства лицом к лицу с враждебным ему Западом.

Данилевский так определяет составные части этого союза: то будут государства 1) русское, 2) чехо-моравско-словацкое, 3) сербо-хорвато-словенское, 4) болгарское, 5) румынское, 6) эллинское, 7) мадьярское и 8) цареградский округ с прилегающими к нему частями Румелии и Малой Азии, окружающими Босфор, Мраморное море и Дарданеллы с полуостровом Галлиполи и островом Тенедосом. В этом списке не значится Польша. Но она не значится потому, что Данилевский оставляет для себя открытым вопрос, выделится ли в будущем Польша из состава русского государства или останется в его составе. Но и в этом, и в другом случае она будет, по мысли Данилевского, иметь место во Всеславянском Союзе, и только на почве образования Всеславянского Союза, — говорит наш автор, — разрешаются благополучно все острые осложнения, связанные с польским вопросом. Автор затем намечает точно территориальный состав каждого из перечисленных славянских государств, но в эти подробности мы входить не будем, ибо нам здесь важно лишь схватить общую идею автора «России и Европы», что же касается конкретных подробностей его плана, то они могли быть оспариваемы по различным соображениям, не имеющим сейчас актуального интереса.

Отметим только, что к намечаемому им Всеславянскому Союзу он присоединил и некоторые неславянские государства, которые, по его мнению, будут иметь и исторические и политические основания примкнуть к этому Союзу. Цареград представлялся Данилевскому столицей этого Союза, не долженствующего принадлежать ни одному из входящих в Союз государств в отдельности. По схеме Данилевского, эта столица всего Союза должна была бы составить общее достояние всего Союза с выработанным определенным порядком этого коллективного обладания.

Наконец, Данилевский полагал, что с течением времени политическая связь между славянскими государствами может без ущерба для интересов славянства принять и еще более просторную форму, т. е. из политической федерации превратиться просто в систему государств одного культурного типа. Эта возможность, утверждал он, явится тогда, когда враждебность Европы к независимому и самостоятельному славянству прекратится — «будет ли то по сознательной необходимости примириться с раз существующим фактом или по [сознанию] своей слабости ниспровергнуть его» [2. С. 455].

Мы не видим надобности входить сейчас в обсуждение и критику выдвигавшихся Данилевским конкретных планов осуществления всеславянского единения. Нам важно было лишь показать читателю, сколь далеко было представленное Данилевским направление русской общественной мысли от подмены панславизма панрусизмом, от требования растворения самостоятельности славянских племен в единовластительстве России над всем миром славянства. Вся выдвинутая Данилевским концепция и в общей своей теоретической основе, и в своих практических очертаниях представляла собой, как мы только что видели, нечто, прямо противоположное каким-либо захватным со стороны России стремлениям.

В неизмеримо большей еще степени, нежели Данилевский, властителем дум в значительном круге русского общества в отношении славянского вопроса являлся Достоевский. Теперь я и обращусь к рассмотрению того, как высказывался Достоевский по данному вопросу.

Достоевский очень сочувственно отнесся к книге Данилевского «Россия и Европа», но, не однажды высказываясь в «Дневнике писателя», что многие мысли Данилевского вполне созвучны его собственному мировоззрению, он тем не менее каждый раз подчеркивал, что эта созвучность далека от полной солидарности и что в очень существенных вопросах он и Данилевский стоят на различных позициях.

И в самом деле для внимательного читателя «России и Европы» и «Дневника писателя» это различие сразу бросается в глаза. Для Достоевского было неприемлемо то, что составляло основную сердцевину воззрений Данилевского, а именно учение о резком и бесповоротном разделении человечества на взаимно отчужденные культурно-исторические типы. Достоевский всецело возвращался к тому положению русских гегельянцев 40-х годов XIX ст., согласно которому культура каждого исторического народа является вкладом в *общечеловеческую* культуру и получает, таким образом, значение *всемирно-историческое*, содействуя тем самым духовному объединению человечества. В статье «Примирительная мечта вне науки» (Дневник писателя, 1877, январь) Достоевский развивает положение, что каждой великой нации свойственно то убеждение, что ей суждено сказать новое слово и *увлечь им все человечество*.

И в то время, как Данилевский, вопреки славянофилам 40-х годов, считал, что открываемые им своеобразные начала славянской культуры непроницаемой перегородкой отделяют славянский культурно-исторический тип от типа романо-германского, Достоевский, в согласии со славянофилами, не устал утверждать, что основные стихии русской славянской культуры, являясь высшим выражением правды, должны получить значение путеводного светила для всего человечества.

В статье «Признания славянофила» (Дневник писателя, 1877, июнь—август) Достоевский прямо говорит, что он согласен со славянофилами в том, что «Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему [европейскому] человечеству и цивилизации его свое новое здоровое и еще не слыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и во истину [уже], и в *соединение всего человечества новым братским всемирным союзом*, начала которого лежат в гении славянства и преимущественно [в духе] великого народа русского» [3. Т. 25. С. 195].

Не был Достоевский во всем согласен и со славянофилами. «Я во многом убеждений славянофильских,— говорил он в той же статье,— хотя и не вполне славянофил» [3. Т. 25. С. 195]. Но тут разногласие сводилось к несколько различной оценке некоторых явлений русской культуры в их противоположности к началам культуры романо-германской. Эти различия носили характер более частный и имели значение второстепенное сравнительно с тем, что объединяло Достоевского со славянофилами, а именно — с признанием за началами славяно-русской культуры общечеловеческого значения.

Но отличаясь, таким образом, и от Данилевского, и от славянофилов, Достоевский вполне сходил с ними в понимании существа русско-славянского единства. Ибо и Достоевский ясно и определенно отстаивал ту мысль, что культурная родственность России и остального славянского мира естественно должна вызвать и политическую солидарность всего славянства, но солидарность эта никоим образом не должна выражаться в утрате каким-либо славянским народом своей самостоятельности. Мысль о поглощении Россией прочих славянских государств находит себе решительный отпор на страницах «Дневника писателя». С совершенной ясностью этот отпор выражен в ноябрьской книге 1877 г. «Дневника писателя». «У России,— читаем мы здесь,— как нам всем известно, и мысли не будет и быть не должно никогда, чтобы расширить на счет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделав из их земель губерний и проч.

Все славяне подозревают Россию в этом [стремлении] даже теперь, равно как и вся Европа [...]. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выскажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам, с самого начала как можно более политическую свободу и отстранив [устранив] себя даже от всякого опекуинства и надзора над ними и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать *силою* (курсив Достоевского.— М. Д.) это опекуинство и политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европа всегда подозрительна» [3. Т. 26. С. 80—81].

Далее Достоевский ставит вопрос — для чего же России нужно проявлять это бескорыстие, эту самоотверженность. И на этот вопрос он отвечает: «Для того, чтобы жить высшею жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом» [3. Т. 26. С. 81].

Статья заканчивается указанием на то, что лишь воссоединением (не политическим, а нравственным) в великое целое «скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству».

Приведенные доселе цитаты, своею категоричностью не допускающие толкования в различные стороны, более чем достаточны для того, чтобы убедиться в том, сколь далек был Достоевский от сочувствия каким бы то ни было захватным поползновениям со стороны России по отношению к славянству. Тут необходимо, однако, остановиться на одном пункте, могущем подать повод к недоразумениям. Достоевский в «Дневнике писателя» не один раз возвращался к доказательству того, что Константинополь должен стать достоянием России. Достоевский вступил по этому вопросу в прямую полемику с Данилевским, который предназначал Константинополю роль столицы Всеславянского Союза и полагал, что, не принадлежа, в частности, ни одному из входящих в этот союз государств, Константинополь должен быть управляем коллегиальной директорией, состоящей из представителей всех славянских стран. Достоевский этот план отвергал и был убежден в том, что Константинополь должен принадлежать России. Достоевский предвидел, что в этом его убеждении многие будут усматривать явное противоречие тому бескорыстию, которое, по мнению Достоевского, должно лежать в основе политики России в славянском вопросе. И потому он входил в подробное разъяснение этого проекта, доказывая, что в данном случае в его рассуждениях нет никакого само-противоречия. Скажем заранее, что к политическим соображениям Достоевского относительно Константинополя можно относиться положительно или отрицательно, можно считать их непрактичными, мечтательными, недоказательными, но нельзя не признать, что он и в этом пункте не сходил с точки зрения политического бескорыстия, как основы русско-славянских отношений.

Во-первых, не нужно упускать из виду, что Достоевский в противоположность Данилевскому представлял себе всеславянское единение не в форме политической федерации, а в форме культурного единения и политической солидарности вполне самостоятельных славянских государств. Итак, Достоевский не мог предназначать Константинополю роли столицы Всеславянской Федерации просто уже потому, что он не считал необходимой саму эту федерацию. А затем, не отрицая того, что обладание Константинополем будет соответствовать жизненным интересам России, [обеспечив] «выход в южные моря», Достоевский усиленно подчеркивал, что принадлежность Константинополя России будет в высшей степени полезна и для всего славянства. Ход мысли Достоевского сводился тут к следующему. Сделать Константинополь ничьим, объявить его каким-то «вольным городом», значило бы превратить его в яблоко раздора между греками и славянами

и в такой же мере между отдельными славянскими племенами Балканского полуострова. А освоение Константинополя каким-либо одним из славянских государств, кроме России, привело бы в конце концов к насильственному захвату ее какой-либо сильной державой, стоящей вне славянского мира, например — Англией. Только принадлежностью Константинополя России могло бы быть предотвращено и то и другое, ибо только Россия могла бы при своей мощи противостоять всяким притязаниям на Константинополь с чуждой славянству стороны и в силу этого и в самом славянском мире не возникло бы стремление оспаривать у России обладания этим городом.

И затем Достоевский опять и опять повторяет и подчеркивает, что Россия должна была бы владеть Константинополем «как покровительница и может быть даже предводительница, *но не владычица* славянского мира», покровительница и предводительница славянских народностей: «с сохранением всего того, чем сами они определили бы независимость и личность свою» (Дневник писателя, март, 1877. «Еще раз о том, что Константинополь рано [ли] или поздно [ли] должен быть наш») [З. Т. 25. С. 66].

---

Я умышленно подвергнул рассмотрению взгляды на политические взаимоотношения России и всего славянства тех русских публицистов, которые сыграли крупную роль в эволюции русского общественного мнения и в то же время по общему характеру своей политической позиции могли бы, при недостаточном знакомстве с их мыслями по данному вопросу, быть заподозренными в сочувствии захватным стремлениям и планам по отношению к славянству.

Думается, что все выше сказанное полностью рассивает возможность подобных подозрений и по отношению к основоположникам русского славянофильства, и по отношению к выдающимся позднейшим модификациям славянофильских воззрений — Данилевскому и Достоевскому. О представителях либеральных и радикальных течений русской общественной мысли нечего и говорить. Никто ведь никогда и не предполагал возможным встретить у них сочувствие тому, что хотя бы косвенно и отдаленно могло бы походить на захватные шовинистические планы и настроения.

Таким образом, если подобные планы и настроения и возникали иногда кое в каких уголках русского общества, то лишь в таких, голос которых не имел сколько-нибудь заметного резонанса в пределах русской ответственности и удельный вес которых в процессе формирования русского общественного мнения был совершенно ничтожен.

Мы можем перейти теперь к другому вопросу, быть может более сложному: в представлениях русских сторонников славянского единения не ограничивался ли мир славянства пределами славянских народностей, исповедующих православную веру? Не исключались ли ими из круга славянского единения славяне других вероисповеданий?

## II

Я опять обращаюсь к представлениям именно тех русских общественных течений, которые всего скорее могли быть заподозрены в стремлении считать вопрос о славянском единении вопросом о единении славян лишь православного исповедания.

Не может быть ни малейшего сомнения в том, что славянофилы 40-х годов усматривали в исповедуемой русским народом православной вере яркое выражение основоположных начал русской культуры. Содержанию и формам религиозного сознания славянофилы придавали громадное значение в процессе формирования народных идеалов и, с другой стороны, в религиозном сознании народа эти идеалы, по их убеждению, получают наиболее чистое и точное выражение. Русское православие, таким образом,

являлось в их глазах неотъемлемым от духовного сознания, вытекавшего из русского народного характера.

Означало ли, однако, все это, что с точки зрения славянофилов начала русской культуры могут рассчитывать на отклик и признание лишь в пределах народов, исповедующих православную веру. Мы уже видели выше, что приписывать славянофилам такие мысли можно было бы при полном непонимании самого существа их мировоззрения. Славянофилы усматривали в основных началах русской культуры высшее выражение *мировой* правды и полагали, что эти начала должны получить в конце концов всемирное значение и всемирное признание. При такой концепции возможно ли было славянофилам отгораживаться от духовного единения с теми славянскими народностями, которые не принадлежат к православной церкви? Духовное единение всего славянского мира славянофилы рассматривали как ближайший первый этап к духовному братству всего человечества. Так могла ли при этом являться мысль о расщеплении самого славянского мира на овец и козлий по вероисповедному признаку? Такого расщепления мы и не найдем у славянофилов, если задумаемся глубоко в существо их учения, если же некоторые отдельные их высказывания, взятые отрывочно, от общего контекста их воззрений, могут порой дать повод к такому истолкованию их мысли, то при внимательном анализе это истолкование оказывается в конце концов плодом недоразумения.

Конечно, вероисповедные различия имели в глазах славянофилов громадное значение и они не скрывали своего сожаления о том, что часть славянства волею исторических судеб оказалась за пределами православного мира. Но это, печальное с точки зрения славянофилов, обстоятельство отнюдь не порождало в них чувства отчуждения от неправославных славянских народностей. Напротив, славянофилы испытывали и громко выражали братские чувства по отношению ко всему славянскому миру, независимо от вероисповедных перегородок, хотя они и сожалели о наличии этих последних. Можно было бы привести многочисленные факты гласного саявления славянофилов об их дружественных чувствах по отношению к Польше, хотя они и не скрывали отрицательного отношения к тем сторонам польского общественного строя, в которых они видели результаты влияния латинского Запада. Не было недостатка и в тех выражениях радостного привета, симпатии, любви, которые посылались представителями славянофильской мысли чешскому народу, и борьбу чехов за национальную самостоятельность славянофилы всегда рассматривали как великое *общеславянское* дело. Мы опять можем воспользоваться для иллюстрации славянофильских воззрений по этим вопросам статьями Ивана Аксакова, этого правоверного выразителя чистой славянофильской доктрины.

Все статьи Ивана Аксакова по вопросу о Польше проникнуты той руководящей идеей, что Россия, как славянская держава, не должна идти в этом вопросе рука об руку с Германией и Австрией. В этом отношении славянофильская позиция была решительно противоположна официально-правительственной позиции. Аксаков исходил из той идеи, что «русская политика, согласная с интересами русского народа, не может стремиться к подавлению какой бы то ни было славянской народности» — и никакого различия между православными и неправославными славянскими народностями Аксаков при этом не проводил.

Задача немецких держав, — утверждал Аксаков, — состоит в онемечении польского народа, а для России такой исход был бы величайшим вредом. И столь же решительно Аксаков высказывался против насильственной русификации Польши. Всякие меры, направленные на стеснение свободы польского языка и других проявлений народной польской культуры, встречали в Аксакове непреклонного противника, и в этом заключалось глубокое отличие позиции славянофилов в польском вопросе от направления Каткова. Если Аксаков был решительным противником искусственной колонизации русского населения западноукраинских областей, то он столь же решительно поднимал свой голос и против насильственной русификации подлинной Польши.

Чтобы убедиться в братских чувствах Аксакова по отношению к чехам, достаточно прочитать его статьи, в которых он касается противочешской политики австро-венгерского дуализма. Борьбу чехов за национальную свободу Аксаков прямо провозглашает общеславянским делом, и когда в 1868 г. в Праге состоялась грандиозная национальная демонстрация при закладке народного театра, Аксаков, посвятив одушевленную статью описанию этого торжества, закончил статью возгласом: «Приветствуем первое славянское вече!» [1, С. 203]. Так вероисповедные различия, которым Аксаков придавал серьезное значение, тем не менее отодвигались в его глазах совсем на задний план перед идеей всеславянского братства.

Представитель учения о культурно-исторических типах Данилевский, выделяя славянство в особый «тип», также не останавливался перед вероисповедными перегородками, и, при том, не потому, чтобы он не придавал вероисповедным различиям никакого значения, а *несмотря на то*, что их значение было в его глазах весьма велико.

В нескольких местах своего сочинения Данилевский останавливается на изображении того, насколько, по его мнению, «латинство» не сродно основным особенностям славянского характера. Он не однажды говорит о том, как искажающе подействовало латинство на славянские черты народного характера поляков и, с другой стороны, он с удовлетворением отмечает, что у чехов сила славянской стихии превозмогла неблагоприятное влияние латинства, что выразилось и в полном отсутствии у чехов религиозной нетерпимости, и в том мощном отпоре односторонностям католицизма, который выявился в гуситском движении. Все эти рассуждения Данилевского показывают, что религиозному вопросу он придавал значение не в меньшей мере, нежели славянофилы. И тем важнее отметить, что, *несмотря на это*, Данилевский включает в число представителей и носителей славянского культурно-исторического типа все славянские племена независимо от вероисповедных различий, как это уже показано выше при изложении его теории культурно-исторических типов.

«Всеславянский Союз, — говорит Данилевский, — должен обнять все страны и народы от Адриатического моря до Тихого океана и от Ледовитого океана до Архипелага» («Россия и Европа», гл. XIII, с. 385). Эта необходимость, говорит он тут же, представляется, — 1. этнографическим сродством народных элементов, входящих в состав всей этой группы, и 2. силой опасности, одинаково им всем всегда грозящей со стороны других групп. Вот, следовательно, основы, по мнению Данилевского, всего сильнее цементирующие общую связь народности одного и того же культурного типа.

Что же касается вероисповедных различий, то их наличность в пределах одного и того же культурно-исторического типа могут ослаблять и осложнять внутреннее сцепление в пределах такого типа, но единство типа им отнюдь не уничтожается и сквозь различия; обусловливаемые вероисповедной разницей, все же явственно сквозят черты родства, порождаемые общей этнографической основой.

Таково — учение Данилевского. Разбор этого учения по существу в нашу задачу не входит. Нам важно лишь показать, что теория Данилевского при всех ее отличиях от теории славянофилов сходится с нею как раз в том, что в понятие всеславянского единства и тут и там включаются славяне всех вероисповеданий, без какой-либо сортировки по вероисповедному признаку.

Наиболее сложную задачу представляет изучение постановки этого вопроса у Достоевского. Здесь всего легче у исследователя могут возникнуть недоразумения. И нам необходимо поэтому обстоятельнее остановиться на том, как Достоевский ставит и решает для себя эту проблему.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксаков И. С. Полное собрание сочинений. М., 1886. Т. 1.
2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1871.
3. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Л., 1983. Т. 25, 26



## О РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРАГЕ (1920—1930-е годы)

Обозначенной в заголовке теме посвящено публикуемое ниже письмо В. В. Морковина чешскому литературоведу Моймиру Ботуре, относящееся к началу 1960-х годов (документ хранится в личном архиве автора данной публикации). История его такова. В октябре 1960 г. Институт мировой литературы в лице Е. Г. Коляды обратился к Чехословацко-советскому институту в Праге с просьбой помочь прокомментировать письмо А. М. Горького к А. Д. Хилкову (декабрь 1932 г.), прояснить смысл содержащихся в нем слов «пражские настроения молодежи». Сотрудник Чехословацко-советского института М. Ботура, в свою очередь, попросил рассказать об этом В. В. Морковина, одного из участников и очевидцев общественной жизни русской молодежи в Праге в 20—30-е годы. Его ответ М. Ботуре, думается, представляет исторический интерес, так как нам мало что известно о жизни эмигрантской молодежи. Не давая оценок суждениям В. В. Морковина, подчеркнем лишь, что своими воспоминаниями он делится не теперь, а в 60-е годы, имея в виду общественную атмосферу того времени.

К сожалению, сведения о Вадиме Морковине, кроме тех, которые он сообщает о себе сам, скудны. Судя по всему, он подростком покинул Россию, среднее и высшее образование получил в Праге. Будучи в начале 30-х годов студентом инженерно-строительного факультета, он в то же время принимал активное участие в деятельности пражского литературного кружка «Скит», объединявшего живших в Праге молодых русских поэтов и прозаиков. Об этом свидетельствуют его стихи в 1-м (1933) и 2-м (1934) выпусках поэтического сборника «Скит». После 1945 г. В. В. Морковин остался в Чехословакии, сохраняя интерес к литературной деятельности. Время от времени на страницах журнала «Чехословацкая русистика» появлялись его посвященные русской литературе публикации. Это все, что нам удалось узнать об авторе предлагаемого читателям журнала письма. Оно воспроизводится с минимальной необходимой правкой.

Уважаемый товарищ Ботура,

согласно Вашей просьбы я постарался собрать сведения о настроениях русской молодежи в Праге в 30 г. нашего века. Надо сказать, что это тема очень обширная, и исчерпывающий ответ на нее требует тщательного изучения старых газет и других архивных материалов, что, конечно, я не мог произвести. Я ограничился поэтому лишь беседами с людьми достаточно хорошо знающими этот вопрос в виду личного их участия в тогдашней общественной жизни. Я постараюсь при этом описать события как можно более точно, даже если придется говорить о вещах неприятных, так как важность темы требует максимальной правдивости.



Для того, чтобы понять настроения и чувства пражской русской молодежи, нужно прежде всего иметь представление о том сложном, многогранном и, вероятно, единичном в целой истории явлении, которое очень неточно принято называть русской эмиграцией. Основным фактором здесь, конечно, является многочисленность. Считается, что в начале 20-х годов, вне границ Советского Союза, жило около 2 миллионов человек русской культуры. Это были, прежде всего, русские, оказавшиеся вне границ Советского Союза, в результате образования новых государств. Эти люди, никуда не уезжавшие, конечно, эмигрантами не были, но и они, естественно, принимали как-то такое участие в общественной жизни. Но тут возникало явление некоей «вторичной» эмиграции, объясняющееся тем, что националистические правительства новых государственных образований очень часто притесняли русские меньшинства, закрывали русские школы и под. В силу этого русская молодежь уезжала в Париж и Прагу, где имела возможность, в той или иной форме, продолжить свое образование.

Затем, в крупных европейских центрах сохранялось значительное количество людей, эмигрировавших еще в царские времена. Это были, с одной стороны, революционеры разных толков, с другой — русские евреи, покинувшие Россию в результате антисемитской царской политики.

Далее, здесь были остатки белых армий, покинувшие Родину в результате своего поражения. Эти люди в эмиграции в первое время «задавали тон», но хотя они были, естественно, связаны общей для них белой идеей, надо отметить, что сознательных сторонников этой идеи среди них было меньшинство, а большинство оказалось в белых армиях более или менее случайно, в силу мобилизации и под., и особенно в никакую белую идею не веровало.

Последней категорией были люди, приехавшие из Советского Союза уже значительно позже окончания гражданской войны.

Уже из самого этого перечисления ясно, что политические установки и настроения всей этой массы людей были самые разнообразные и ни о каком единстве здесь не могло быть и речи. Если же сюда причислить еще и украинских и кавказских националистов, казачьих сепаратистов, еврейские и другие меньшинственные группировки, то картина получится чрезвычайно пестрой. Таким образом, выражение «русская эмиграция» имеет скорее национальный, а не политический характер.

Русская эмиграция рассеялась по всему миру. Русских эмигрантов можно было встретить в самых глухих уголках Индонезии, в джунглях Африки и Южной Америки, где даже в Парагвае возникли новые русские поселения. Однако главные скопления находились в Китае, в лимитрофных государствах в Европе, затем в Германии, Франции, Чехословакии, Болгарии и Югославии. При этом надо отметить влияние географического фактора — в Китае и лимитрофах главную массу русских представляли коренное население, которое жило преимущественно местными интересами; в Болгарии и Югославии в то время были полицейско-монархические режимы, преследовавшие все прогрессивное, — поэтому здесь основалась наиболее реакционная часть эмиграции. Наоборот, ее наиболее прогрессивная часть жила в Чехословакии и Франции — странах с наиболее развитой формой буржуазной демократии. Вскольз следует отметить, что в эмиграции выходило значительное количество газет и журналов (самых различных толков), была создана своя литература, своя живопись и свои балетные и музыкальные произведения.

Считается, что в начале 20-х годов среди русских, живших за рубежом, было около 25 000 студентов. Надо отметить здесь благородную позицию Чехословацкого правительства, широко предоставившего русской молодежи возможность получить образование в чехословацких школах и университетах. За десять лет до начала тридцатых годов здесь получило образование около 11 000 студентов. Люди эти, после окончания школы, в значительной мере уезжали из Чехословакии, да и вообще из Европы, так как из-за начавшегося экономического кризиса не могли получить тут работу.

Уже в начале 20-х годов среди русской молодежи стали возникать студенческие союзы. Во всех странах русского рассеяния их было около 40. Эти союзы объединились между собой в свою очередь, и так возникло Объединение русских эмигрантских студенческих организаций или сокращенно по начальным буквам ОРЭСО. Правление ОРЭСО несколько раз устраивало съезды своих представителей — три в Праге и один в Париже. В виду того, что в начале 30-х годов главная масса студентов окончила свое образование, на этот период падает и конец ОРЭСО.

По своим политическим установкам настроения этих союзов определялись так — прежде всего здесь были крайне правые, все еще базировавшиеся на белой идее, союзы, которых в 20-х годах было большинство. В виду их численности председатель ОРЭСО избирался из их среды. Затем были союзы, объединявшие сторонников буржуазной демократии, тоже входившие в правление ОРЭСО, где они были в оппозиции. Значительное число союзов представляло студентов, политикой почти не интересовавшихся и объединенных лишь в профессиональных целях, так наз. «бытовиков». Наконец, в ОРЭСО входили казачьи студенческие союзы, объединявшие студентов по линии их казачества, так что в таком союзе были свои правые, демократы и «бытовики». Однако, как все союзы, так и ОРЭСО в целом, стояли на противобольшевистской точке зрения. Об их настроениях в начале 20-х годов свидетельствует следующий факт — в Прагу в то время приехал известный общественный деятель буржуазно-демократического толка П. Н. Милюков, выступивший здесь с докладом на политические темы. Милюков стоял тогда на противобольшевистской точке зрения, но был трезвым политиком. В своем выступлении, обращаясь к русской молодежи, он сказал:

— Не знаю, когда вы вернетесь в Россию, не знаю — вернетесь ли вообще, но знаю одну — вы никогда не вернетесь туда на белом коне...

Это его заявление вызвало дикий скандал. Свистели, улюлюкали, не дали ему говорить...

Еще в начале 20-х годов в странах с коренным русским населением возникло течение, солидаризировавшееся с революционной действительностью в России. Представители этого

течения стали издавать свой журнал, называвшийся «Смеиа веж». Это имя стало нарицательным, и слово «сменовеховец» на долгие годы стало обозначать людей, принявших советское мировоззрение. Подобные настроения в студенческой среде были особенно сильны в Германии, но имели значительное число сторонников и в Чехословакии и Франции. «Сменовеховские» студенческие союзы в ОРЭСО, естественно, не входили и занимали по отношению к нему резко враждебную точку зрения. Эти студенты, после окончания высшего учебного заведения, обычно возвращались на Родину или, по крайней мере, входили в «Союз возвращения на Родину». Поэтому в тридцатых годах слово «сменовеховец» стало постепенно исчезать, вместо этого говорили «возвращенец».

Здесь следует привести интересный факт — первый председатель ОРЭСО — Вязков, сильно критикованный на 2-м съезде ОРЭСО за свое слишком правое руководство, неожиданно «сменил вежи». Он умер от туберкулеза, не успев практически применить свои новые взгляды. Второй председатель ОРЭСО — Неандр, также подвергшийся сильной критике на 3-м съезде ОРЭСО и опять таки за свое слишком правое руководство — тоже «сменил вежи» и уехал в СССР. Точно также и председатель казачьего студенческого союза — Грбенников. Из этого факта нельзя делать никакого вывода по отношению к ОРЭСО, но он показателен в том смысле, что уже в середине и конце 20-х годов в студенческой среде советофильские настроения имели место.

Положение стало меняться в первой половине 30-х годов. К этому времени абсолютное большинство уже окончило высшие учебные заведения и, перестав быть студентами, стало рядовыми эмигрантами. В связи с этим почти все студенческие союзы прекратили свое существование, а рядовая эмигрантская среда, в основном, ни в какие союзы и объединения не входила, за исключением чисто профессиональных организаций — союза ресторанных служащих, работников швейной промышленности, инженеров, врачей. Несколько крайне правых союзов, объединявших, например, бывших белых офицеров, находились в разлаженном, с одной стороны, из-за инертности своих членов, с другой — из-за ряда скандалов, финансового и другого характера, в них обнаруженных. Настроения эмиграции определяли также международные факторы — тяжелый экономический кризис, ударивший в первую очередь именно по русским, всем понятный конец «версальской» Европы, все возмущавшее положение Советского Союза, наконец, приход Гитлера к власти в Германии. Справедливость требует сказать, что основная часть эмигрантской прессы с самого начала заняла резкую антигитлеровскую позицию, печатала на немецких «вождей» ядовитые карикатуры и проч.

К этому времени относится несколько попыток оживить политические настроения русской эмиграции. Одной из них было движение так наз. «евразийцев». Их основной мыслью было, что-де Россия идет «своими путями» (так они и назвали свой журнал), совершенно отличающимся от путей Европы, пытались обосновать эти пути на основании истории не только славянской части населения и признали Великую Октябрьскую Революцию основным фактором новейшей русской истории. Это их утверждение вызвало удивление и недоверие значительной части эмиграции, все еще стоявшей на консервативных позициях. В общем, евразийство следует считать движением идеалистически-умозрительным, созданным кучкой профессоров, вызывавшим интерес своей новизной, но имевшим сравнительно мало последователей. Позднее это движение распалось, часть его сторонников вошла в «Союз возвращения на Родину».

Другим движением был «Союз молодой России», членов которого попросту называли «младороссами». Признавая равным образом Великую Октябрьскую Революцию основным фактором русской истории, они создали совершенно фантастическую программу, а именно — «царь и советы». Они вели себя довольно громко, на собраниях скандировали разного рода лозунги, но тем не менее никакой популярности не приобрели и остались немногочисленной кучкой. И от них потом часть ушла в «Союз возвращения». Надо, впрочем, отметить, что после некоторого шатания «младороссы» заняли антигитлеровскую позицию.

Последней группой, приобретшей, к сожалению, известное влияние, особенно среди так называемого «третьего поколения» (счет в эмиграции велся так — «первое поколение» — люди, уже сложившиеся в России до войны, «второе поколение» — молодежь, окончившая среднюю школу в России, а вышлую — за границей, «третье поколение» — молодежь, учившаяся и в средней школе за границей), был так наз. «Союз нового поколения», членов которого попросту называли «нацмалычками». Это была крайне правая группировка, постепенно съезжавшая на явно фашистские позиции, в конце 30-х годов пришедшая к гитлеризму и впоследствии с ним сотрудничавшая.

В начале 30-х годов произошло одно, в сущности незначительное, событие, получившее, однако, некоторую известность и, кажется, введшее в заблуждение и А. М. Горького. Я принимал в нем некоторое участие, а потому могу рассказать все как очевидец.

В то время (дело происходило, если не ошибаюсь, в 1932 г.) уже ОРЭСО не существовало, а оставшиеся немногочисленные русские студенты были объединены в полуформально-полуадминистративном «Студенческом центре». Во главе этого центра стоял старостат из 5 лиц, где я представлял слушателей строительного факультета, некто Горохолинский — студентов университета. Как-то раз нам нужно было обсудить какие-то вопросы с представителем тогдашней Лиги Наций в Праге, тоже случайно русским — П. А. Гессе. К нему поехала делегация из трех лиц — Горохолинского, еще одного студента и меня. После окончания разговора с П. А. Гессе, нас оставил пить чай, а в это время пришла известная общественная деятельница Е. Д. Кускова. Она интересовалась настроениями молодежи и, не зная до того Горохолинского, пыталась получить от него прямо на месте нечто вроде интервью. Горохолинский, склонявшийся тогда к настроениям «нацмалычков», с Кусковой на политические темы беседовать не захотел, может быть, не желая вызывать споры в квартире представителя Лиги Наций, а может быть, в силу ненависти, питаемой «нацмалычками» к демократке Е. Д. Кусковой. Словом, он всячески от ее вопросов вывертывался, отвечая «не знаю», «я об этом не думал»

и под. Кускова через несколько дней напечатала в газетах статью, кажется под названием «Беседа со здешним» или что-то в этом роде, где представила Горохолинского (впрочем, не называя его имени) как дурачка. Недолго перед этим она к тому же напечатала статью «Беседа с тамошним», в которой описывала свою беседу с советским молодым человеком. Сравнение обеих статей было очень невыгодно для «эмигрантского» молодого человека. Обе статьи вызвали большую газетную шумиху. А. М. Горький был совершенно явно введен в заблуждение, приняв оппозицию небольшой и уже тогда в эмиграции непопулярной, крайне правой группы по отношению к представителю левых течений за оппозицию слева (А. М. Горькому, естественно, Е. Д. Кускова казалась правой, а «нацмалычикам» — левой).

Ко второй половине 30-х годов уже все старые политические течения практически исчезли. Вместо них вся эмигрантская масса разделилась на «оборонцев» и «пораженцев». «Оборонцы» полагали, что в грядущей войне обязанностью каждого честного эмигранта является защита всеми возможными средствами Советского Союза. Следует отметить, что число «оборонцев» с самого начала было очень значительно и с каждым днем возрастало, причем почти что не играли значения предшествующие политические взгляды. Е. Д. Кускова со своими последователями, естественно, стали «оборонцами», но, например, Керенский, считавшийся в эмиграции «левым», стал «пораженцем». Интересно привести следующий факт — незадолго до начала второй мировой войны в Прагу приехал известный генерал Деникин, возглавлявший когда-то одну из белых армий, и устроил доклад на международные темы. На нем он сказал:

— Вот, многие говорят, что в грядущей войне Красная Армия победит. А я думаю, что не победит...

Гром рукоплесканий и приветственных криков сопровождал эти слова. Рукоплескали те самые люди, которые пятнадцать лет назад не дали Милюкову говорить.

Целый ряд общественных деятелей начали выступать с заявлениями о необходимости защиты Советского Союза. Тот же Милюков опубликовал свое известное письмо на эту тему, ставшее выразителем идей и настроений всей эмигрантской массы.

Эти настроения нашли себе прямое проявление в жизни. Много русских людей сражалось против гитлеровской армии во французских частях, приняло участие в словацком и пражских восстаниях, были заключены в немецких концентрационных лагерях.

Этим, собственно, история того своеобразного эксперимента, который себе мог позволить только русский народ — создав многомиллионную эмиграцию со своей прессой, литературой и искусством — кончается. Немногочисленные группки, лелеемые за океаном, в счет не идут и никакими симпатиями среди русских не пользуются. Много русских вернулось после окончания войны в Советский Союз, а кто в силу разного рода обстоятельств не вернулся, те уже не считают себя эмигрантами, а лишь русскими, вполне солидарными с генеральной линией Советского правительства.

Надюсь, что я этим письмом, хоть и не полно, но все же показал Вам историю общественной мысли в эмиграции. Тема, как Вы видите, большая и, конечно, в свое время будет подробно изучена.

Дружески Ваш

В. Морковин



## МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Седакова О.А.

### Церковнославянско-русские паронимы

**ЎПОЛЧЕНІЕ** – войско, силы: *Ўгради насъ стѣми твоими ѿглы, да ѱполченіемъ ихъ соблюдеши и наставаеши достигнемъ въ соединеніе вѣры и въ рѣзъмъ непрістѣпна твоеа славы – Огради (окружи) нас святыми Твоими ангелами, чтобы воинством их хранимые и ведомые, мы пришли к единству веры и к истине Твоей непріступной славы (М. Пов.).*

**ЎПРАВДАНІЕ** – закон, установление, суд, δικαίωμα: *ѿкѡ всѧ сѣдѣвы ѡгѡ предо мною, и ѱправданіа ѡгѡ не ѡстѣпнша ѡ менѣ – Ибо предо мною все заповеди Его, и установления Его не отступили от меня (Пс. 17,23); Бѣгословенъ вси гдѣи, научи мѧ ѱправданіемъ твоимъ. Бѣгословенъ вси вѣдѡ, вразуми мѧ ѱправданіемъ твоимъ. Бѣгословенъ вси, стѣи, просвѣти мѧ ѱправданіи твоими – Благословен Ты, Господи, научи меня заповедью (повелением, законом) Твоею. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня заповедью Твоею. Благословен Ты, Святой, просвети меня заповедями Твоими (Рим. 1,32); Сіе бѣдетъ ѱправданіе цѣрево, иже цѣрствовати имать надъ вами – Таким будет закон (право) царя, который будет царствовать над вами (1 Цар. 8,11); ѱправданіе вѣже разумѣше, ѿкѡ такѡваа творѣщи дѣстѣи ни смѣрти сѣтъ – Зная, что по закону Божиему делающие такое заслуживают смерть (Рим. 1,32).*

**ЎПРАВДИТИ, ѱПРАВДИТИ (ѱПРАВДАЮ)** – 1: сделать праведным, очистить: *хрѣте вѣже, мы тарѧ ѱправдивыи (П.Пр.); 2: прославить: И вси люде слышавше и мы тарѧ, ѱправдиша вѣа, креѣшеса креѣненіемъ ѡанновымъ (Лк. 7,29).*

**ЎПРАВДАТИСА** – очиститься, получить оправдание (прощение): *рѣцы со дерзновеніемъ дѣаніа и помышленіа хрѣта и ѱправдайса – Расскажи, не смущаясь, дела (свои) и помышления Христу, и очистишься (Вел.К. пнд., п.4).*

**ЎПРОВѢРГНУТИ (ѱПРОВѢРНѢ)** – опрокинуть: *Тѡржннкѡмъ разсыпа пѣнази, и дскѣи ѱпровѣрже – У меняял рассыпал деньги, и столы их опрокинул (Ин. 2,15).*

**ЎРАТИ (ѱРЮ)** – пахать: *Насъ во рѣди написеса, ѿкѡ ѡ надѣждѣ долженъ ѡсть ѡрѧи ѡрати – Ибо для нас написано, что пахарь должен пахать*

Продолжение. Начало см. Славяноведение. 1992. № 5 – 1993. № 2.

с надеждой (1 Кор. 9,10).

**О́РГА́НЪ** – духовой музыкальный инструмент, многоствольная флейта: **О́рца мой сотвори́тъ о́рганъ** (Пс. 151).

**О́РЪЖІЕ** – доспех, ὄπλα: **О́блаци ны во о́рѣжїе свѣта** (Веч.; ср Рим. 13,12).

**О́СКВЕРНИ́ТИ** (о́сквернѣю) – 1: осквернить; 2: признать, объявить скверным (нечистым): **И оу́зритъ жре́цьъ ѣзвѣ ... и о́сквернѣтъ ѣго́ жре́цьъ** – *И осмотрит жрец язву ... и объявит его (прокаженного) нечистым* (Лев. 13,30).

**О́СКОРВѢ́ТИ** (о́скорвѣлю), **О́СКОРВѢ́АТИ** (о́скорвѣляю) – 1: обидеть, стеснить (см. **СКО́РБЬ**): **Не о́скорвѣа́и** (μη λυπη) **дха́ стаго**; **Ѡдино предста́тельство о́скорвѣа́емыхъ** – *Единственное заступничество обиженных* (КАИС); **Се́го оу́моли Ѡ о́скорвѣа́ющихъ мѧ́ со́ла́ изба́вити** – *Умоли Его спасти меня от теснящих меня несчастий* (КАХ); 2: поразить, ἐχθλίβειν: **О́скорвѣю ѣхъ и не возмо́гутъ встѣти** – *Поражу их, и не смогут подняться* (Пс. 17,39).

**О́СКОРВѢ́ТИ** (о́скорвѣю) – опечалиться: **О́скорвѣ́ же пѣтръ, ꙗ́ко ѣмѣ́ трѣ́тїе лю́бвиши ли мѧ́;** – *Петр опечалился, что в третий раз [Он] сказал ему: «Любишь ли меня?»*. (Ин. 21,17).

**О́СЛА́БИТИ** (о́слабляю) – облегчить, дать возможность: **О́слави ми гдѣи, о́слави ми** (Вел. пов.).

**О́СЛАВЛѢ́НІЕ** – облегчение: **И на́сть ми о́славлѣ́нїа, занѣ́ прогна́вахъ ѣро́сть твою́** (Вел.Пов.).

**О́СТАВЛѢ́НІЕ** – освобождение, прощение: **И́зъ нѣхже сѣзвѣа́ намѣ́ исто́чи то́ки о́ставлѣ́нїа, и познѣ́нїа во ѡ́бразъ дрѣвнѣа́го и но́ваго дво́ихъ вкѣпѣ́ за́вѣтовъ** (ὁδὸρ τῆς ἀφέσεως καὶ γνώσεως) – *Из которых (из ребр) источил нам двойной источник прощения и познания, в образ двух Заветов вместе, Ветхого и Нового* (Вел. К. ср., п.4).

**О́СТАВНІ́ТИ** (о́ставляю), **О́СТАВЛѢ́АТИ** (о́ставляю) – 1: прощать, ἀφώμι: **И о́стави намѣ́ долги на́ша, ꙗ́ко и мы о́ставляе́мъ должнико́мъ на́шимъ** (Мф. 6,12); 2: передать, ἀφίημι: **Мнѡ́р о́ставляю ва́мъ, мнѡ́р мѡ́и даю ва́мъ** (Ин. 14,27); 3: покинуть, καταλείπω: **Се́го ра́ди о́стави́тъ чело́вѣкъ ѡ́тца́ своегѡ́ и ма́терь** (Мф. 19,5); 4: разрешить (АНТОНИМ. **ВРА́НИТИ**): **О́стави́те дѣ́тей приходя́ти ко мнѣ́ и не вра́ните ѣмъ** (Мк. 10,14).

**О́СТА́ТИСА** – прекратить, отказаться, ἀπολείπεσθαι: **И о́станїса́ прѡ́че пре́жнѣа́го безсло́вїа** – *И впредь откажись от прежнего безумия* (Вел. К.).

**О́СТРОУ́МНЫ́Й** – одаренный, ευφυής: **О́строкъ же ва́хъ о́строу́менъ, дѣшѣ́ же ползѣ́ихъ ва́лгъ** (Прем. 8,19).

**О́СТРЫ́Й** – быстрый, ἀνχύνοος: **И о́строе твоѣ́ оу́потреби́ви и дѣ́нство сокру́ши сатана́ у ногъ ѣго́** – *И применив Твое быстрое действие, сокруши сатану у ног его (оглашенного)* (Посл. огл.).

**О́СѢНѢ́НІЕ** – тень, ἀποκίασμα: **Оу́ неѡ́же на́сть пре́мѣнѣ́нїа или́ приложѣ́нїа** (О́сѣнѣ́нїе – *У Кого нет изменения или тени перемены* (Пол. повс.):

**О́СЛЪЗѢ́НІЕ** – прикосновение: **Тѣрпѣ́тъ хрѣ́тосъ чело́вѣколю́биво и о́слъзѣ́нїа, ꙗ́коже и крѣ́тъ прѣ́жде се́го ...** – *Человеколюбиво терпит Христос прикосновения* (Фомы), как и прежде того – *крест* (Под. веч.

антипасхи).

**УСАЗАТИ** (Усазаю, Усажѣ) — касаться: Усажити мѣ и видѣте (Лк. 24,39); И да вѣдетъ тмѣ по землѣ египетскѣй, Усазаемаѣ тмѣ (Исх. 9,21).

**УВѢТЬ** — 1: извещеніе, χρηματίζω ● **УВѢТЬ ПРІІАТИ** — быть извещеннымъ: Вѣрою, Увѣть пріимъ и ѡе, ѡ сѣхъ, ѣже не ѡувидѣ оубо авса сотвори ковчѣтъ ... — По вере Ной, получив извещеніе о том, чего еще не видел, ... с благоговеніемъ приготовил ковчег ... (Евр. 11,7); 2: ответственность, отчет, оправданіе, ἀπολογία: Всакаго во Увѣта недозвѣюще ... (Л.Зл.); И добраго Увѣта на страшнемъ сѣдѣи хрѣтовѣ, пробсиъ (Ект.прос.).

**УВѢЩАТИ** (Увѣщѣю) — оправдывать: Спослѣшествѣющей ѣмъ совѣсти и мѣждѣ собою помыслиомъ Усѣждающе мѣ илѣ Увѣщѣюще мѣ (Рим. 2,15).

**УВѢЩАТИСА** (Увѣщѣюса) — проститься, ἀποτάσσω: Идѣ по тебѣ гдѣ: прѣжде же повѣи мѣ Увѣщѣтиса, ѣже сѣтъ въ домѣ моѣмъ — Пойду за тобой, Господи, но прѣжде позволь мнѣ проститься с домашними моими (Лк. 9,61).

**УДОИТИ** (Удою) — отнять от груди (младенца): И возрастѣ отрочѣ и Удоено вѣистъ: и сотвори авраамъ оубрежденіе веліе вѣнже дѣнь Удоиса ісаакъ сынъ егѣ (Быт 21,8).

**УТѢЧЕСТВІЕ** — 1: племя, πατρία: Ѡ сѣмени твоѣмъ возблгословѣте всѣ отѣчествѣа земнѣа — В семени твоѣмъ (Авраама) благословѣтся все семена земли (Деян. 3,25). Принесѣти гдѣи отѣчествѣа іазыкъ, принесѣте гдѣи славу и чѣтъ — Воздайте Господу, язычскіе племена, воздайте Господу славу и чѣтъ (Пс. 95,7); 2: дальнейшее (вслед за

КОЛѢНОМЪ и ДѢМОМЪ) подразделение племени (син. рѣдѣ), патриа: Всыде же и іосифъ Ѡ галілен, ѣзъ града назарѣта во іудѣю, во градѣ давидовѣ, ѣже нарицѣтея видлѣемъ, занѣ быти емѣ Ѡ домѣ и отѣчества давидова (Лк. 2,4); И совра царь соломѣнъ всѣ старѣишины ісраилевѣ, всѣ начѣла колѣнъ, старѣишины отѣчествъ сыновъ ісраилевыхъ (3 Цар. 8,1); 3: родина, πατρίς: Влика слышахомъ бывша въ капернаѣмѣ, сотвори и за въ отѣчествѣи своѣмъ (Лк. 4,23) ● **НЕБЕСНОЕ (ИСТИННОЕ) УТѢЧЕСТВІЕ (УТѢЧЕСТВО)** — рай: Дѣша возвращѣтея въ отѣчество своѣ (Ак. Заул.); И возжелѣнное отѣчество подаждѣ мѣ, раѣ пакѣ житѣла мѣ сотворѣа (Посл. огл.).

**УКРОВѢННЫ И** — 1: явный, явленный (в противоп. сокровенномъ, тайномъ); 2: непокрытый, ἀκατακάλυπτος: Лѣпо ли ѣсть женѣ Укровѣннѣй вѣъ молѣтиса — Хорошо ли женщине с непокрытой головой молѣтиса Богу? (1 Кор. 11,13).

**УКРЫТИСА** (Укрыюса) — 1: открыться : Гдѣ, ктѣ вѣрова слыхѣ нашѣмъ, и мышца гдѣа комѣ Укрыса — Господи, кто поверил слышанному от нас, и рука Господня кому открылась? (Ин. 12,38; Ис. 53,1); 2: явиться: Глаблѣи сѣщѣмъ во оубахъ, изыдите, и сѣщѣмъ во тѣмѣ, Укрыи тѣа — Говорящѣй тем, кто в заключеніи: «Выходите!» и тем, кто во тѣмѣ: «Явитесь!» (Треб.).

**УТЛАГАТИ** (Утлагаю), **УЛОЖИТИ** (Уложѣ) — удалить, прекратить: Всакоѣ ны не житѣйское Уложимъ попечѣніе (Л.Зл.).

**УТМѢННЫ И** — отличны (от другихъ): Іѣкѣ неподѣбно ѣсть инѣмъ житѣе егѣ и Умѣнны сѣтъ пѣти егѣ (Прем. 2,15).

**ШЛОЖЕННЫЙ** – приготовленный, ἀποκειμενος: За оупованіе Шложенное вамъ на небесахъ – Ради надежды на уготованное вам на небесах (Кол. 1,5).

**ШМСТИТИ (ШМЩЪ)** – 1. воздать, расплатиться, εἰδικῆσαι: Шмстити стрѣтїю крѣта паденіе древнѣго а́дама – Воздать крестнымъ страданиемъ за падение древнего Адама (К. Воз.(Магом)); 2: совершить месть: Не рцы Шмщѣ врагѣ: но потерпѣ гда, да ти помѣжетъ – Не говори: отомщу врагу: но ожидай Господа, чтобы Он тебе помог (Прит. 20,22).

**ШТОЛСТАТИ** – огрубеть, отупеть, κραχύνω: Штолста въ сердце людей сѣхъ (Мф. 13,15).

**ШТРОКЪ** – 1: подросток, юноша, мальчик (чаще штрочищъ), παῖς: И четыремъ штрок(омъ) сѣмъ даде ѿмъ вѣтъ смыслъ и мѣдрость во всякой книжной премѣдрости – И четверемъ юношамъ этимъ (Даниилу, Анании, Азарии, Мисаилу) дал им Бог разум и понимание всякой книжной мудрости (Дан. 1,17); 2: потомок (независимо отъ возраста), παῖς: Волнѣю морскою скрѣвшѣго дрѣвлѣ гонѣтелѣ мѣчѣтелѣ подѣ землѣю скрѣшѣ спасенныхъ штрочицы – Того, кто в древности покрыл морской воллою преследовавшаго властителя, скрѣшѣ под землей сыны (потомки) спасенныхъ [Им] (К.Вел. Сб. п.1); 3: раб, слуга, служитель, παῖς: Воспрѣлѣ ісраѣлѣ штрока своего (Лк. 1,54); Се оуразнѣетъ штрокъ мой, и вознесѣтѣ и прославитѣ зѣло (В.Вел.Пт.); Но рцы слово, и исцѣлѣетъ штрокъ мой – Но скажи слово, и исцелится слуга мой (Лк. 7,7).

**ШРЫГНѢТИ (ШРЫГНѢ)** – произнести, высказать: Шрыгнѣ сокровеннаѣ ш сложенѣа мѣра – Выскажу сокровенное отъ создания мира (Мф. 13,36; Пс. 48,4).

**ШРѢШТИ (ШРѢШЪ), ШРѢШАТИ (ШРѢШАЮ)** – 1: развязать, отвязать, λύω: Шмѣже несѣмъ достѣннѣ шрѣшѣти ремень сапогѣ ѿгѣо – Кѣторому я недостѣенъ развязать ремень обуви Его (Лк. 3,16); Кѣждо васѣ въ свѣѣѣѣ не шрѣшаѣтѣ ли своего вола или ѡсла ш фаслѣи, и вѣдѣ напаѣметъ (Лк. 13,15); 2: освободить: Чѣѣ ищѣа къ свѣшѣмъ во а́дѣ пришѣлѣ вѣи, или рѣдѣ шрѣшѣти человекѣшѣи – Чѣѣ ища, пришел Ты к тем, кто в аду? Или освободить родъ человекѣшѣи (Утр.Вел.Сб.).

**ШЧЛАННЫЙ** – утративший надежду, ἀπόγυωνος: Спаси спѣсѣ нашѣ, люди шчланныѣ – Спаси, Спаситель наш, народ, утративший надежду (Т.Вос.).

**ШЧІСТИТИ (ШЧІЩЪ)** – часто на месте греч. ἰλάσσομαι: умилоствивиться, быть милостивымъ к чему-либо: Гдѣи шчїсти грѣхѣи наша (Млв.); Молѣтвами вѣцы, мѣстивѣ, шчїсти множество согрѣшенѣи нашихъ (Утр.).

**ШЩІТИТИ (ШЩІЩЪ), ШЩІЩАТИ (ШЩІЩАЮ)** – узнать, постичь, αἰσθάνομαι: Ѧни же не разнѣмѣша глагола сѣгѣо, вѣ во прѣкровѣнѣ ш нѣхѣ, да не шщїстѣтѣ ѿгѣо – Но они не поняли слова сего, ибо оно было закрыто отъ них, так что они не постигли его (Лк. 9,45).

**ПАГЪБА** – бездна, Аввадон: И смѣртъ слышахомъ ѿмъ словѣ (Иов. 28,22).

**ПАДЕЖЪ** – падение: И погрѣженѣа въ главенѣи падежѣи возведѣи (О, гл. 4, пт., веч., КПБ п. 4)).

**ПАЖИТЬ** – корм (скота): И принесе вѣдѣ ѡмыти нѣзѣ ѿмъ, и даде пажити

дслабмъ ѿхъ (Быт. 43,25).

**ПАМАТЬ** – воспоминание, поминовение: **Иже памать нынѣ совершаемъ ... (Отп.днев.).**

**ПЕРВОЕ, ПЕРВѢ** – сначала, сперва, вначале: **Первѣе Шринѣла ѡси неистовство страстей, нѣжно стѣжающихъ – Вначале отвергла ты безумие страстей, насильственно угнетающих (Вел.К., чт. п.7).**

**ПЕРВЫЙ** – 1: первенствующий: **Такъ вѣдѣтъ послѣднїи первїи, и первїи послѣднїи (Мф. 20,16); 2: изначальный: Азъ ѡсмь ѡлфа и ѡмега, первыи и послѣднїи (Откр. 1,11); 3: прежний: Не поминай те первыхъ, и вѣтхихъ не помыслиайте – Не поминайте прежнего и о древнем не думайте (Ис. 43,18).**

**ПЕРСИ** – 1: грудь, στῆθος: **Видѣ оученика, ѡгоже люблѣше иисъ, во слѣдѣ идѣща, иже и возлежѣ на вечерѣ на перси ѡгѡ (Ин 21,20); 2: внутреннее пространство, чрево, στήθος: Не оудержавъ бывъ въ персехъ китовыхъ ѡна (К.Вел.Сб.).**

**ПЕРСТНЫИ** – тленный, смертный (от персть – χοῦς), χοικός: **Первыи человекъ ѡ землїи перстень; вторыи человекъ, гдѣ съ небесе, и такоже ѡблекдохомся во образъ перстнаго, да ѡблечемся и во образъ небснаго (1Кор. 15, 47).**

**ПЕРСТЬ** – земля, прах, пыль, вещество, из которого состоит плоть человека, χοῦς: **И созда въ челоука, персть (вземъ) ѡ землїи (Быт. 2,7); И вслѣднїи весь оумъ персть сотворихъ – И я весь мой ум (все мое духовное начало) превратил в прах (Вел.К., Пнд, п.2) ● ПЕРСТЬ**

**АНЗАТИ** – в знак унижения и рабства побежденный лизил пыль у ног победителя: **Предъ нимъ припадѣтъ ѡдїоулюне, и врази ѡгѡ персть полизѣтъ – Поклонятся ему эфиопы и враги его будут лизать пыль (Пс 71,9).**

**ПЕЧАЛЬ** – 1: забота, попечение, мѣрцна: **Оуныниѣ раждающыя печали на землїи ѡставшиа апловъ избранныи (Ρᾶθυροτοχοι мѣрцνοι) – Избранные из апостолов оставили на земле заботы, рождающие (душевную) праздность (К.Пр.Г.(Ин.Д.); И печали вѣка сегѡ, и лѣтъ богатства, и ѡ прѡчнхъ похотн входящыя подавалютъ слово – И заботы мира сего, и прельщение богатства, и желанїя [всего] другого, входящїе [в них], заглушают слово (Мк. 4,19); Всю печаль вашѣ возвергше нанъ, ѡ яко тѡи печется ѡ васъ – Всю заботу вашу возложив на Него, ибо Он печется о вас (Пс. 54,23) ➔ отсюда: безпечалїе, ἀμερцνїα (термин аскетики); 2: печаль, скорбь, λύπη: **Людей твоихъ печаль на радость преложїи (Пол.); Вы же печальни вѣдѣте, но печаль вѣша въ радость вѣдѣте (Ин. 16,20).****

**ПИВО** – питье, πόσις: **И воды ежественныя пиво да почерпѣтъ (Стих.прел.); Приидите, пиво пїемъ новое – Придите, будем пить питье новое (К.Пасх., п. 3); Пль во моѡ истинно вѣтъ вращно, и кровь моѡ истинно вѣтъ пиво – Ибо плоть Моя воистину есть пища, и Кровь Моя воистину есть питье (Ин. 6,55).**

**ПИТАТСА** – роскошествовать, забавляться, τρυφάω: **сквернители и порѡчницы, питающеса лѣстми своими, гдѣще съ вами – Срамники и осквернители, забавляющїеся обманами своими, пируя с вами (2 Петр. 2,13); Питающася же пространно, живѡ оумерлѡ – [Вдовица**



же] живущая а роскоши, заживо умерла (1 Тим. 5,6).

**ПИЩА** — 1: наслаждение, τρυφή (результат смешения греч. τροφή и τρυφή): Моѡ прамати ... пици бжтвеннаа изгнана вѣсть — Праматерь моя ... изгнана была от божественного наслаждения (К.Бл.(Дам.); рай пицины (λεϊκών τῆς τροφῆς) — Луг наслаждения (о Пресвятой Богородице) (КАПБ); 2: пища. τρυφή: Не дша ли вѣлши ѣсть пици, и тѣло ѡдежды; — Душа не больше ли пици и тело — одежды (Мф. 6,25); ● **ПИЩА ДХУВНАА, ПИЩА РАЙСКАА** — Духовное, небесное наслаждение: Къ тебѣ преставльшихса, ѣкво вѣт вселн въ странахъ извѣрннхъ твоихъ, на мѣсте ѡславленїа, въ домѣ славы твоѣа, въ пици райскѣй, въ дѣвственнѣмъ чертобѣ (О., гл.7, Сб. утр, На стих.).

**ПЛОТЬ** — 1: тело, в противопоставлении духу; телесное начало в человеке, сѡрхе (син. **ПЛОТЬ И КРОВЬ**). : И слово плоть вѣсть, и вселнса въ ны ... — И Слово стало плотью, и обитало с нами (Ин.1,14); И хлѣбъ, ѡбоже ѣзъ дамъ, плоть моѡ ѣсть, ѡже ѣзъ дамъ за живѡтъ мїра — Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира (Ин. 6,51); Ёдите и молїтесь, да не внїдетѣ въ напѣсть: дхъ оубо вѡдоръ, плоть же немощна (Мф. 26,41); Ни ѡдино оубо нынѣ ѡсвѣдѣнїе сѣщымъ ѡ хртѣ їисѣ, не по плѡти ходѡщнмъ, но по дхѣ — Итак, нет отныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу (Рим. 8,1); Плоть и кровь не ѣви тебѣ — Не плоть и кровь открыли тебе [это] (Мф. 16,17); ➔ Иногда во мн.ч.

**ПЛОТИ**: Пригвозди страхъ твоѣмъ плѡти моѡ — Пригвозди плоть мою к страху Твоему (Пс. 118,120); Но плѡти ѡгѡ волѣша, дшѡ же ѡгѡ ѡ себѣ сѣтова (Иов. 14,22); 2: человек как телесное существо, сѡрхе: Да не похвалїтса всѡка плоть предъ вгмъ — Чтобы никакая плоть (никакой плотскїй человек) не хвалилась пред Богом (1 Кор. 1,29); На вѣа оуповѡхъ, не оубоюса, чтѡ сотворїтъ мнѣ плоть — На Бога возложил я надежду, не утрашусь того, что сделает мне (плотскїй) человек (Пс. 65,5); И прилпнтса къ женѣ своѣй и бѣдетѡ ѡба въ плоть ѡдинъ (Мф. 19,5); Да благоговѣтъ всѡка плоть ѡ лица гдѡа, ѣкво воста изъ ѡблѡкъ свѡтлхъ своїхъ (Зах. 2,13); Да молчїтъ всѡкаа плоть (Вел. сб.); 3: вообще живое существо: И всѡкѡ плоть ѡ птїцъ дѡже до скѡтовъ ... извѣдї съ тобѡю — И всякую плоть (всякое живое существо) от птиц до скотов выведи с тобою (Быт. 8,17); 4: сродники по плоти ѡще кѡкво раздражѣ плоть, и спасѣ нѡкїа ѡ нїхъ; — Не возбужу ли ревность в [моих по] плоти, и не спасу ли некоторых из них? (Рим. 11,14);

➔ **КРАЙНАА ПЛОТЬ**

**ПЛѢНИТИ (ПЛѢНИЮ)** — захватить взятых неприятелем в плен: Плѣнїлъ ѡнї ѡдъ — Захватил у ада его пленников (Воск. троп 6 гл.).

**ПОВѢДА** — 1: победа, одоление, конец, vίχη: Пожѣрта вѣсть смѣртъ повѣдою — Поглѡщена смерть победой (или: в конец) (1 Кор. 15,54; Ис. 25,8); Сїла ѣсть повѣда повѣдївшѡа мїръ, вѣра нѡша (1 Ин. 5,4); 2: трофей, победный памятник, τρόπαιον: **РАДѢЙСА, ѡже воздвїжѣтса повѣда** — Радуйся, Ты, [содействием] Которой воздвїгаютса победные трофеи (КАПБ); 3: победоносное оружие (обыкновенно о Кресте): **ѡрѣжѣ кѡтноѣ во вранѣхъ ѣавїса нѡкогда влгочетївомѣ црїю**

кОНСТАНТИ́НЪ, НЕПОВѢДИМАА ПОВѢДА НА ВРАГѢ (О., гл. 1, ср, утр, Сед.крест.); Крѣть твоѣ хрѣте, чѣтныѣ, міра оубѣже ѣсть и неповѣдимая повѣда (О., г. 7, лт. утр., сед.).

**ПОГЛѢМѢТИСА (ПОГЛѢМАѢСА)** – размышлять (см. ГЛѢМѢТИСА): Пѣть ѡправданій твоихъ вразуми ми, и поглѣмлюса въ чѣдехъ твоихъ – Путь установлений Твоихъ сделай мне понятным, и буду размышлять о чудесахъ Твоихъ (Лвс.); Въ заповѣдахъ твоихъ поглѣмлюса (Пс. 118,78).

**ПОГОНѢТИ (ПОГОНѢЮ), ПОГНѢТИ (ПОЖЕНѢ)** – (см. ГНѢТИ): Многость твоѣ поженѣтъ мѣ (Пс. 22,6); Врагъ погна дѣшъ мою (Пс. 142,3).

**ПОГЪВѢТИ (ПОГЪВѢЮ)** – потерять (см. ГИВѢЛЪ): Сабль иногда ѣакъ погъви отца своего, дѣше дѣлата, внезапно црѣтво ѡвратъ – Саул в древности, когда потерял осла отца своего, о душа, внезапно нашел царство (Вел.лн., К.п.7).

**ПѢДВИГЪ** – 1: внутренняя борьба, мучение, агония: И въ въ въ пѣдвигѣ (ѣν ἀγωνίᾳ), прилѣжнѣе молѣшеса (Лк. 22,44); 2: напряжение, усилие, старание: Глаблати къ вамъ ѣлговѣствованіе вѣже со многимъ пѣдвигомъ (1 Фес. 2,2); Коликъ пѣдвигъ ѣмать дѣшѣ разлачѣющиса ѡ тѣлѣѣ (О., гл. 2, Пт., веч, Стих. мертв.) 3: борьба, состязание (военное, спортивное), а́γών: Пѣдвигомъ добрымъ пѣдвизахса, теченіе скончахъ, вѣрѣ соблюдохъ. Прѣче оубо соблюдается мнѣ вѣнѣцъ правды – В добромъ срстязании я чотязался, бегъ завершил, веру сохранил. Далее же хранится для меня венокъ праведности (как победителю) (2 Тим. 4,7–8).

**ПОДѢИЖНИКЪ (ПОДѢИЖАѢСА)** – исходно (в греч.) – спортивный термин: участник состязаний, бегун ил борец, ἀγωνισόμενος. Уподобление христианского аскетизма античному атлетизму впервые в 1 Кор. 9,25: Всѣкъ пѣдвизаѣса ѡ всѣхъ воздержитса ... – Все участвующие в состязании воздерживаются от всего.

**ПОДНОЖІЕ** – подставка под ноги, скамейка: Возносите гдѣ вѣа нашего, и поклонѣи тѣла подножію вѣгѣ, ѣакъ свѣто ѣсть (Пс. 98,5).

**ПОДѢВА** – употребление, использование, сношение с кем-либо, хрѣѣс: И мѣжи, ѡставѣлаше вѣстѣственнѣю подѣвѣ жѣнска пола – И мужчины, оставив естественное употребление женского пола ... (Рим. 1,27).

**ПОДѢВНЫѢ** – 1: подобающий, достойный, хрѣѣс: И воздвигни мѣ во время подобно на твоѣ славословіе – И подними меня в подобающее время славословить Тебя (Млв); 2: похожий на что-либо, ѡμοιος: Подобно ѣсть зернѣ горѣшнѣ ѣже прѣѣмъ человекъ ввѣрже въ вертоградъ свѣѣ – Подобно (Царство Божие) горчичному зерну, которое взяв, человек посадил в саду своем (Лк. 13,18).

**ПОДОВОСТРАСТНЫѢ** – обладающий теми же страстями, ѡμοιοπαθής: Создѣтелю нашъ въ подовострастное намъ ѡвлѣкса вѣшъ тѣло (Трип.Вел.лнд); Иліа человекъ въ подовострастенъ намъ (Иак. 5,17).

*Продлжение следует.*

Оригинал-макет этого материала изготовлен в Синодальной библиотеке Московского Патриархата.



# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

*M. RAEFF. Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration. 1919—1939. New York; Oxford, 1990. 239 P.*

*М. РАЕВ. Русское Зарубежье. История культуры русской эмиграции, 1919—1939 гг.*

Обобщающая история русской эмиграции первой волны еще не написана, да и вряд ли может возникнуть сейчас: многие сюжеты, связанные с «хождением по мукам» сотен тысяч наших соотечественников, не изучены или изучены слабо, не вовлечены еще в научный оборот все источники, прежде всего архивные, долгие годы хранившиеся под замком у нас и в других странах бывшего социалистического лагеря, а российские исследователи, которым, как хотелось бы надеяться, предстоит сыграть особенно важную роль в создании истории русской диаспоры, лишь постепенно начинают открывать для себя ранее практически им неизвестную страну — «Россию за пределами России», или Русское Зарубежье.

Книга Марка Раева «Русское Зарубежье. История культуры русской эмиграции. 1919—1939 гг.» также не претендует на роль полной «энциклопедии русской жизни» за рубежом, хотя тот, кто хотел бы составить представление о различных сторонах жизни эмиграции в межвоенный период, прочтя ее, наверняка сумеет во многом удовлетворить свой интерес. Автор решил сосредоточить внимание на культурной жизни русской диаспоры, полагая, что другие аспекты ее истории менее интересны и значительны, в частности, это касается политической истории эмиграции, в которой нашли отражение настроения отдельных, раздробленных групп русских эмигрантов, оторванных от большой политики и в большинстве случаев лишенных реальных возможностей оказывать влияние на правительства тех стран, где проживали эмигранты, на их политическую линию в отношении Советского Союза и самой эмиграции.

Культурное наследие Русского Зарубежья, с точки зрения автора, несоизмеримо важнее, и значение его определяется, как минимум,

тремя основными моментами. Во-первых, в эмиграции продолжали существовать и обогащаться все те течения в области культуры, науки, общественной мысли, развитие которых в советской России было искусственно прервано. Благодаря этому сокровищница русской культуры пополнилась новыми шедеврами, которые вряд ли могли появиться на свет, останься их авторы на родине. Кроме того, был накоплен мощный идейный потенциал, который сейчас начинает активно использоваться и осмысляться в России.

Во-вторых, во многом благодаря эмиграции русская культура получила широкую известность на Западе, стала восприниматься как интегральная и безусловно значимая часть культуры мировой.

В-третьих, наконец, из русской диаспоры вышли многие яркие представители культуры и науки послевоенного поколения, которые, оставаясь россиянами по языку и по духу, сумели внести свой, особый, вклад в литературу, искусство, науку зарубежных стран. К их числу можно, без сомнения, причислить и самого Марка Раева, выросшего в Берлине и в Париже в семье эмигранта-невосвращенца. Раев стал известным историком-русистом, автором ряда исследований по истории дореволюционной России и Русского Зарубежья, профессором русской истории в Колумбийском университете.

То обстоятельство, что книга написана человеком, знавшим жизнь эмиграции «изнутри», наложило на нее заметный отпечаток. В ней есть редкая для академического исследования живая человеческая интонация — боль, горечь, гордость за соотечественников, сумевших достойно прожить нелегкую жизнь изгнанных. Вместе с тем «Русское Зарубежье» — это, безусловно, глубокое и солидное, строго научное

исследование, основанное на различных источниках — богатейших материалах американских архивов, прежде всего Бахметьевского, расположенного в Нью-Йорке, обширной мемуарной литературе, эмигрантской периодике и т. д.

Исследование состоит из Введения, Заключения и шести глав, посвященных, соответственно, общим условиям жизни русских эмигрантов в разных странах, системе образования в Русском Зарубежье, издательскому делу, представлениям эмиграции о сущности и особенностях русской культурной традиции, церкви и религии в диаспоре, развитию русской исторической науки за рубежом. В рамках настоящей рецензии невозможно даже кратко пересказать содержание этих глав, насыщенных ценным фактическим материалом и интересными авторскими рассуждениями. Ниже мы попытаемся дать некий синтез основных идей Раева, объединяющих и организующих весь этот огромный материал в целое.

Прежде всего следует отметить, что, как видно даже из перечисленной выше тематики глав работы, автор достаточно широко трактует понятие культуры. Создание в рамках одного исследования истории таким образом определяемой культуры Русского Зарубежья 20—30-х годов также задача крайне сложная: простое перечисление авторов, работавших в эмиграции, и их произведений, существовавших в русской диаспоре учебных заведений, издававшихся там книг и периодики заняло бы не один объемистый том. В этой связи М. Раев выбрал один аспект этой большой темы, прежде почти не попадавший в поле зрения исследователей русской культуры в эмиграции. Он решил сосредоточить свое внимание на выявлении тех условий — материальных, организационных, идейных, отчасти и политических, — которые создавали фон, определенные рамки для развития культуры.

Исходным моментом исследования Раева является понятие «Русское Зарубежье», вынесенное в заглавие книги. Автор указывает на те особенности, которые отличали сообщество русских изгнанников от других беженцев и мигрантов XX в., которые меняли место жительства под воздействием разного рода причин политического и экономического характера. Как неоднократно отмечал М. Раев, в отличие от абсолютного большинства добровольных или вынужденных переселенцев (в том числе и от русской эмиграции «второй волны»), которых характеризует стремление как можно быстрее и глубже интегрироваться в общественную, культурную и даже языковую среду

своей новой родины, русские, в 20—30-е годы разбросанные по всему свету, именно этого боялись больше всего на свете, всеми силами стремясь избежать, как они выражались, «денационализации». Страх перед ассимиляцией заставлял их ревностно сохранять и оберегать от воздействия окружающей инонациональной стихии свой язык, веру, культурные традиции, сознательно вести за рубежом «русскую» жизнь. Ради этого они готовы были идти на дополнительные жертвы, усложняя и без того непростую жизнь беженцев — отказывались принимать гражданство зарубежных стран, отдавать детей в местные школы и т. д. В этом смысле русские за границей были не просто некоей особой этнической группой, но образовывали, по выражению автора, «общество в изгнании». Целью каждодневной, упорной борьбы против «денационализации» была подготовка к активному участию в возрождении России, освобожденной из-под власти большевиков, которое представлялось, особенно в первые годы изгнания, скорым и неизбежным. С этой точки зрения, по мнению автора, самой близкой аналогией русской эмиграции «первой волны» может служить Великая польская эмиграция после Ноябрьского восстания 1831 г.

Еще ряд обстоятельств, по мнению М. Раева, позволяют считать русских эмигрантов «обществом в изгнании». За границей были представлены практически все социальные группы, составлявшие структуру дореволюционного русского общества, даже крестьянство, если считать таковым казаков, а также весь политический аспект старой России — от крайне реакционных монархистов до приверженцев социалистических учений. Отметим сразу, что автор книги с большей симпатией относится к либеральной, демократически настроенной части русской эмиграции.

Учитывая все сказанное, можно говорить о существовании в межвоенный период второй России — заграничной, находящейся вне своих географических пределов, но ощущавшей себя особой страной, которая противопоставлялась России советской, но стремилась при этом вернуться на родину и сыграть ведущую роль в ее политическом, общественном и культурном переустройстве. Идея о двух Россиях не нова, она родилась в среде самой эмиграции, однако у М. Раева мысль о целостности и уникальности Заграничной России (или Русского Зарубежья) проводится наиболее последовательно и получает научное, подтвержденное данными источников, обоснование. Следует отметить в этой связи, что автор не склонен описывать то, что

происходило в изучаемый им период в культуре «метрополии» исключительно в черных тонах, и не упускает возможности указать на наличие культурных контактов между диаспорой и советской Россией.

В книге отводится много места описанию особенностей положения русской эмиграции и развития культурных процессов в различных странах или, если продолжить метафору, «провинциях» Заграничной России. Их специфика, как указывает автор, начала формироваться еще в процессе расселения русских беженцев и определялась в самых общих чертах двумя обстоятельствами: особенностями контингента беженцев, осевшего в той или иной стране, и отношением к эмиграции местных властей.

Так, представители петроградской и московской интеллигенции, выехавшие из России сразу после большевистского переворота или во время гражданской войны (равно как и пассажиры известного корабля, увезшего в 1922 г. из России десятки известных мыслителей, ученых и деятелей культуры), направлялись чаще всего в Берлин, оттуда в Париж или Прагу. Это обстоятельство определило центральное, «столичное» положение трех этих городов, привлекавших представителей русской интеллектуальной элиты и из других стран. Этому благоприятствовали и местные условия. Так, инфляция в послевоенной Германии давала возможность развернуть недорогое и эффективное издательское дело. Французы активно участвовали в эвакуации русских и помогали им разместиться на территории Франции. Совершенно уникальная, благоприятная и дружеская атмосфера была создана для русских эмигрантов в Чехословакии. Ситуация стала резко меняться к худшему в начале 30-х годов, по мере вступления этих стран в пелену депрессии. Механизм воздействия на русскую диаспору экономических и политических изменений, происходивших в Европе в 30-е годы, описал М. Раевым весьма подробно и аргументированно.

Врангелевская эвакуация из Новороссийска и Крыма привела за границу многие тысячи беженцев, прежде всего военных. После месяцев в переполненном Константинополе или в лагерях для беженцев на Галлиполи, они разместились по большей части в балканских странах — Королевстве СХС и Болгарии. В этих странах существовала возможность компактного расселения русских беженцев, в том числе даже в сельской местности, где сумели обосноваться некоторые казачьи общины, сохранившие таким образом свои традиционные культуру и уклад жизни. Кроме

того, острая потребность в квалифицированных специалистах, которую испытывали эти страны, этническая и религиозная близость их к России, позволили многим представителям русской интеллигенции найти здесь работу по специальности. Правда, захлестнувшая вскоре Болгарию волна националистических настроений резко ухудшила положение русских и заставила многих искать новое место жительства. В Югославии же условия жизни русской диаспоры оставались благоприятными вплоть до начала второй мировой войны. Среди русского населения на Балканах, указывает Раев, преобладали монархические настроения, здесь, не без влияния Карловацкого собора, рождались многие реакционные и крайне националистические идеи.

Образованная элита русского общества в Харбине состояла из технических специалистов, работавших на КВЖД, и профессуры из нестоличных, прежде всего сибирских городов. Это обусловило по преимуществу прикладную, техническую и экономическую направленность здешних русских учебных заведений и особый вклад Харбина в культуру Русского Зарубежья, который, впрочем, мог быть гораздо большим, если бы не огромное расстояние, отделявшее Маньчжурию от Европы и не скорый конец русской колонии вследствие начала японской агрессии.

Наконец, особенности положения русской эмиграции в «приграничных государствах» — Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии — были связаны с наличием здесь значительного восточнославянского этнического меньшинства. С одной стороны, здесь уже существовали церковная организация и русские школы, с другой — националистическая политика правящих кругов этих стран, направленная прежде всего против этого меньшинства, больно била и по эмиграции, мешая развитию русской культуры.

Не все «провинции» Русского Зарубежья нашли одинаково полное отражение в книге Раева. В ней относительно мало говорится о культурной жизни русских в странах Центральной, Юго-Восточной Европы (за исключением Праги) и в Прибалтике, основное внимание уделяется, кроме Праги, Франции и Германии. В значительной степени это связано с кругом использованных источников, весьма широким, но, в силу не зависящих от автора причин, неполным. В частности, последние публикации российских историков показывают, сколь богатый материал о жизни наших соотечественников в Югославии, ранее недоступный исследователям, находится в фондах Государственного архива Российской Федерации (см. [1]).

Весьма интересным нам представляется вопрос, вынесенный Раевым в название одной из глав: «Что есть русская культура?» Он задался целью определить, что эмиграция понимала под той культурной традицией, развитие которой было насильственно прервано в советской России и которую зарубежной России предстояло сохранить и вернуть затем на родину. Речь идет, во-первых, о том, какая область культуры представлялась им первоначально важной для сохранения Русского Зарубежья в качестве единого целого. Отмечая тот успех, который почти неизменно сопутствовал на Западе русской музыке, балету, изобразительному искусству (прежде всего театральному), автор постоянно подчеркивает, что, будучи интернациональными по своей природе, эти отрасли культуры никогда не играли в жизни самого русского Зарубежья той роли, что принадлежала литературе и печатному русскому слову вообще. В этой связи характерно, что датой для проведения единого для всей диаспоры, полностью лишённого какого бы то ни было политического звучания, объединяющего людей разных убеждений праздника — Дня русской культуры — был избран день рождения А. С. Пушкина, который для всей эмиграции являлся символом гуманистической и глубоко национальной русской культурной традиции.

Во-вторых, М. Раева интересует вопрос, что вкладывалось эмиграцией в понятие русской культурной традиции, которую следовало беречь и обогащать. Автор убедительно показал, что все идеи, питавшие культуру Русского Зарубежья, так или иначе уходили корнями в эпоху Серебряного Века. Это вполне закономерно, поскольку ведущую роль в эмиграции в большинстве случаев играли люди старшего поколения, сформировавшиеся в России конца XIX — первого десятилетия XX вв. Вообще, как пишет М. Раев, Русское Зарубежье не создало принципиально новых подходов в развитии культуры и общественной мысли, за исключением лишь евразийской теории, которая воспринималась эмигрантами далеко не однозначно.

Наибольшая преемственность по отношению к эпохе Серебряного Века сохранилась, вероятно, в литературе, где почти безраздельно царили писатели, получившие известность еще до революции. Авторам более молодого поколения, сторонникам новых течений в литературе (В. Варшавский, В. Яновский и др.) было гораздо сложнее найти издателя или пробиться на страницы «толстых» литературных журналов.

В исторической науке Русского Зарубежья тон также задавали маститые исследователи, по преимуществу продолжавшие традиции позитивизма начала века — П. Н. Милюков, Н. П. Кондаков, А. А. Кизеветтер, В. А. Мясотин и многие другие.

Русская педагогика за рубежом отказалась от всего косного и реакционного, что было в дореволюционной гимназии, тем не менее именно ее взяла за образец при создании школ для детей эмигрантов, привнесла в нее разработанные ранее, но не нашедшие применения в старой России, идеи.

Наконец, эпоха Серебряного Века в России ознаменовалась возрождением интереса к религии и духовности. До революции, однако, как считает М. Раев, эта тенденция не воплотилась в реальные попытки реформировать роль церкви в обществе и изменить ее взаимоотношения с интеллигенцией. Русское Зарубежье, испытывая глубокую потребность в возрождении веры, стало свидетелем истинного взлета православной религиозной мысли, наиболее яркими представителями которой стали Н. Бердяев, Г. Федотов, С. Булгаков, Г. Флоровский.

В настоящее время издательство «Прогресс-Академия» готовит полный русский перевод монографии М. Раева, которая, безусловно, станет настольной книгой для всех исследователей, чья работа связана с проблематикой Русского Зарубежья.

*Ратобильская А. В.*

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Славяноведение. 1992. № 4.

*В. Т. ПАШУТО. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992, 400 с.*

В издательстве «Наука» вышла книга, во многих отношениях необычная. Особенности ее

заключаются не только в содержании, представляющем собой материалы к неоконченной

автором работе, но и в том, что покойному члену-корреспонденту АН СССР В. Т. Пашуто поставлен этой книгой заслуженный им литературный памятник, имя главного создателя которого, как ни странно, в книге даже не упомянуто. По имеющимся у нас сведениям, а также на основании промелькнувшего в «Книжном обозрении» извещения о выходе книги, можно заключить, что главная заслуга в создании труда принадлежит ученику В. Т. Пашуто, доктору исторических наук И. С. Чичурову, которому помогали вдова Владимира Терентьевича и ряд его коллег.

Материалы книги разнообразны. Прежде всего, это главы из незавершенной монографии В. Т. Пашуто о русских историках за рубежом. В первой главе (С. 13—31) даны общие сведения о них, приведены факты их биографий, кратко охарактеризованы труды. Правда, перечислены далеко не все такие историки — видимо, потому что сбор материала В. Т. Пашуто не был завершен. Вторая глава (С. 32—73) посвящена историкам, обосновавшимся в Праге. Имеются сведения о Семинаре (позднее Институте) им. Н. П. Кондакова, действовавшем в Праге с 1925 по 1945 гг. и заслужившем мировую известность трудами по истории русского и византийского искусства, археологии и истории. Драматическая история Института изложена впервые в нашей историографии, воссоздана целиком на основе архивных материалов, а также изучения одиннадцати томов публикаций Института; материал является отправной точкой для дальнейшего изучения деятельности этой организации, долго сохранявшей традиции русского дореволюционного византиноведения и антиковедения. Впрочем, будущему исследователю этой проблемы было бы полезно ознакомиться и с материалами архива Н. П. Кондакова, хранящимися в литературном архиве Памятника национальной письменности (LAPNP) в Праге, которые, видимо, ускользнули от внимания В. Т. Пашуто.

Затем в книге содержится очерк истории Русского народного (свободного) университета в Праге, научно-просветительного учреждения, где обучались русские студенты. Если с Институтом им. Н. П. Кондакова в начале его существования имели контакт советские ученые старой школы и, следовательно, какая-то информация о нем поступала, то о Русском университете в Праге знали в СССР, очевидно, лишь единицы. Автором книги на основании архивных изысканий воссоздана его история и проанализированы научные труды, главным образом — по истории России, кото-

рые, по мнению В. Т. Пашуто, сохраняют и доныне свое научное значение (С. 49).

В специальных разделах монографии автор охарактеризовал работу Русского исторического общества в Праге, возглавлявшегося такими крупными учеными как Е. Ф. Шмурло, А. А. Кизеветтер и другими, а также научную продукцию этого учреждения. Еще одна упоминаемая в книге организация — это Русский институт в Праге, занимавшийся вопросами славяноведения и возглавлявшийся крупным русским славистом В. А. Францевым. Институт существовал с 1922 по 1938 г. и издавал «Сборник», содержанию которого в книге также уделено некоторое внимание. Правда, представляется, что материал о деятельности В. А. Францева автором книги далеко не исчерпан. Уже ко времени его работы над этим разделом монографии в советской литературе существовал подробный анализ творчества этого слависта, о чем В. Т. Пашуто, видимо, не знал. Мы имеем в виду статью Л. П. Лаптевой, среди которых самая подробная вышла еще в 1966 г. [1]. Последней эмигрантской организацией в Праге, история которой изложена в рецензируемой книге, является Русский юридический факультет, находившийся под патронатом Карлова университета и существовавший до 1929 г.

В целом, основные тенденции развития русских академических организаций и условия их существования в ЧСР обрисованы правомерно и ярко. Материал, собранный из личных архивов, дает большой стимул для дальнейшего изучения проблемы. Однако будущему исследователю ставшей сейчас в нашей историографии модной темы о русской эмиграции следовало бы обратиться за сведениями и в государственные хранилища Чешской республики, где, например в Архиве Министерства иностранных дел, имеются данные обо всех русских эмигрантских организациях, которых насчитывалось около 80 (помимо украинских, грузинских и др.). Проработка документов в этих архивах могла бы расширить наши представления о масштабах научной и культурно-просветительной деятельности русских эмигрантов и скорректировать некоторые выводы, добавив к ним то, чего не успел сделать автор рецензируемой книги.

В третьей главе (С. 79—82) описывается деятельность русских историков-эмигрантов в Югославии, в частности работа Русского научного института в Белграде, дается краткая характеристика «Записок» этого института.

Четвертая глава (С. 83—103) содержит характеристику эмигрантской историографии,

которая делится, по мнению автора, на два направления — теософское и социологическое. Первое представлено сочинениями Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина и Р. Ю. Вигнера, второе развивалось в работах Е. Ф. Шмурло, П. М. Бицилли, А. В. Флоровского, А. А. Кизевветтера, А. Н. Фатеева и др. Концепции и взгляды этих историков автор характеризует на материале их исследований по истории России, которой они и посвящали свое творчество.

В пятой главе (С. 104—113), названной «Древняя Русь — оазис соборности», автор polemизирует с эмигрантскими историками по вопросу о государственном строе Древней Руси и защищает позиции тогдашней советской исторической науки.

Кроме исследовательских разделов, в рецензируемую книгу включены отдельные материалы, которые представляют собой доклады, в свое время читавшиеся В. Т. Пашуто (например, об архиве П. А. Остроухова на заседании Археографической комиссии — С. 191—201), а также собранные или составленные автором биографии историков-эмигрантов: Н. Е. Андреева, Б. П. Вышеславцева, А. Д. Григорьева, А. Ф. Изюмова, Л. П. Карсавина, Д. П. Святополка-Мирского, А. В. Соловьева, А. В. Флоровского.

В книге приведены также чрезвычайно ценные данные о трудах русских историков-эмигрантов по истории России (Приложение I — С. 114—190). Эти труды почти неизвестны нашим современным специалистам, как и имена большинства их авторов. Таким образом, В. Т. Пашуто открыл новый для нас пласт русской историографии. Правда, в этом разделе встречаются и существенные пробелы. Не обо всех упомянутых в нем историках есть биографические данные, да и библиография трудов даже крупных ученых не всегда отличается полнотой. Обращает на себя внимание тот факт, что составитель библиографии не учитывал современную ему советскую литературу об историках-эмигрантах. Нельзя согласиться с мнением одного из издателей рецензируемой книги Е. А. Мельниковой, что в СССР имена русских эмигрантов упоминались по преимуществу «с бранными эпитетами» (С. 3). В 60—70-х годах о наиболее крупных ученых-эмигрантах появлялись статьи в советских энциклопедиях и, главное, в специальных словарях [2], а также исследовательские работы. Особенно же оживился интерес к эмигрантским изданиям в 80-х — и начале 90-х годов. Некоторые из работ этого времени (мы здесь ограничиваемся лишь их примерами) могли бы быть включены в книгу ее издателями

[3; 4]. Для информации читателей настоящей рецензии можно привести (тоже только как примеры) еще некоторые работы, вышедшие практически одновременно с рецензируемой книгой [5; 6; 7]. Таким образом, в настоящее время читатель может пополнить запас своих сведений новыми данными о Н. П. Кондакове, П. В. Ястребове, М. Г. Попруженко, А. Л. Погодие, П. А. Сорокине, Л. П. Карсавине и других крупных историках-эмигрантах.

В конце книги помещена общая библиография, составленная издателями. В ней, к сожалению, отсутствует новейшая русская литература, хотя вместе с тем помещено довольно много названий книг, не имеющих прямого отношения к проблеме. Весьма существенным недостатком издания является, на наш взгляд, отсутствие именного указателя. В книге, где справочный материал составляет основу содержания, ориентироваться без указателя практически невозможно, и это обстоятельство снижает эффективность использования уникальных и весьма ценных данных, заключенных в издании.

В книге помещены описи части архивов историков-эмигрантов А. В. Флоровского, Н. П. Кондакова и А. В. Соловьева. Эти материалы В. Т. Пашуто получил от родственников и коллег указанных ученых. Напечатаны также воспоминания профессора Русского юридического факультета Н. Н. Алексеева.

Большой интерес и ценность представляет опубликованная в книге переписка В. Т. Пашуто с русскими эмигрантами, членами их семей и другими лицами по вопросам русской зарубежной историографии. Переписка составляет второй раздел книги (С. 246—389) и включает 195 писем. Содержание этого эпистолярного наследия ценно не только его фактической стороной, дающей совершенно новую информацию о многих деталях творчества русских историков, но и тем, что она очень ярко характеризует нравственный облик В. Т. Пашуто. Переписка позволяет проследить, как в течение более двух десятилетий выдающийся историк собирал документальные свидетельства о научном наследии русских историков за рубежом. В. Т. Пашуто приходилось преодолевать множество препятствий: отказы в командировках за границу, цензурные предписания по поводу сюжетов публикаций, настороженное и неблагоприятное отношение партийных органов, равнодушие историков, занимавших руководящие кресла в исторической науке и не спешивших включать в планы издания результаты изысканий своих коллег. Не-



смотря на все эти трудности, хорошо известные старшему (да и среднему) поколению наших историков, В. Т. Пашуто накопил в своем архиве, переданном в 1987 г. на хранение в Архив РАН, уникальный материал, который без усилий российского историка был бы обречен на исчезновение, ибо к настоящему времени уже нет в живых никого (или почти никого), с кем переписывался В. Т. Пашуто. Это собирательство обнаруживает в нем крупнейшего специалиста, Историка с большой буквы, который несмотря на труднейшие условия уловил своим историческим мышлением и политической интуицией, что придет время, когда сохраненные им документы станут источниковой базой для разработки малоизвестных страниц русской историографии и воскресят из забвения ряд имен замечательных историков, внесших вклад в общее развитие русской культуры.

Российский историк В. Т. Пашуто совершил нравственный подвиг. Издатели части его наследия — несмотря как на заслуживающие критики, так и на невольные огрехи — достойны самой высокой благодарности за труд, связанный с подготовкой к публикации столь ценного для историков материала.

*Лантеева Л. П.*

1. *Лантеева Л. П.* В. А. Францев как историк славянства // Славянская историография. Сборник статей. М., 1966.
2. Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979.
3. *Кызласова И. Л.* История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф. И. Буслаян. Н. П. Кондаков: методы, идеи, теории). М., 1985.
4. *Лантеева Л. П.* Изучение источников по истории богомильства в Болгарии русской историографией XIX — начала XX в. // Старобългаристика. 1986. № 2.
5. *Лантеева Л. П.* Историк-славист Николай Владимирович Ястребов // Биография исследователя как жанр славистики. Тверь, 1991.
6. *Голосенко И. А.* Становление. Ранний этап биографии П. Сорокина // Рубеж. Альманах социальных исследований. Сыктывкар, 1991. Вып. 1; *Несанелис Д. А., Семенов В. А.* Традиционная этнография народа коми в работах П. А. Сорокина // Рубеж. Альманах социальных исследований. Сыктывкар, 1991. Вып. 1; *Сорокин П.* Страницы русского дневника // Рубеж. Альманах социальных исследований. Сыктывкар, 1991. Вып. 1. С. 57—73; 1992. Вып. 2. С. 3—18.
7. *Бойцов М. А.* Не до конца забытый мидиевист из эпохи русского модерна // *Карсавин Л. П.* Монашество в средние века. М., 1992.

*НАЗАРЕНКО А. В.*

## ДВА ЛИЦА ОДНОЙ РОССИИ

### К ВЫХОДУ В СВЕТ КНИГИ В. Т. ПАШУТО «РУССКИЕ ИСТОРИКИ-ЭМИГРАНТЫ В ЕВРОПЕ» (М., 1992)

Эти заметки — не рецензия (как участник подготовки издания автор и не имеет права на рецензию). Жанр их иной — эссеистический, отчасти даже лирически-мемуарный. Это — достаточно вольные мысли по поводу *вышедшей* книги. Пишущему эти строки посчастливилось долгое время — в течение десяти последних лет жизни Владимира Терентьевича Пашуто — работать и общаться с этим большим историком и замечательным челове-

ком, эрудированным и остроумным собеседником, ученым, доброжелательно и с радостью принимавшим чужой труд, и горячим, порой беспощадным полемистом. Обаяние его личности было столь велико, что, убежден, всякий, кто достаточно близко знал Владимира Терентьевича, — судья неизбежно пристрастный и, соответственно, негодный рецензент. Но в то же время опыт личного общения с В. Т. Пашуто дает автору возможность и, надеюсь, право

Назаренко Александр Васильевич — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

взглянуть на дело шире — с той точки, откуда в равной мере значительными и достойными пристального внимания предстают как сам рассматриваемый труд, так и личность его создателя. Подобный подход диктуется и духовным опытом последних лет, в свете которого многое в нашей тогдашней жизни рисуется в новой перспективе. Автор в полной мере сознает субъективный характер своих заметок.

Книга о русских историках-эмигрантах — не просто последняя крупная работа В. Т. Пашуто, это — реализация темы, сопровождавшей ученого на протяжении всей зрелой поры его творчества. Уже одно данное обстоятельство придает и самому замыслу, и практическому его воплощению некое парадигматическое значение. Оно еще более усугубляется тем, что краеугольным камнем для В. Т. Пашуто с самого начала было «критическое рассмотрение философии эмигрантской русской истории, как она отразилась в трудах Н. А. Бердяева, Ф. А. Степуна и др.» — эта дерзкая формула присутствует уже в официальном обосновании темы (1969). Посвященные этой проблематике главы книги (четвертая, отчасти пятая) относятся к числу наиболее законченных частей труда. К ним примыкают многие страницы другой программной работы того же автора [1], особенно раздел «Остфоршеры и... веховцы», который, по авторскому замыслу, должен был в дополненном виде войти и в исследование об эмигрантах (в настоящем издании он отсутствует).

Такое подчеркнутое, принципиальное внимание к мировоззренческой стороне темы показывает, что В. Т. Пашуто вряд ли ставил себе целью всего лишь «прагматично оценить» вклад эмигрантских историков «в мировую историческую науку» (С. 13), хотя его и постоянно мучило сознание того, что многие крупные достижения русских ученых за рубежом остаются в безвестности, отчего терпит ущерб не только наука в целом, но и приоритет науки русской. Суть дела глубже. В. Т. Пашуто был русским историком России, и потому ему свойствен взгляд на русскую историю не как на собрание только критически выверенных фактов, но как на *ценность*. С особой отчетливостью этот взгляд проявился именно в последнем его труде. Это значит, что всякий разговор о русской истории, в понимании В. Т. Пашуто, должен принимать во внимание не только критерии научной доказательности, но и критерии *аксиологические*. Такая постановка вопроса, безусловно, роднит В. Т. Пашуто с очень многими персонажами его ис-

следования, при всей взаимной несоизмеримости тех методологических «линеек», которые прикладывались ими к общим ценностям. Это принципиальное родство придает особую стереоскопическую глубину всему, что пишет автор об эмигрантах, некий второй, аксиологический план, кроющийся за внешними, иногда дежурными, оценками *expressis verbis*.

Да, многие из этих оценок могут поколебать нынешнего избалованного наружной словесной вольностью читателя. Но, думаю, сказать лишь, что В. Т. Пашуто был «воспитан в традициях партийности исторической науки», был «убежденным борцом с буржуазной, т. е. враждебной, идеологией», как это сделано в предисловии к книге (С. 5), значило бы сказать далеко не всю, а с моей точки зрения, даже не основную часть правды. Важны ведь не только привитое воспитание, но и то, как сам человек им распорядился, его эволюция. Нельзя наперед ограничиться одним сознательно и целенаправленно артикулированным словом, не пытаясь уловить того мотива, той базовой интуиции, из недр которой поднялось это слово.

Есть какая-то скорбная логика в том, что В. Т. Пашуто не было дано завершить свой труд. Были, разумеется, и препятствия, был и «недостаток материала» (С. 6). Нельзя, однако, не почувствовать некоторую затрудненность авторского дыхания, тем более показательную, что в остальном она была вовсе несвойственна историку, обладавшему летящим, точным, нередко афористическим талантом. Читателя не покидает ощущение, что не только автор работает над материалом, но и материал, прежде всего в силу своей субстанциональной близости автору, в свою очередь «переделяет» его, заставляя постоянно уточнять, углублять свою позицию. Здесь скрытая борьба инстинкта, интуиции, слишком часто готовой принять то, что привычно отторгает рассудок, школа. Думается, я не ошибусь, если скажу, что в ходе работы происходило самораскрытие природного русского патриотизма В. Т. Пашуто, осознание им этого патриотизма как ценностного центра.

Поэтому, как ни парадоксальным такое заключение может показаться, во многом мы должны быть благодарны судьбе за то, что перед нами предварительный, иногда черновой текст. (В этом отношении, сверх того, он образует стиливое единство с соответствующими тематическими блоками в изданной здесь же переписке.) Именно благодаря незавершенности труда в нем сохранились фрагменты,

несмысленные в окончательном, «официальном» варианте. Только один характерный пример — критика В. Т. Пашуто евразийской теории русской истории (в частности, В. Г. Вернадского, П. Н. Савицкого). Историк отвергает предлагаемое евразийцами монгольское происхождение русской «геополитической идеи», исходя из квази-марксистского представления об общевропейской типологии («...ибо все это паблодало уже в Древней Руси» — С. 96), т. е. представления, которое не позволяло ему принять любые другие теории об особности Руси и России в Европе. Но этот вполне «нормальный» с точки зрения марксистской теории общественно-экономических формаций тезис покоится на совершенно «аномальной» с той же точки зрения интуиции: евразийская теория неприемлема, ибо «древнерусская *шмерская держава* (выделено мною. — А. Н.) из схемы выпала, лишив будущую Россию исторической традиции» (С. 100, прим. 13). Если бы не это мельком брошенное черновое примечание, так и не развитое в полноценную сноску, если бы не этот типичный пример автоматического, «проговаривающегося» письма, то читателю сложнее было бы разглядеть внутреннюю заинтересованность автора за настойчивостью его критических реплик в адрес «русского великодержавия» П. Е. Ковалевского (С. 89), Е. Ф. Шмурло и П. Н. Милюкова (С. 95) и т. д.

В. Т. Пашуто как историку, владевшему фактом и склонному к обобщениям, было слишком тесно на узком пространстве между «русским самодержавием — жандармом Европы» и Россией — спасительницей все той же «неслагодарной Европы» (пушкинский упрек ей, по мнению ученого, все еще справедлив. — С. 291). Здесь нет места для устойчивой равновесной позиции, здесь возможно только движение от одного полюса к другому, от задумчивой ремарки на одной из первых страниц книги Е. В. Спекторского [2] (внешняя политика России — политика принципов, а не политика интересов): «Апология монархии, но и верное есть...» — до решительного итогового резюме на титульном листе: «Мы зря и долго пакостили всенародно свое прошлое». Движе-

ние именно в этом направлении определялось конечно же, и глубинной логикой советской истории: удивительной метаморфозой всемирного по сути своей марксизма на русской почве (социализм в одной отдельно взятой стране!), постепенно раскрывающейся как псевдоморфоza (пользуясь удачным термином О. Шпенглера) русской державности. Но эта же логика задапа и в исходной интуиции самого историка. Здесь показательны уже оценки «раннего» В. Т. Пашуто, см., например, отзыв его о В. Г. Вернадском в неофициальных строках письма к В. Ф. Финорскому 1956 г.: Вернадский плох «не потому, что он евразиец», а потому, что его построения даже там (и именно там), где они не стеснены узкими рамками источников, «лишены благородства» и «оскорбительны для русского народа» (С. 292).

Трудно не видеть, что за всем этим стоит ценностный критерий, в основе которого — *убежденность в историческом достоинстве России*. Думается, здесь главная причина удивительного и подозрительного сейчас для многих явления, а именно того, что «советско-русский» патриотизм переживается не как роковое противоречие, но как органическое историческое единство. Конечно, в терминологии недавней эпохи отождествление «советского» и «русского» было слишком распространено, оно объединяло В. Т. Пашуто даже с его идейными противниками<sup>2</sup>. Вот только оценка этого отождествления, а еще вернее — его исходный мотив, были в принципе различны. Для В. Т. Пашуто советская державность есть продолжение российской на другом историческом этапе, принятие России порождает приятие ее советского продолжения; для его противников (особенно из числа представителей немецкого «остфоршунга» той поры) неприятие СССР просцировалось на предшествующую историю России, подкрепляя тезис об извечном экспансионизме Москвы и России: апитосекский пафос часто разоблачал себя как антирусский в своей основе.

Полагаю, в книге не случайно приведена *in extenso* мысль С. Г. Пушкирева: да, в концепции «единого исторического пути развития» России и Европы Россия выглядит «от-

<sup>2</sup> В ноябре 1942 г. известный немецкий историк Восточной Европы Г. Кох утверждал, что «советизм», «панславизм», «терпимость в отношении церкви» (имелся в виду, очевидно, собор 8 сентября 1943 г., избравший патриарха Сергия) и «свразийство» — всего лишь «формы маскировки московской мировой революции» [3]. Значительно позже другой зарубежный эксперт во взгляде В. Т. Пашуто, согласно которому столетия мирного симбиоза ставили Древнюю Русь в принципиально иные отношения с прибалтийскими народами, нежели только что появившийся здесь, но на многое претендовавший Ливонский Орден, не желал видеть ничего, кроме повода для иронии: в изложении-де Пашуто «все факты маршируют в ногу и на каждом — буденовка с маленькой красной звездочкой».

сталой», но все дело в том, что «общезначимых законов развития не существует» (С. 90). Вся многозначительность этой цитаты станет ясна, если понять, что перед нами, в сущности, силлогизм с опущенной, но подразумеваемой второй посылкой — постулатом об историческом достоинстве России: коль скоро в этой концепции Россия выглядит отсталой, то достоинство России требует признать, что эта концепция неверна. Но ведь это только один из возможных выводов. И концепция «единого исторического пути развития», вошедшая составной частью в историософию марксизма, и историческое достоинство России будут спасены и соединимы в рамках одной схемы, если только признать, что социалистическая революция в России была не продуктом мессиянски окрашенного русского хилиазма (П. А. Бердяев) и не «реакцией эгалитарных низов против... европеизации России» (П. Н. Милоков), а закономерным итогом общемирового исторического развития, в ходе которого Россия, таким образом, не только не отставала бы от прочей Европы, но и превращалась бы в известном смысле в ее путеводительницу. Само упорство, с которым В. Т. Пашуто педалирует вопрос о том, что главная цель эмигрантской науки и зарубежной русистики — создание «ложной родословной» Октября (С. 14, 85, 90, 104 и др., а также [1. С. 78—79]) убеждает, что здесь — один из центральных нервных узлов его видения русской истории.

Дело, как видно, не просто в том, что необходимо было сохранить марксистский унитаризм, а в том, главным образом, что такое марксистское понимание русской революции придавало удивительную устойчивость, прочность всей истории России. Ценность марксизма для русской именно истории представлялась в том, что он давал в руки историку «крупную ведущую идею» (С. 95), совместимую с постулатом об историческом достоинстве России. И напротив, отсутствие такой идеи — вот критерий, по которому В. Т. Пашуто судит эмигрантскую историческую науку. Так, оценивая полемику эмигрантов с М. Н. Покровским и его школой, он, при всех конкретных оговорках, на стороне последнего. Почему? Да потому, что советская Россия растет и крепнет, а историческая наука здесь, несмотря на все издержки роста, имеет прочную позицию (С. 91—93), тогда как «там» — «старина и растерянность» (С. 95). С удивительной, почти простодушной естественностью положение дел в науке оценивается с помощью критерия, по отношению к самой науке, ка-

залось бы, внешнего. Марксизм принимается как теория, сообщающая *прочность и достоинство* исторической науке о России и России в истории. Стало быть, всякие попытки вывести русскую революцию из органики специфической русской истории, отделяющие Россию от Европы, суть покушение на эти прочность и достоинство, на сердцевину исторического величия России. «Православие не отгородило Руси от Запада» — один из лейтмотивов полемических выпадов В. Т. Пашуто (С. 97). В противопоставлении русского и европейского для многих эмигрантов — залог исторического достоинства России, для В. Т. Пашуто и (NB!) «буржуазной историографии» — унижение его. В этой дикийвинной солидарности сказались и западноевропейские корни марксизма, и отход от него на русской почве: как марксист, историк за единство с Европой, но при том ни в коем случае не на основе «дохлого европоцентризма», как он заметил однажды на полях одного из немецких трудов по русской истории, тут еще надо посмотреть, кто и в чем для кого образец!

Так что же такое тогда этот «советско-русский» патриотизм? Думаю, ответ ясен: это этап перерождения *интернациональной* заквакски марксистской историософии в русской атмосфере, этап «переваривания» ее русской *национальной* стихией. Россия и русское — уже не только не запретные слова, но и заветные ценности, хотя ключ к ним как к ценностям, парадоксальным образом, обретается в апофеозе разрушительной русской революции.

Надо ли говорить, что история не подтвердила надежд, возлагавшихся на марксизм как на идеологию, способную сообщить логику и прочность русской истории. Вера в трактовку русской истории «по Марксу» или «под Маркса» как в некий итог оказалась иллюзорной: то, что выглядело *итогом*, оказалось только *этапом*. И вот в лице замечательного русского историка В. Т. Пашуто и его завершающего труда мы сталкиваемся со своеобразным явлением, сродни тому, о котором я упомянул выше, говоря, что материал «перерабатывал» автора. Критически противостоя русской эмигрантской историософии, наблюдая ее теоретически из «марксистского далека», дававшего (казалось бы!) возможность вынести объективный и окончательный приговор, ученый вдруг сам делается действующим лицом тех процессов, над которыми эти самые эмигрантские историософы так упорно размышляли. Круг замыкается. В самом деле, очевидно, что

в марксистском видении русской истории, которое развивал и отстаивал В. Т. Пашуто, происходит то же самое смещение смысла революции как центрального феномена ее истории, из сферы чисто *социально-политической* в сферу *национально-метафизическую*, о котором писал, например, один из историков евразийства применительно к своим «героям» [5]. Позволю себе выразить уверенность, что в той или иной мере это обстоятельство осознавалось, ощущалось самим В. Т. Пашуто. О многом говорит один тот факт, что взор его обратился к эмигрантской теме.

Конечно, В. Т. Пашуто не упускал случая лишний раз подчеркнуть, что западноевропейская «буржуазная» историография русской истории вскормлена идеями русской эмигрантской («буржуазной» же!) исторической науки и историософии (С. 104, 109 и др.). С одной стороны, здесь можно, разумеется, видеть «эзоповский» прием, облегчавший борьбу против «клеветников России», которых еще невозможным было заклеймить их настоящим именем, так что единственным путем критики оставалась полемика с «буржуазными искажениями» русской истории: фактическая оппозиция «русский» — «антирусский» скрывалась под мимикрией «марксистский» — «буржуазный». Но, с другой стороны, здесь и не просто «маска, приросшая к лицу». Напротив, черты живого национального лица все отчетливее пробиваются сквозь предрасказанный канон. Искусственность, фальшивость логической конструкции «эмигрантский» → «буржуазный» → «антисоветский» → «антирусский», где каждый отдельный шаг вроде бы оправдан, но конечный вывод никак не желает сопрягаться с начальной посылкой, не могли не тревожить.

Не нужно слишком внимательно вчитываться между строк, чтобы оценить всю красноречивость самого подбора цитируемых В. Т. Пашуто текстов. Пространные вялые выдержки из А. В. Флоровского об идейном голоде эмигрантской историографии и успехах советской науки (с. 94—95, 98—99) выглядят неизбежным *pendant* к тщательно подобранным упругим цитатам, которые своей «мускулистостью», выверенностью так средни стило самого В. Т. Пашуто. И каким цитатам! Каждая из них бьет точно в цель, и трудно бывает поверить, что эти слова написаны не сегодня и о нас, а более полувека назад. Такие сверхактуальные предостережения Я. А. Бромберга относительно возможности создания в России «еще одной „демократии“

с Ротшильдом во главе, т. е. превращения земли обетованной в капище все того же западного мецанского и материалистического Мамонь», нашедшие себе скромное место в одном из примечаний (полстраницы пети-та!) (С. 102, прим. 82). Таково развенчание П. М. Бицилли философской несостоятельности марксистской социологии, где «гармония рождается из конфликтов, вытекающих из взаимной ненависти отдельных социальных элементов», допущения, «роковая тщета которого была достаточно разоблачена ужасным опытом наших дней» (С. 88) (и еще более ужасным последующим, добавим мы). И какой нарочитой выглядит рядом попытка немедленного опровержения (требование жанра!): да, «царство Божие» не родилось из гражданской войны, но «не стоит надеяться и на его грядущий приход под властью камарильи Николая II и Керенского», хотя о них вовсе и не было речи. Обычно твердая рука опытного полемиста вдруг слабеет, и неуверенная стрела летит далеко мимо цели. А чего стоит «пророчество» (термин, предусмотрительно взятый В. Т. Пашуто в «конспиративные» кавычки) А. С. Изгоева «о будущем возрождении СССР мужественными идеалистами, там живущими, — светскими и вольными церковными диссидентами» (С. 93)? Тот, кому был знаком научный темперамент В. Т. Пашуто, едва ли сможет поверить в бесстрастность автора, из одних лишь научной добросовестности и чувства литературного вкуса аккумулирующего на малом пространстве такое количество взрывчатого материала!

Эти и многие другие рассеянные по страницам книги прозрения русских изгнанников рождают у читателя ощущение рокового чувства нынешней духовной ситуации в России с идейными поисками тогдашней эмиграции: отторжение большевизма при отсутствии собственного живого положительного политико-исторического ориентира, собственной способной объединить идеологии — разве не то же самое переживаем и мы сейчас в России? И в этой «старине и растерянности» для нас сегодня родное почти все. Крах традиционных идеологий, а в результате «идеализация прошлого, естественное тяготение мыслью к временам силы и славы России, поиски виноватых, антисемитские и националистические настроения» (С. 93). Разве этот диагноз, поставленный А. С. Изгоевым русской эмиграции рубежа 20—30-х годов, не верен и по отношению к нам? Эмиграция предвосхитила наш общегосударственный кризис, пережив

его в качестве своей внутренней болезни, осознав его раньше. Представление о европеизации России как естественном, изнутри русской истории идущем процессе и, соответственно, о русской революции и советской России как последовательном *продолжении* этой европеизации — такое представление сейчас вряд ли кого-либо из нас устроит. Но если Октябрь — *реакция* русского «организма» на европеизацию, то необходима новая идеология, которая, вытеснив большевизм, использует и оформит плоды этой органической реакции. Разве не к нам обращен этот призыв?

Осмелюсь утверждать, что именно здесь ключ к пониманию пристального интереса В. Т. Пашуто к эмигрантской исторической мысли. Свойственная ученому глубокая историческая интуиция заставляла его чутко реагировать на новые нарождавшиеся потребности науки много раньше, чем они осознавались, что называется, «широкими кругами научной общественности». Немудрено, что в ту пору, когда В. Т. Пашуто задумывал свою книгу о русских историках-эмигрантах, она рисовалась ему как окончательный *приговор* в «семейственном споре». Но поучительно наблюдать, как этот приговор со временем вырастает в *диалог*, испытующее, но и полное надежды вглядывание друг в друга двух лиц одной России.

Эта взаимная заинтересованность, в основе которой лежит инстинктивное (или не только?) ощущение принципиального родства, видна и в той доверительности отношений, которые сложились у В. Т. Пашуто с некоторыми историками эмигрантского круга: В. А. Мошиным, А. В. Флоровским, В. Ф. Минорским, А. В. Соловьевым... Когда речь заходила о передаче архивов эмигрантов на Родину, многие из них (или их душеприказчиков) не желали иметь дела ни с кем, кроме В. Т. Пашуто. В избранной переписке, вошедшей в книгу (и по объему составляющей около ее половины!), можно найти наглядные примеры тому, как быстро таял лед априорного неприятия в ходе, пусть даже лишь эпистолярного, общения (см., например, письма к В. Т. Пашуто от А. В. Соловьева — С. 348—355).

Мне кажется, сказанного достаточно, чтобы понять: труд В. Т. Пашуто, взятый на фоне духовной эволюции самого автора, — это драгоценное свидетельство русского самосознания на одном из важных этапов его развития. Книга представляет собой, в прямом и непосредственном смысле слова, *памятник историографии*, и как во многие памятники куль-

туры фрагментарность, незавершенность входят в него органической составной частью. Здесь важно само движение, а не его результат. Ведь, как оказывается, далеко не завершен и путь русского национального самосознания в целом. И на этом пути пылкий и пристрастный талант В. Т. Пашуто, по моему убеждению, вовсе не противостоит, а находится в одном ряду со смелыми поисками русской исторической и философско-исторической мысли за рубежом. Перед нами — всего лишь два на время разлучившихся течения единого потока русской историософии. Единого потому, что суть у них общая, и суть эта — *любовь* к России и глубокая *вера* в ее историческое достоинство.

Незавершенность труда дает, естественно, повод для конкретных замечаний. Позволю себе здесь лишь несколько поправок и дополнений, в уверенности, что они (как и многие другие) были бы предприняты самим автором, если бы ему было суждено продолжить работу над книгой. Все они касаются библиографической части (С. 114—190), на особую ценность которой я хотел бы обратить внимание. Она, разумеется, не претендует на исчерпывающую полноту: пишущий эти строки может засвидетельствовать, какое огромное количество сравнительно мелких заметок и рецензий, учтенных в материалах В. Т. Пашуто, приходилось «отсеивать» при подготовке текста к печати. Вместе с тем значение этой библиографии несомненно, и тому есть две главных причины. Во-первых, это неполнота изданных в свое время в Белграде библиографий, на которую указывалось еще в тогдашней эмигрантской прессе (С. 94): Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. Белград, 1931. Вып. 1 (1920—1930); Белград, 1941. Вып. 2. (384 с.) (перепечатано в Гааге в 1970 г.). Во-вторых же, надобно иметь в виду то важное обстоятельство, что в целом ряде случаев библиографии были составлены В. Т. Пашуто на основе полных списков научных трудов, предоставленных ему самими авторами (например, А. В. Соловьевым, В. А. Мошиным, Н. В. Рязановским, М. Шефтелем и др.). Тем более уместно было бы всякое усовершенствование этой библиографии.

К указанным в книге библиографическим трудам П. К. Урбан, Л. А. Фостер и П. К. Ковалевского, кроме приведенного выше белградского двухтомника, следует добавить каталог русской эмигрантской периодики М. В. Шатова: *Half a Century of Russian Serials* (1917—1968);

Cumulative Index of Serials Published Outside of the USSR / Compiled by M. Schatoff. Foreword by W. Boukoff. Ed. by N. A. Hale. New York, s. a. P. 1 (1917—1956).

При составлении библиографических справок по авторам пострадали многочисленные сборники; отчасти они вошли в список общей литературы в конце книги и в список сокращений, но многие из них в результате остались неучтенными, например (приводим только сборники, использованные в работе В. Т. Папуто): Сборник П. Н. Миллюкова по случаю 70-летия. София, 1929; Славяне и Восток. Прага, 1921; Русские в Болгарии. София, 1923; Столетие Киевского университета Св. Владимира. Белград, 1935; Пушкинский сборник (Под ред. Е. В. Аничкова). Белград. 1937.

Такая же судьба постигла и особый список евразийских сборников и периодики, имевшийся в материалах В. Т. Папуто, но по недосмотру редакции не вошедший в окончательный текст (в списке сокращений сохранилось только краткое библиографическое описание периодических изданий: «Евразиец», «Евразийский временник», «Евразийская хроника», «Евразийские тетради»). Поэтому считаю необходимым привести здесь этот список (с некоторыми дополнениями). Описание «Евразийского временника» нуждается в уточнении: он вышел тремя томами в 1923, 1925 (Берлин) и 1927 (Париж) гг. и представлял собой книги 3—5 серии «Утверждение евразийцев». Другие периодические издания: Евразия. Еженедельник по вопросам культуры и политики. Кларм (Париж). № 1—35 (24 ноября 1928 — 7 сентября 1929); Поток Евразии. Таллин, 1938 и след.; Свой путь. Ежемесячная газета (ред. В. А. Пейль). Таллин, 1931 и след. Сборники: Исход к Востоку. Предчувствие и свершения. София, 1921 (= Утверждение евразийцев. Кн. 1); На путях. Берлин, 1922 (= Утверждение евразийцев. Кн. 2); Россия и латинство. Берлин, 1923; Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж, 1926; Russia in Resurrection. A Summary of the Views and of the Aims of a New Party in Russia, by and English European. London, 1928; Евразийский сборник. Прага, 1929 (= Утверждение евразийцев. Кн. 6); Тридцатые годы. Париж, 1931 (= Утверждение евразийцев. Кн. 7); Евразийство. Декларация, формулировка, тезисы. Прага, 1932; Новая эпоха. Идеократия, политико-экономика, обзоры. Нарва, 1933; Евразийство и коммунизм Б. м., б. г. Достаточно подробный обзор литературы о евразийстве за

1921—1935 гг. см. в работе: Савицкий П. Н. В борьбе за евразийство // Тридцатые годы. Париж, 1931. С. 1—52.

Дополнения и поправки к отдельным персоналиям.

*Алексеев Н. Н.* Пути и судьбы марксизма. От Маркса и Энгельса к Ленину и Сталину. [Берлин], 1936; (в соавторстве). О газете «Евразия». Париж, 1929; (Das russische Westertum), вышла также по-русски: Путь. 1929. Кн. 15; год выхода книги «Теория государства» следует исправить с 1928 на 1931.

*Вышеславцев Б. П.* (год смерти — 1955, а не 1954). Необходимо упомянуть о последней книге этого автора: Кризис индустриальной культуры. Париж, 1953; ср. полемику о ней в: Новый журнал. 1954. № 34—35 (статьи М. Вишняка, Ю. Денике и Н. С. Тимашева), 38. (ответ Б. П. Вышеславцева).

*Ижболдин Б. С. Ishboldin B.* The Eurasian Movement // The Russian Review. 1946. Vol. 5. P. 64—73.

*Ильин И. А.* Профессором Русского научного института в Берлине состоял с февраля 1923 по июнь 1934 г. Помимо собственно философских работ, следовало бы назвать также: Родина и мы. Берлин, 1926; Яд большевизма. Берлин, 1931; О России. Три речи. София, 1934 (перепечатано отдельной брошюрой «Российским архивом» Н. С. Михалкова [М., 1991] с присовокуплением замечательной пророческой статьи «Что сулит миру расчленение России»); Основы борьбы за национальную Россию. Париж, 1938; Наши задачи. Статьи 1948—1954 гг. Париж, 1956. Т. 1—2.

*Лосский И. О.* Характер русского народа. Франкфурт-на-Майне, 1957; знаменитая «History of Russian Philosophy» имеется теперь в русском переводе: История русской философии. М., 1991.

*Спекторский Е. В.* был доцентом в Варшавском университете с 1903 г., с 1913 г. — в Киевском университете Св. Владимира; в 1924—1927 гг. — профессор и декан Русского юридического факультета в Праге (деятельность в Белграде — до и после Праги).

*Стенун Ф. А.* «Евразийский временник» // Современные записки. 1924. Кн. 21. С. 400—407; *Stepun F. Dostojevskij und Tolstoj.* Christentum und soziale Revolution. München, 1961.

По недосмотру из персоналий выпала рубрика о профессоре Московского Археологического института *Василии Сергеевиче Арсеньеве* (1883—?), авторе многочисленных статей и заметок генеалогического и краеведческого характера в журнале «Новик», выходившем до

1938 г. в Афинах, а затем — в Нью-Йорке (о Воейковых, Борисовых, Арсеньевых, Тутомлиных, Сухово-Кобылиных, Урусовых, Пушкиных, Шеншиных, Саблуковых, Лажечниковых, Столыпинах и др.).

Как зачастую бывает при издании столь сложных текстов, не обошлось без досадных опечаток. Так, название книги Е. В. Спекторского «Начала науки о государстве и обществе» превратилось в «Начала науки и государства в обществе» (С. 170), а русская церковь из «наследницы Третьего Рима» стала (*horrible dictu*) «наследницей третьего мира» (С. 96). Однако их не так много, да они, повторяю, и неизбежны в публикации, которой уже, увы, не мог коснуться придирчивый ректорский взгляд самого автора. Выпуск в свет такой книги в наши трудные времена,

без сомнения, делает честь Архиву Российской Академии наук и Отделению истории РАН, финансировавшему издание<sup>2</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Паушто В. Т. Реваншисты-псевдоисторики России. М., 1974.
2. Спекторский Е. В. Принципы европейской политики России в XIX и XX веках. Любляна, 1936.
3. Koch H. Die vier Tarnungsformen der Moskauer Weltrevolution // Volkswirtschaftliche Feldpostbriefe. Prag, 1944. Febr. H. 1.
4. Pritsak O. Рец. на: Паушто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968 // Kritika. Cambridge (Mass.), 1969. Vol. 5. № 2.
5. Böss O. Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jhs. // Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts (München). Wiesbaden, 1961. Bd. 15. S. 16.

*La cultura spirituale russa*/A cura di L. Magarotto e D. Rizzi. Trento: Uneversità di Trento, Dipartimento di Storia della Civiltà Europea, 1992, 355 p.

*Русская духовная культура*/Под ред. Л. Магаротто и Д. Рицци

Как сообщает в предисловии Д. Рицци, сборник был задуман в 1988 г. выдающимся итальянским славистом М. Марцадури в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси. После внезапной смерти ученого издание готовилось к печати его коллегами и учениками.

Судьба православия на Руси, его связи с историей литературы и искусства, его роль в становлении и развитии отечественной культуры — таковы основные проблемы, рассматриваемые авторами сборника — известными филологами, историками и искусствоведами России. В издании удачно сочетаются работы общего, историософского характера (С. С. Аверинцев, В. Н. Топоров, Г. М. Прохоров) со статьями более конкретными, посвященными частным проблемам. Это сочетание здорового эмпиризма и методологической основательности придает сборнику своеобразие и делает его примечательным явлением не только славистической науки, но и духовной жизни в целом. Для издания характерна масштабность пробле-

матики, обращение к событиям и текстам, определившим собой развитие отечественной культуры на многие столетия. В то же время в ряде статей используются новые источники; Б. Л. Фонкич в приложении к своей статье помещает греческий текст послания Максима Грека к князю П. И. Шуйскому по рукописи Государственного Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, а также фототипическое воспроизведение рукописи. Статьи Л. Н. Гумилева и Н. Н. Покровского в значительной мере подытоживают их предшествующие раз-ыскания и имеют итоговый характер.

Сборник открывается статьей С. С. Аверинцева «Крещение Руси и путь русской культуры» (С. 11—24). Автор устанавливает черты преемственности между культурой Византии и Древней Руси (характер книжной культуры, некоторые словообразовательные модели, отношение к иконе, юродство во Христе). В то же время уже в ранних памятниках летопи-

<sup>2</sup> От редакции. Нельзя не отметить большого бескорыстного труда, вложенного в подготовку книги к печати вдовой В. Т. Паушто Н. А. Тарасевич-Паушто, его сотрудниками Е. А. Мельниковой, А. В. Назаренко, И. С. Чичуровым, а также М. К. Шаццлло.



сания и иконописи С. С. Аверинцев справедливо усматривает национально-специфические черты: доверие к красоте как свидетельству об истине, отношение к Богородице не как к объекту возвышенной влюбленности, а как к источнику материнской жалости и др.

Г. М. Прохоров в статье «Внутренняя динамика древнерусской культуры, или Надсознание Древней Руси» (С. 211—232) прослеживает смену ценностных ориентаций на протяжении 1000-летия — с X по XIX вв. Предложенная Г. М. Прохоровым схема, на наш взгляд, теоретически обоснована; возражения вызывает только взгляд на русский народ как некое недифференцированное целое. Например, автор пишет, что «Фольклор... не был допущен народом в письменность», между тем та среда, в которой бытовал фольклор, существенно отличалась от той, в которой создавалась письменность. По-видимому, смена ценностных установок, которую реконструирует Г. М. Прохоров, затрагивала главным образом сравнительно тонкий верхний слой общества, в то время как ценностные ориентации крестьянских масс оставались неизменными или во всяком случае развивались несравненно медленнее.

Работа В. Н. Топорова «Преподобный Феодосий Печерский. Труженичество во Христе» (С. 247—316) представляет собой главы из его книги «Труженичество во Христе (творческое соби́рание души и духовное трезвение)», первая часть которой опубликована в журнале «Russian Literature» [1], а вторая часть объявлена там же на 1993 г. В рецензируемый сборник включено «Введение» к книге и 8-я глава 1-й части «Призвании», которая посвящена годам юности Феодосия Печерского и заканчивается основанием Киево-Печерского монастыря. Тематически статья примыкает к предпринятому ранее В. Н. Топоровым исследованию категории святости в русской культуре [2]. Метод исследования явно соотносен с известной книгой Г. П. Федотова «Святые Древней Руси», переизданной в 1990 г.

В. Н. Топоров рассматривает не столько Житие Феодосия, сколько сам жизненный путь святого, судит не о тексте, а скорее о той реальности, которая стоит за текстом, восстанавливает истинный смысл происходящего, его глубинные мотивировки. Надо сказать, что сам лаконизм агиографического стиля дает определенные основания для такого подхода. Исследователь по существу выступает здесь в роли со-автора, со-творца текста. Пред-

ставляют интерес психологические этюды, посвященные матери Феодосия, Антонию, разные периоды жизни Феодосия.

Во «Введении» к книге автор, кажется, впервые с такой определенностью формулирует взгляд на православие как «основу и лучшую часть русской культуры» (С. 250), останавливается на «соблазнах и грехах русской души» и их связи с формами русской святости.

В статье «К проблеме „Пушкин и христианство“» (С. 147—178) Ю. М. Лотман предпринимает попытку реконструировать один из нереализованных замыслов А. С. Пушкина — замысел драмы об Иисусе Христе. В связи с этим исследователь затрагивает вопрос об отношении позднего Пушкина к христианству. Как отмечает Ю. М. Лотман, «христианство Пушкина было глубоко историческим чувством... И именно в силу своего историзма этот идеал не перечеркивал и не отбрасывал, а изживал и превосходил „языческий“ период Ренессанса и Просвещения» (С. 177). «Возвращение к Пушкину», к которому призывает (или которое предсказывает) Ю. М. Лотман, в этом смысле представляется чрезвычайно перспективным.

В. М. Живов в статье «„Slavia Christiana“ и историко-культурный контекст Сказания о русской грамоте» (С. 71—126) на основе изучения большинства известных списков Сказания как опубликованных, так и хранящихся в архивах, предлагает новую реконструкцию прототекста этого памятника и его датировку (XII в.). Сказание ставится автором в один ряд с другими антилатинскими полемическими сочинениями. В то же время В. М. Живов связывает вопрос о содержательной интерпретации Сказания с проблематикой западно-славянско-русских религиозных и литературных связей, с идеями славянского единства на рубеже X—XI вв. и их судьбой в последующие столетия.

Работа Л. Н. Гумилева «Миф и действительность. Южная Сибирь и Древняя Русь XI—XIII вв.» (С. 45—70) посвящена проблеме взаимоотношений «леса» и «степи» в первые века российской истории. В свойственной автору полемической манере изложена его известная концепция, согласно которой отечественные историки, следуя тенденциозным средневековым источникам, исказили и преувеличили значение тагро-монгольского нашествия и его влияние на развитие древнерусской культуры.

Н. Н. Покровский в статье «Старообрядчество востока страны конца XVII — середины XIX в.» (С. 179—210) систематизирует и обоб-

щает экспедиционные и архивные разыскания сибирских и уральских археографов и историков последних десятилетий. Автор рассказывает о новооткрытых исторических, догматических и полемических сочинениях, называет не известные ранее имена крупных крестьянских писателей урало-сибирского региона (М. И. Галанин, холоп Максим).

А. А. Зализняк посвятил свое исследование участию женщин в древнерусской переписке на бересте (С. 127—146). Берестяные грамоты, обнаруженные во время раскопок в Новгороде, Старой Руссе и Твери, представляют собой уникальный источник, из которого можно извлечь драгоценные подробности о быте и хозяйственных занятиях женщин в XII—XV вв. Интересны наблюдения автора над стилистическими особенностями женских писем, для которых характерны особая эмоциональность и яркость языка. Уже после того, как была написана работа А. А. Зализняка, появилось фундаментальное исследование Н. Л. Пушкиревой о женщинах Древней Руси [3], в котором наряду с другими источниками использованы также и берестяные грамоты.

В статье Т. Ф. Владышевской «Эстетические основы музыкальной культуры Киевской Руси» (С. 25—44) рассматривается характер усвоения на Руси художественного канона византийского искусства и соответствующих религиозно-эстетических идей. Особое внимание уделяет автор посланиям и поучениям Феодосия Печерского, затрагивающим вопросы музыкально-эстетического плана.

*В. Н. ТОПОРОВ. Неомифологизм в русской литературе начала XX в. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни». Тренто, 1990. 326 с. (Eurasistica. Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici Università degli Studi di Venezia. 16.)*

Исследование В. Н. Топорова посвящено полузабытой книге малоизвестного ныне писателя, тем не менее и сам роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни», и рецензируемый труд представляют во многих отношениях чрезвычайный интерес, выходящий за рамки проблемы «неомифологизма в русской литературе начала XX в.»

Александр Алексеевич Кондратьев (1876—1967) известен главным образом как писатель и поэт, участник петербургского круга литера-

Более частным проблемам посвящены работы П. А. Раппопорта и Б. Н. Флория. П. А. Раппопорт систематизирует сведения древнерусских письменных источников о зодчих и строителях, их происхождении и социальном положении, делится наблюдениями об их рабочем методе, о составе древнерусской строительной артели.

Б. Н. Флория в статье «О некоторых аналогиях в развитии древнерусской и западноевропейской мысли в эпоху средних веков» (С. 317—334) останавливается главным образом на соотношении понятий «священства» и «царства» в XIV—XVI вв. Ценный материал для разработки этой темы автор извлекает из полемики Максима Грека и Федора Карпова.

Рецензируемый сборник является одним из самых фундаментальных изданий, посвященных русской духовной культуре, за последние годы. Остается лишь выразить надежду на его распространение в России.

*Топорков А. Л.*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Russian Literature. 1992. V. 32. № 2. P. 95—210.
2. Топоров В. И. Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре — \*svęť-//Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 184—252.
3. Пушкирева Н. Л. Женщины Древней Руси. М., 1989.

торов начала XX в., знакомый А. А. Блока. После революции он до второй мировой войны жил на хуторе под Ровно, на территории, отошедшей к Польше. В этот период им были написаны роман «На берегах Ярыни», опубликованный в 1930 г. с характерным подзаголовком «Демонологический роман», и сборник «стихотворений на мифологические темы» под названием «Славянские боги» (Ровно, 1936). В прозе и стихах 1920—1930-х годов А. А. Кондратьев предпринял опыт своеобраз-

ного литературно-художественного осмысления восточнославянской демонологии и древнеславянской мифологии, причем, как показывает В. Н. Топоров, некоторые догадки писателя превосходили результаты более поздних научных разысканий в указанных областях.

Рецензируемое издание состоит из двух больших частей — исследования В. Н. Топорова и трех приложений. Приложение I «Эпистолярное и поэтическое наследие А. А. Кондратьева по материалам Рукописного отдела Государственной публичной библиотеки» включает описание рукописных материалов А. А. Кондратьева в фондах ГПБ, а также публикацию обширных фрагментов из писем, представляющих наибольший историко-культурный интерес, и ряда поэтических произведений. Здесь также приводится информация о любопытном неопубликованном рассказе А. А. Кондратьева «Сны» (С. 243—248). В Приложении II воспроизведен сборник «Славянские боги», включающий 69 сонетов на темы древнеславянской мифологии и русской демонологии; его дополняют четыре более поздних сонета на те же темы. В заметке, предпосланной публикации сборника, В. Н. Топоров характеризует его поэтику, а также оценивает с точки зрения современных представлений о славянской мифологии.

Поскольку А. А. Кондратьев указывал, что шел в своей работе «по следам безвременно умершего в 1895 г. талантливого поэта П. Д. Бутурлина, написавшего несколько хороших сонетов на темы из славянской мифологии» (С. 258), в Приложении III помещены 18 сонетов П. Д. Бутурлина, а также сведения о его жизни и поэтическом творчестве.

Собственно исследование В. Н. Топорова (С. 9—185) включает главы, посвященные творческому пути А. А. Кондратьева, неомифологизму в русской литературе начала века, а также скрупулезному рассмотрению романа «На берегах Ярыни». Литературный контекст, привлекаемый В. Н. Топоровым, определяется, с одной стороны, кругом личных и творческих связей А. А. Кондратьева петербургского периода его жизни, а с другой — тематикой романа. В кратких, но емких характеристиках, представляющих самостоятельный интерес, В. Н. Топоров повествует о мифологических и демонологических мотивах в поэзии А. А. Блока, С. Городецкого, В. Хлебникова, В. Нарбута и прозе А. Ремизова и А. Белого.

Исследование «демонологического романа» открывается главой «Ярынь — имя и образ. „Ре-

альный“ субстрат романа». Автор справедливо усматривает в названии реки *Ярынь* контаминацию двух названий рек, хорошо знакомых жителям Ровенщины, — *Горынь* и *Ярунь*. В то же время название *Ярынь* отсылает к корню *яр-* со значениями «полнота жизненной силы», «жар», «ярость» и т. д. В связи с этим В. Н. Топоров делится интересными наблюдениями о мифопоэтических функциях имени в романе А. А. Кондратьева и в народной культуре.

Четыре главы исследования посвящены имманентному рассмотрению художественного мира романа: «Мир богов. Мифологические композиции и сюжеты. Реконструкции»; «Мир людей *sub specie* „демонологического“». Двуприродности; «Мир „демонологического“ и мир природного»; «Сфера духовности и по-длинно человеческого». Как справедливо отмечает В. Н. Топоров, особая сложность задачи, стоявшей перед А. А. Кондратьевым, заключалась в том, чтобы гармонизировать мир нечисти, богов и людей. В частности, божественное начало проявляется в романе в плане ирреального и «сверхреального»: «В первом случае боги выступают в романе лишь как некие грезы, сновидения или воспоминания о далеком прошлом, о времени, когда боги, а не нечисть определяли все существенное в жизни. Во втором случае вместо богов в их ипостасной форме и в их активности появляются их предметно-материальные субституты, утратившие способность к действию...» (С. 59). Особое внимание В. Н. Топоров уделяет авторским догадкам о функциях и взаимоотношениях древнеславянских богов, причем рассматривает эти догадки как результат своеобразной мифологической реконструкции. Впрочем, на наш взгляд, степень научности подобных реконструкций сильно преувеличивается исследователем. В частности, В. Н. Топоров отмечает, что мотив «Волос как верховный бог, господин неба, предшественник Перуна» «совершенно нов и неизвестен специалистам по славянской мифологии, хотя после того, как он обозначен Кондратьевым, трудно сомневаться в его достоверности» (С. 64). Трудно согласиться с логикой такого рассуждения.

Особый интерес представляет глава о персонажах, принадлежащих по рождению к «человеческому» кругу, но захваченных и стихией «демонологического». Заслуживают внимания указания на связь двуприродности таких персонажей со «старым» и новым двоеверием.

Не только для осмысления романа «На берегах Ярыни», но и для постижения внутреннего смысла славянских демонологических

представлений важны наблюдения В. Н. Топорова о мире нечистой силы, которому и посвящено главным образом произведение А. А. Кондратьева. Используя в тексте романа десятки быличек, писатель сумел тем не менее создать цельное художественное произведение, что потребовало от него глубокого проникновения во внутреннюю логику этого мира, в характер соотношения демонологического и человеческого, демонологического и природного. Как отмечает В. Н. Топоров, «ценность романа... не столько в деталях изображаемой жизни, сколько в самой атмосфере, в понимании ее внутренних связей и мотивировок, ее тайного нерва» (С. 131). В то же время трудно согласиться с утверждением исследователя о том, что роман «не „археологичен“, не „этнографичен“ и не „фольклорен“; он не является и возникшим и ставшим модным в XX в. „романом-мифом“; если угодно, это просто роман о деревне: ее людях, полях, болотах, реках» (С. 130). Как кажется, тезис о том, что «На берегах Ярыни» — «просто роман о деревне», противоречит не только содержанию романа, но и пафосу всего исследования В. Н. Топорова. Ведь и деревня, и окружающая природа изображаются А. А. Кондратьевым исключительно постольку, поскольку они связаны с миром демонов.

Хочется также отметить, что вопрос об источниках романа явно нуждается в дополнительном изучении. С одной стороны, важно было бы выяснить, ориентировался ли А. А. Кондратьев на устную традицию (живое бытование фольклора), либо на книжные источники. С другой стороны, возникает вопрос о том, на какую именно этническую или локальную традицию ориентировано изображе-

ние «нечистиков» в романе. По-видимому, ни на один из этих вопросов не может быть дан однозначный ответ. В романе ощущается знакомство с русской этнографической литературой, в частности, с книгой С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903) и с диссертацией Д. К. Зеленина «Очерки русской мифологии. Вып. I. Умершие неестественной смертью и русалки» (1916). В то же время многолетнее пребывание А. А. Кондратьева на хуторе под Ровно обусловило его обширные познания в области украинской демонологии.

Неоднократные указания автора на то, что в селе, вокруг которого разворачивается действие романа, два конца — «хохлацкий» и «кацапский», как представляется, важны не тем, что позволяют локализовать это село, а тем, что свидетельствуют о синтетическом, русско-украинском характере изображенного им демонологического мира. Так, например, образ лешего явно ориентирован на русскую традицию, а описание полета на шабаш или отваживания нечистой силы с помощью рассыпанного мака — на украинскую. Нужно также учитывать опыт изображения демонологических персонажей в украинской художественной литературе, в частности, напрашивается сопоставление романа «На берегах Ярыни» и драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песнь» (1912).

В заключение хотелось бы поддержать мнение В. Н. Топорова о желательности нового издания романа, представляющего собой не только интересный опыт реконструкции восточнославянской демонологии и мифологии, но и высокохудожественное произведение.

Топорков А. Л.

*Elementa. Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics.*  
Vol. 1, № 1. — X + 117 p.<sup>1</sup>

*Элемента. Славяноведение и сравнительная семиотика культуры*

Перед нами — первый выпуск нового славистического журнала, издаваемого по инициативе издающегося отечественного специалиста в области славистики, семиотики и других гуманитарных наук — Вяч. Вс. Иванова, работающего ныне в Калифорнийском

(Лос Анджелес) и Московском университетах. В состав редакционной коллегии и редакционного совета журнала входят многие из наиболее авторитетных ученых-гуманитариев России, США и других стран мира.

Выполненный на весьма высоком поли-

<sup>1</sup> Автор признателен А. А. Пичхадзе за существенные замечания по тексту рецензии.

графическом уровне (издательство «Harwood Academic Publishers», США), журнал привлекает внимание своеобразием и как бы весенней свежестью своего облика, но в первую очередь, конечно, несколько интригующим названием. Вызванный им интерес возрастает по мере ознакомления с первым выпуском.

Подробно определяя в редакционной статье цели и сферу интересов нового издания, Вяч. Вс. Иванов сообщает о намерении продолжить на его страницах традиции Пражского лингвистического кружка, Московско-Тартуской семиотической школы и их предшественников. «Elementa» (буквально «Элементы»; мн. ч.) — не вполне традиционное славистическое издание, поскольку в нем предполагается развивать новую до известной степени отрасль гуманитарного знания — славистические исследования в контексте сравнительной семиотики культуры в самом широком смысле слова. Приоритетными признаются фундаментальные проблемы знака и культуры, семиотики текста, славянского авангарда, истории русской культуры, отношений между славянами и другими народами Евразии. Замечательным представляется намерение обратиться к релевантному для семиотики наследию тех ученых из стран Восточной Европы, чьи труды по тем или иным причинам остались мало известными на Западе. Их неопубликованные работы найдут себе место и в планируемой при новом журнале монографической серии.

Журнал рассчитан (хотя явных указаний на это как будто нет) на западную, точнее, англоязычную аудиторию, — видимо, более широкую, чем, например, у голландской «Russian Literature». Во всяком случае, все статьи первого выпуска представлены на английском языке, на который переведены и привлекаемые русские тексты (их подлинник транслитерирован латиницей).

Подобная последовательность, несомненно, вполне целесообразна для издания, одна из главных задач которого, по определению Х. Бирнбаума (см. ниже), состоит в пропагандировании идей Московско-Тартуской семиотической школы на «подлинно международном, мировом уровне» (Р. 9). Двойной locus этой школы, а именно, Институт славяноведения и балканистики в Москве и университет в Тарту, был расколот границей между независимыми Россией и Эстонией, а многие из принадлежавших или тяготевших к ней отечественных ученых уехали в другие страны (Р. 9—10). Последнее обстоятельство,

как оно ни печально, не может не способствовать сохранению и развитию научных традиций школы на «мировом уровне», соответствующем характерному для современной науки стремлению к всеобъемлющей интеграции. Кажется естественным — и отрадным — что среди ученых, объединившихся под эгидой нового журнала, напоминающего нам знаменитую тартускую серию «Στοιχειώματα», немало тех, кто в последние годы оставил родные пенаты (Москву, Тарту, Петербург, Ригу...) и теперь, говоря словами поэта, находится *далеко среди людей* (...distant in Humanity) — в Иерусалиме, Беркли, Париже...

Первый выпуск убедительно подтверждает огромные возможности привлекаемых журналом научных сил и широту намечаемых им исследовательских горизонтов. Не имея возможности дать здесь сколько-нибудь подробную характеристику содержащихся в «Элементах» статей, мы вынуждены заменить ее отдельными иллюстрациями.

Статья Вяч. Вс. Иванова «К этимологии латинского *elementa*» (Р. 1—5) воспринимается, конечно, как объяснение названия нового журнала, раскрытие дополнительных граней лежащего в его основе замысла. Речь идет о стремлении определить семиотически значимые первоосновы культуры, *дойти до самой сути* исследуемого. Слово *elementa* (ед. ч. *elementum*) первоначально было, по-видимому, обозначением табличек из слоновой кости с начертанными на них буквами (Р. 2). Важно подчеркнуть, не касаясь здесь происхождения этого этимологически трудного слова, его роль эквивалента греч. στοιχεῖον (ср. рус. *стихия*) в значении первоэлемента вселенной, подготовившую, кстати, в истории рус. элемент такой эпизод, как *таблица элементов* Менделеева. Соотносясь с идеями античного атомизма, слово *elementa* позволяло представить структуру универсума метафорически, в виде комбинаций отдельных «букв». Такую метафору допустимо рассматривать как «один из ранних подступов к семиотическому описанию» (Р. 2—4).

Рубрика «Общие проблемы знака и культуры» открывается уже цитированной выше статьей Х. Бирнбаума «Язык, реальность, культура и семиотическое моделирование» (Р. 9—22), где американский ученый излагает свое понимание ряда фундаментальных проблем — сущности языка и языковых изменений, способности языка выполнять поэтическую функцию и некоторых других. Предлагаемая им критика основополагающего для Московско-Тартуской школы по-

ложения о естественном языке как единственной первичной моделирующей системы, на наш взгляд, дает показательный пример перехода концепций этой школы (всегда остававшейся «открытой для свежих идей». Р. 16) на новый уровень развития. К пересмотру упомянутого ключевого положения пришел и Вяч. Вс. Иванов (Р. 17), прямо высказывающийся по этому поводу в редакционной статье («Language proves to be not the only primary modeling system»), в которой подчеркивается недостаточность и даже неадекватность лингвистического моделирования таких форм культурной информации, как музыка и кино (Р. VII).

В публикации К. Гинзбурга, посвященной открытию европейцами феномена шаманизма («On the European (Re)discovery of Shamans». Р. 23—39), обращение к теме статьи как таковой не без оснований предваряется анализом и попыткой семиотического осмысления текстов, зафиксировавших важный эпизод постижения европейцами особенностей мира, ставшего им доступным после великих географических открытий. Речь идет о наблюдениях за обычаем употреблять средства, способные вызвать эффект временного «доступа в сферу опыта, отличающегося от обычного» (Р. 26) — табак, семена конопли, опиум. Заимствованное автором из книги Дж. Бенцони описание курящих табак индейцев (Р. 23—24), кстати, заставляет вспомнить введенное Х. Бирнбаумом понятие «освоения» («familiarization», художественный прием, противопоставленный «defamiliarization», «отстранению» у В. Шкловского), т. е. концентрацию внимания на чем-то «непривычном, угрожающем, неизбежном...» (Р. 12—13). Использование галлюциногенных средств (растений) и, как его результат, «сны и видения, общение с духами» (Р. 31) оканчивается тем общим для древних и более поздних традиций местом, которое позволило носителям рационального европейского сознания найти правильные историко-этнографические параллели сибирскому шаманизму<sup>2</sup>. Важность затронутых К. Гинзбургом проблем и ценность приводимых им фактов и соображений несомненны. Его статью можно расценить как один из подступов к изучению огромного пласта целовещеской культуры, составными частями которой равно являются, скажем, тема сомы

в индоарийской традиции, мухомора в чукотско-камчатской или гашиша в жизни и творчестве Бодлера.

Рубрика «Авангард и славянские традиции» представлена статьей О. Ронена «Заумь как означающее и означаемое в нефутуристских текстах» (Р. 43—55), в которой рассматриваются недостаточно изученные аспекты «шибболета русского футуризма» (Р. 43), прежде всего, его роль свособразного стимула литературного процесса за рамками футуризма как такового. Напомнив о себе в творчестве ряда поэтов-нефутуристов (ср. соотносенные с заумью образы, объединенные мотивом «косматости», например, *косматое руно*, *сеновал* у Мандельштама; в связи с реминисценциями «Воза сена» Босха ср. еще [3. С. 261]), «муза зауми» с 1933 г. исчезает из русской поэзии, находя себе убежище в произведениях Набокова (Р. 50—53).

Статьи Е. Душечкиной «Русская календарная проза: святочный рассказ» (Р. 59—74) и Х. Барана «Новое прочтение солярного мифа у Хлебникова» («Khlebnikov's Solar Myth Reexamined». Р. 75—88) составляют рубрику «Славянский фольклор и литература». Первая из них содержит анализ святочных рассказов — текстов, обладающих многими интересными особенностями, прежде всего — приуроченностью к переходу от Старого года к Новому, т. е. к критической ситуации, характеризующейся возрастанием активности *нечистой силы*, а также ярко выраженной знаковой «отмеченностью» (возможностью узнать по гаданиям судьбу, будущего брачного партнера и т. п. Р. 61—62). Имманентная святочному рассказу психологическая напряженность (р. 66) объясняет интенсивное взаимодействие этого текста, еще очень близкого к традиции устного повествования, с психологической прозой и поэзией. Весьма перспективным представляется указание автора на необходимость использования святочного рассказа в качестве источника информации о психологии массового читателя XIX — начала XX в. как существенном факторе литературной и культурной истории России (Р. 70).

В дополнение к своему предшествующему исследованию об отражении в «Детях Выдры» Хлебникова ороческого мифа о культурном герое, уничтожающем «лишние» солнца (ср. [4. С. 461]), Х. Баран, обращаясь к анализу

<sup>2</sup> Вне поля зрения К. Гинзбурга, судя по всему, осталась важная работа Ю. Янхунена ([1]; к осмыслению русского освоения Сибири см. еще [2]), не говоря о других возможных пробелах (например, труды Стеллера и Крашениникова о Камчатке).

текстов поэта, содержащих мотив гибели героя в огне (ср. особенно «Таинство дальних». Р. 80), весьма правдоподобно объясняет причины, обусловившие превращение оронского мифа в «организующий принцип» хлебниковской модели истории человечества (Р. 76).

В статье А. Осповата «Tutchev's Political Memorandum Rediscovered (Preliminary notes)», составляющей содержание рубрики «Славянские архивы: Восток и Запад» (Р. 91—97) представлен ценный результат архивных разысканий — текст (точнее, его сокращенный вариант) одного из ранних политических сочинений Тютчева. О содержании этого документа, в глубокой историко-религиозной ретроспективе трактующего столь актуальную и в наши дни проблему взаимоотношений России и Запада, до сих пор можно было только догадываться.

Содержащаяся в рубрике «Historia sub specie Semiotica» статья М. Ямпольского «The Rhetoric of Representation of Political Leaders in Soviet Culture» (Р. 101—131) трактует тему, которую можно назвать близкой каждому бывшему гражданину СССР — даже если он не догадывается о том, что портреты, статуи, бюсты и иные изображения наших political leaders могут быть подвергнуты семиотическому анализу. Представляется, что М. Ямпольскому в его небольшой публикации удалось дать целостную и весьма убедительную картину эволюции имиджа коммунистических вождей (прежде всего, Ленина-Сталина) в советском изобразительном и киноискусстве, истолковав ее в широком культурно-историческом контексте (Митра и Варуна, Ромул и Нума, Наполеон и деятели Великой французской революции, восточные солярные божества и т. п.). Укажем лишь некоторые из рассматриваемых в статье сюжетов: Ленин на трибуне; Ленин на трибуне, вознесенной на абсурдную высоту, где она теряет свой функциональный смысл; Ленин на броневике (последнее сравнивается с ораторством Муссолини на танке, а также с известным эпизодом августовских событий 1991 г. в Москве); Сталин, дающий клятву

у гроба Ленина; указующая десница Ленина-Сталина.

Несомненно, что представленная М. Ямпольским картина может существенно уточняться и бесконечно детализироваться за счет привлечения дополнительного материала (недостатка в нем нет) — такого, например, как татуировка с изображением Сталина, Ленина, Троцкого (ср. [5. С. 477—478]). Особые и притом огромные темы (не затрагиваемые в статье М. Ямпольского и, видимо, еще ждущие своих исследователей) — образы советских вождей в вербальных текстах и в музыке.

Начавшееся издание нового журнала по славистике и семиотике — незаурядное и очень отрадное событие. Полезность начатого предприятия и высота его научного уровня вне всяких сомнений. Приветствуя «Elementa» и желая журналу доброго пути, нельзя не вспомнить и о другом приятном событии последних дней — выходе в свет яркого семиотического исследования М. Ю. Лотмана [6]. «Elementa» и «Культура и взрыв» — зримые доказательства исключительной плодотворности идей Московско-Тартусской семиотической школы, у истоков которой стояли Вяч. Вс. Иванов и М. Ю. Лотман.

Аникин А. Е.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Janhunen J.* Siberian shamanistic terminology // *Mémoires de la Société finno-ougrienne*, 1986, № 194.
2. *Топоров В. Н.* Россия и Япония на встречных путях // *Народы Азии и Африки*, 1989, № 5.
3. *Топоров В. Н.* Семантика мифологических представлений о грибах // *Balkanica. Лингвистические исследования*. М., 1979.
4. *Иванов Вяч. Вс.* Солярные мифы // *Мифы народов мира*. М., 1992. Т. II.
5. *Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы)*. М., 1992.
6. *Лотман Ю. М.* *Культура и взрыв*. М., 1993.



## КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ»

8 сентября 1992 г. в Москве в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) состоялся круглый стол на тему «Российская эмиграция в славянских странах — культура и наука». В его организации приняли участие ВГБИЛ, Институт славяноведения и балканистики РАН (ИСБ), Российский фонд мира и Славянская библиотека в Праге, развернувшая в фойе книжную тематическую выставку из своих фондов. Руководили круглым столом директор ВГБИЛ Вяч. Вс. Иванов, профессор Парижского университета Д. А. Струве и заведующий сектором Института славяноведения и балканистики РАН М. А. Робинсон.

Круглый стол открыл Иржи Вацек (Славянская библиотека в Праге), проанализировавший роль российской эмиграции в основании и деятельности Славянской библиотеки, в исследовании эмигрантской проблематики.

В. В. Иванов, говоря о роли русских ученых в развитии структурализма в славянских странах, остановился, в частности, на плодотворной деятельности Р. О. Якобсона в пражском лингвистическом кружке.

А. Б. Едемский (ИСБ) рассмотрел истоки советологии в Праге и Белграде, проанализировав издания «Русский экономический сборник» (Прага) и «Русский архив» (Белград).

Ф. А. Молок остановился на журнале «Центральная Европа» — одном из периодических органов русской эмиграции, его целях и задачах, составе авторов и др.

М. А. Робинсон (ИСБ) рассказал о трагической судьбе и гибели в застенках НКВД

выдающегося лингвиста Н. Н. Дурново после его возвращения из эмиграции в СССР.

В. И. Косик (ИСБ) уделил особое внимание организациям фашистского толка в среде российских эмигрантов. Острая форма подачи материала выступавшим вызвала оживленную дискуссию по вопросу о соотношении различных политических течений в эмиграции.

М. Ю. Досталь (ИСБ) рассказала о трудной судьбе российских эмигрантов в Братиславском университете (Е. Ю. Перфецкий, В. А. Погорелов, А. В. Исаченко) на основе материалов архива университета.

А. Н. Горяинов (ИСБ) охарактеризовал основные эмигрантские организации в Болгарии, остановившись, в частности, на работе Русской академической группы и деятельности российских ученых (М. Г. Попруженко, П. М. Бицилли и др.) в Софийском университете.

Е. П. Аксенова (ИСБ) представила оценки советскими коллегами (по материалам журналов 1930-х годов) ученых российского зарубежья, рассказав о негативном восприятии эмигрантской научной литературы в советской историографии, рассматривавшей ее как «буржуазную лженауку» и в качестве одного из «главных классовых идеологических врагов».

Завершая круглый стол, Д. А. Струве положительно оценил прозвучавшие выступления, которые, по его мнению, осветили многие ранее неизвестные страницы плодотворной деятельности российской эмиграции, и выразил надежду, что исследование этой актуальной темы будет продолжено.

Досталь М. Ю.



# CONTENTS

## ARTICLES

<i>Ronin V. K.</i> Russian publicism in Belgium in the middle of XIX c . . . . .	3
<i>Litavrina M.</i> American gardens of Alla Nazimova . . . . .	19
<i>Sladek Z.</i> Russian emigration in Czechoslovakia: the developpement of the «Russian action» . . . . .	28
<i>Zamojsky J.</i> The attitude of Russian emigration towards Ukrainian problems (1919—1939) . . . . .	39
<i>Dostal M.</i> Emigrated Russian slavists in Bratislava . . . . .	49
<i>Aksyonova E. P.</i> The Institute named N. P. Kondakov: attempts of reanimation (by A. V. Florovsky archive) . . . . .	63

## COMMUNICATIONS

<i>Rubenkova M., Vahalovska L.</i> From the letters by A. L. Bem devoted to literature . . . . .	75
<i>Dostal M.</i> The unpublished article by A. A. Kizevetter devoted to the problems of slavich ideology . . . . .	81
<i>Kishkin L. S.</i> Young Russian emigrants in Prague (1920—1930) . . . . .	95

## MATERIALS TO THE MANUAL OF CHURCH-SLAVIC LANGUAGE

<i>Sedakova O. A.</i> Church-Slavic-Russian paronyms (to be continued) . . . . .	99
----------------------------------------------------------------------------------	----

## REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Ratobylskaia A. V. M. Racff.</i> Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration. 1919—1939 . . . . .	106
<i>Lapteva L. P. B. T. Пашуто.</i> Русские историки-эмигранты в Европе . . . . .	109
<i>Nazarenko A. V.</i> Two faces of Russia. To the publication of the book by B. T. Пашуто «Русские историки-эмигранты в Европе» . . . . .	112
<i>Toporkov A. L.</i> La cultura spirituale russa . . . . .	119
<i>Toporkov A. L. B. H. Топоров.</i> Неомифологизм в русской литературе начала XX в. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни» . . . . .	121
<i>Anikin A. E.</i> Elementa. Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics . . . . .	123

## SCIENTIFIC LIFE

<i>Dostal M.</i> Round table «Russian emigration in Slavic countries» . . . . .	127
---------------------------------------------------------------------------------	-----

Технический редактор *В. М. Пахомова*

---

Сдано в набор 12.04.93	Подписано к печати 28.05.93	Формат бумаги 70×100 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10,4	Усл. кр.-отг. 11,3
	Уч.-изд. л. 12,8	Бум. л. 4,0
Тираж 1066 экз.	Зах. 4185	Цена 18 р.

---

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а. Телефон 938-01-20

Московская типография № 2 ВО «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

